

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1980

СОДЕРЖАНИЕ

Чикобава А. Р. (Тбилиси). Историям и лингвистика	3
--	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси), Иваков В. Я. В. (Москва). Проблема языков <i>septum</i> и <i>satem</i> и отражение «гutturальных» в исторических индоевропейских диалектах	13
Ахманова О. С., Александрова О. В. (Москва). Некоторые теоретические проблемы советского языкознания (в связи с выходом в свет энциклопедии «Русский язык»)	23
Москальская О. И. (Москва). Семантика текста	32
Кузнецов П. И. (Москва). Является ли строй тюркских языков изначально именным?	43
Богатова Г. А. (Москва). Соотношение цитаты и словаря (об особенностях иллюстрирования слов и значений в словарях исторического жанра)	55
Гельгардт Р. Р. (Калинин). Жанровая специфика «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“»	65

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Малкова О. В. (Москва). Имело ли место вторичное смягчение согласных перед [e], [и] в диалектах южной зоны древнерусского языка?	76
Грибаум Н. С. (Ленинград). Древнегреческий литературный язык. К итогам исследования	89
Гюббенет И. В. (Москва). К вопросу о «глобальном» вертикальном контексте	97
Забавяников Б. Н. (Москва). О неадекватности «имманентных» грамматик	103

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Мурясов Р. З. (Уфа). К теории парадигматики в лингвистике	109
Сороколетов Ф. П. (Ленинград). Три сборника, посвященных проблеме языковых значений	122

Рецензии

Митрофанова О. Д. (Москва). «Русский язык. Энциклопедия»	129
Трубаچهя О. Н. (Москва). «Словник гідронімів в Україні»	132
Колесов В. В. (Ленинград). <i>E. Stankiewicz. Studies in Slavic morphophonemics and accentology</i>	137
Мусаев К. М. (Москва). <i>К. Г. Менгес. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве»</i>	142
Головкина О. В. (Москва). <i>С. Д. Холматова. Словарь русских и таджикских сокращений</i>	147
Левитская Л. С. (Москва). <i>Ф. С. Хакимянов. Язык эпитафий волжских болгар</i>	149
Маковский М. М. (Москва). «Universals of human language». I—IV	152

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	155
Указатель статей, опубликованных в 1980 г.	157

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев,
Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции),
В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора),
О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией И. В. Соболева

ЧИКОБАВА АРН.

ИСТОРИЗМ И ЛИНГВИСТИКА

1. Сложность языка создает объективные предпосылки для различных установок в понимании его сущности и в методах его исследования: язык — система знаков, средство общения коллектива (функция и н т е р и н д и в и д у а л ь н а я), орудие формирования и объективации мысли (функция и н т р а и н д и в и д у а л ь н а я), причем ведущей является первая. Знаки языка, ф и з и ч е с к и е по материалу, и н д и в и д у а л ь н ы е по использованию, к о л л е к т и в н ы (социальны) по назначению. Если бы знаки языка не являлись физическими по материалу, они не могли бы служить средством общения. Если бы они не являлись знаками, имеющими значение, они оказались бы предметом изучения естественных наук (так называемый физикализм).

На наш взгляд, следует различать науку о реальных (естественных) языках и науку о формализованных языках, прикладное значение которой неуклонно возрастает. Эта наука отлична не только по предмету изучения, но и по методам, которые ею используются: инженерная (кибернетическая) лингвистика — самостоятельная негуманитарная наука.

Лингвистика — интегральная гуманитарная наука о реальных языках, их структуре и функциях: учение о структуре и учение о функции друг друга дополняют, а не исключают. Среди многих сотен языков земного шара невозможно найти такой, который бы не имел ничего общего с другими языками (и тем более — имел бы все общее: тогда это был бы один язык): проблема общего и отличного была и остается фундаментальной проблемой в теоретическом изучении языков. Стояла она еще в филологической грамматике греков (в учении о частях речи), далее — в рациональной грамматике (XVII в.) и ее продолжении — философской грамматике (Дж. Харрис — XVIII в.) и в философских теориях языка XVII—XVIII вв. [Дж. Локк (XVII в.), Г. Лейбниц (XVIII в.) и др.] и последующих веков (В. Гумбольдт, А. Марти и др.). Стояла и стоит она в науке о языке, возникшей в XIX в. (на основе историко-сравнительной грамматики).

2. Проблема общих закономерностей («проблема общего») при этом остается главной целью. Но различны приемы ее решения: в одном случае общее выводится дедуктивно путем анализа языка, его сущности; в другом общее — результат анализа конкретных языков, т. е. обобщение путем индукции. Дедуктивный подход характерен для философии языка, индуктивный — для исторической лингвистики. Конечно, дедуктивная установка не может полностью отключиться от конкретного многообразия языков, а теория, построенная индуктивным путем, не может элиминировать дедукцию. Но различные установки остаются в силе: в одном случае с общего начинается, в другом же общим кончается. «Рациональная или всеобщая грамматика», созданная А. Арно и К. Лансло на основе положений картезианской философии в XVII в., уже в заглавии отмечает, что ее задачей является обоснование того, «что есть общего у всех языков». Слова — знаки представлений («идей»). «Знание того, что происходит

в душе, необходимо для того, чтобы понять основания грамматики»¹. «Для всех языков мира есть только одна грамматика, так как логика одна для всех людей»². Итак, логическим определяется грамматическое. Единством логического — общность грамматического: грамматика является «всеобщей», потому, что она «рациональная».

Различия между языками не остались незамеченными, но определяющим считалось не то, что отличает, а то, что объединяет. И неизбежная основа общего — это представления («идеи»), которые считались предметом логики (психологии как самостоятельной науки в XVII в. еще не было).

Принципиальная установка рациональной грамматики сохранилась и в философских грамматиках XVIII—XIX вв. («всеобщая» или «философская»).

Характерная «деталь»: рациональная грамматика считала себя «искусством» (*l'art de parler* «искусство говорить»), как и филологическая грамматика греков, созданная Дионисием Фракийским на рубеже II и I вв. до н. э. [*technē grammatikē* «грамматическая (т. е. письменная) техника»]: технику как свод эмпирических наблюдений отличали от «теории» (*theōria*), т. е. «науки» в нашем понимании — рациональная грамматика, равно как и философская, не претендовали быть наукой.

3. Наукой впервые становится историческая (историко-сравнительная) грамматика (XIX в.): она показала, что единые (общие) категории мысли не гарантируют единства (общности) их выражения ни в различных языках, ни в одном и том же языке на различных этапах его развития. Принцип развития был чужд рациональной грамматике. Благодаря принципу развития грамматика становится наукой³.

Как отмечал Б. Дельбрюк, XVIII в. в изучении языка был веком философии, XIX — стал веком истории.

4. Для XX в. характерен сильный крен в сторону антиисторизма: синхронии отводятся ведущее место, диахрония («сквозь временное», «разновременное») вытесняется «панхронией» (т. е. «всвременным»), что равнозначно «ахронии» (Брёндаль). Тем самым лингвистическая теория смыкается с умозрительной философией языка. Принцип историзма не находит положительного отношения в таких влиятельных течениях зарубежной лингвистической мысли, как бихевиоризм Л. Блумфилда или же трансформационная грамматика Н. Хомского, не говоря уже о глоссематике Л. Ельмслева, по существу являющейся дедуктивной теорией языка и лингвистики. Сравнительная типология (с задачей выявления универсалий), имеющая широкое хождение и в советском языкознании, также демонстрирует антиисторический настрой современной лингвистической мысли, забывая, что без помощи истории языка сравнительно-типологические исследования не в состоянии отличить идентичное от одинакового.

Антиисторизм в теоретической лингвистике XX в. нашел выражение в соссоровском противопоставлении «синхронии» и «диахронии», и в преимуществе, которое Соссюр отдавал синхронической точке зрения перед диахронической: язык — система знаков; язык как система — это предмет синхронического изучения, диахрония имеет дело не с языком, а лишь с его изменениями: преимущество объекта изучения призвано обосновать

¹ A. Arnaud, C. Lancelot, *Grammaire générale et raisonnée contenant les fondemens de l'art de parler, expliqués d'une manière claire et naturelle; les raisons de ce qui est commun à toutes les langues, et des principales différences qui s'y rencontrent; et plusieurs remarques nouvelles sur la langue française*, Paris, 1660 (а не 1676 г., как обычно указывали), стр. 69.

² Там же, стр. 260.

³ Как известно, принцип развития в XIX в. лег в основу биологии и геологии.

у Соссюра преимущество синхронической лингвистики перед диахронической: «Противопоставление двух точек зрения — синхронической и диахронической — совершенно абсолютно и не терпит компромисса.... Лингвистика большое место уделяла истории; теперь ей предстоит вернуться к статической точке зрения традиционной грамматики, но уже с новым духом и с новыми приемами»⁴. «...Синхронический аспект важнее диахронического, так как для говорящей массы только он — подлинная и единственная реальность»⁵.

За последние 50 лет термины «синхрония» и «диахрония» получают все большее распространение, причем «диахрония» почти вытеснила «историю» даже у авторов, не отвергающих историзма, хотя «диахрония» и «история» понятия неоднозначные: «разновременные» («сквозь-временные») феномены окажутся «историческими», если только между ними выявляется связь. Антиисторизм в лингвистике наших дней вряд ли получил бы такой размах, если бы общие тенденции развития философской мысли XX в. (логический позитивизм, феноменология Гуссерля) не способствовали этому. Если XIX в. считается веком «истории языка», то XX в. в определенной степени представляется возвратом к принципам «философской грамматики» XVIII в. В этом смысле показательна ориентация Н. Хомского на философию Декарта и принципы «Рациональной грамматики», восходящие к картезианской философии (и, естественно, несовместимые с бихевиористской психологией Дж. Б. Уотсона⁶ и А. П. Вейса).

5. Можно ли сказать, что принцип историзма в лингвистике изжил себя, что историзм в лингвистике является лишь достоянием истории? Отвечая на этот вопрос, естественно вспомнить, что дала история языка (госп. историко-сравнительное его изучение) научному осмыслению языка и каково теоретическое обоснование принципа историзма в научном языкознании. В результате применения принципа историзма возникло языкознание — индоевропейское, семитическое, угро-финское, тюркское, иберийско-кавказское и ряд других частных лингвистик, изучающих историю развития соответствующих групп языков.

Назовем наиболее важные из общих результатов, связанных с применением принципа историзма: а) как было отмечено, грамматика приобрела статус науки благодаря принципу историзма — и филологическая, и рациональная (госп. всеобщая, т. е. философская) грамматика считали себя «искусством» (*technē*); б) создание историко-сравнительной грамматики вызвало определенную перестройку описательной грамматики: в самостоятельный раздел, в фонетику, превратилось учение о звуках («буквах»); учение о слове дифференцировалось, породив «морфологию» и «семасиологию». К сожалению, реконструкция системы описательной грамматики оказалась частичной, «новостройки» не изменили облика «архитектурного ансамбля». Основные вопросы теории описательной грамматики остались нерешенными. Перестройка «архитектурного ансамбля», описательной лингвистики (грамматики) стоит в порядке дня; в) на основе историко-сравнительной грамматики была создана научная этимология слова (вместо фантастической этимологии — с произвольным членением слова и с произвольной интерпретацией отдельных произвольно выделенных частей слова, как это наблюдалось в течение многих веков); г) грамматика, и филологическая, и философская, составлялась для письменных языков, т. е. обозначаемых буквами (греч. *grammata* «буквы»). Грамматика бесписьменного языка была бы в рамках этих концепций

⁴ Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 90.

⁵ Там же, стр. 95.

⁶ Дж. Уотсон, Психология как наука о поведении, М., 1926 (подробнее см.: А. С. Чикобава, Бихевиоризм в понимании сущности языка, ФН, 1958, 1).

понятием внутренне противоречивым (вроде «деревянное железо»). Историко-сравнительная лингвистика признала бесписьменные языки закономерным объектом науки. В научный обиход тем самым было включено все богатство человеческой речи. Гегельянец А. Шлейхер филолога уподоблял садоводу (его интересуют лишь декоративные растения), а языковеда — ботанику (он изучает все растения)⁷. М. Мюллер писал, что «для научного рассмотрения язык Гомера не является более важным и не представляет большего интереса, чем готтентотские наречия»⁸; е) признанием прав бесписьменных языков решался вопрос об актуальности изучения диалектов как бесписьменных языков, так и языков с письменностью.

6. Быть может, все это прошлые заслуги историзма; теперь же принцип историзма уже устарел; следовательно, отход от историзма закономерен. Такой вывод научно не оправдан, если учесть фундаментальную особенность языка. Язык — феномен изменяющийся. Понять изменяющееся невозможно без учета изменений.

В изменениях языка находят отражение изменения жизни народа, его культуры: язык — правдивый свидетель истории. Еще А. Шлейхер подчеркивал: письменные документы можно подделать, показания же языка подделать невозможно. Отнюдь не случайно П. Услар, автор замечательных монографий по ряду горских иберийско-кавказских языков (абхазскому, чеченскому, лакскому, даргинскому, лезгинскому, табасаранскому), взялся за изучение кавказских языков, когда ему официально было поручено составить историю кавказских народов.

Изучение языка, его истории представляет существенный интерес с точки зрения психологии мышления, истории человеческой мысли. В. Вундт, создатель экспериментальной психологии, считал целесообразным изучать экспериментально элементарные психические явления (ощущения), для изучения же сложных психических процессов (т. е. процессов мышления) Вундт считал необходимым прибегнуть к анализу продуктов коллективной жизни людей, и прежде всего к языку.

Изучать сложные психические процессы экспериментальным путем в психологии считается теперь вполне возможным. Но, несмотря на это, анализировать показания языка, его историю для изучения мышления считается естественным и закономерным в современной философии и психологии:⁹ спорят о результатах, а не о постановке вопроса.

7. Изучение языка, таким образом, представляет существенный интерес с точки зрения истории народа, истории культуры, истории развития человеческой мысли.

Это значит: история языка, актуальность ее изучения остается в силе. Лингвистика, как объяснительная наука, немислима без принципа историзма. Более того: в помощи истории нуждается и описание системы языка, иначе научное описание языка будет сведено к простой регистрации непонятных фактов.

Взять, например, русский глагол. В настоящем времени он изменяется по лицам, но не различает родов (*читаю, читаешь, читает* — он, она, оно), в прошедшем времени, наоборот, лица не различаются, а род различается (*читал* — он, ты, я..., *читала* — она, ты, я, *читало* — дитя). Почему в прошедшем времени глагол русского языка лиц не различает? (Можно, конечно, запомнить правила, не спрашивая «почему?»).

Достаточно учесть, что *читал* по происхождению представляет собой

⁷ A. Schleicher, Sprachvergleichende Untersuchungen, II — Linguistische Untersuchungen, Bonn, 1850, стр. 121.

⁸ M. Müller, La science du langage, Paris, 1876, стр. 90.

⁹ Анализу данных языка посвящены первые две книги «Этнической психологии» (Völkerpsychologie) В. Вундта (1-е изд., Leipzig, 1900).

причастие прошедшего времени и его изменения по родам закономерны (раньше было: *читал есмь, читал еси, читал есть...*, *читала есмь* и т. д.), чем и объясняется различие принципов спряжения в настоящем и прошедшем временах русского глагола.

Система языка изменяется, но изменения различных его звеньев происходят не одновременно (да и темпы изменений могут быть различными). Поэтому на любом срезе системы языка сосуществуют явления различной хронологической давности (инновации наряду с архаизмами): понять систему языка, игнорируя ее историю, невозможно. Система языка не может быть «свободной от истории», синхрония не может пренебречь диахронией, диахрония присутствует в синхронии.

8. Говоря о достижениях лингвистики, естественно учитывать не только конкретные достижения науки о языке. Куда важнее принципиальное обоснование исторического подхода к фактам языка, существенным свойствам языка, его изменчивости. Отказ от историзма повел бы к отказу от изучения существенного свойства всех живых языков (не изменяются лишь мертвые языки). Отход от историзма в лингвистике порожден не внутренними причинами, а внешними влияниями, антиэволюционистскими тенденциями в развитии философской мысли XX в. Итак: антиисторизм — веяние времени, отражение смены процессов «прилива» и «отлива». Историзм в лингвистике — это не мода. Он и не был модой. И отход от историзма («отлив») в научном рассмотрении фактов языка так же не оправдан, как он был бы не оправдан в современной биологии или же геологии.

Однако защищать историзм не значит защищать младограмматиков (или недооценивать описательную грамматику).

Не в том слабость, ущербность лингвистической науки, что в ней избыток историзма, а в том, что история языка недостаточно исторична.

Это можно проследить на примере истории индоевропейских языков, наиболее изученной, на примере сравнительной грамматики индоевропейских языков, которая является своеобразным эталоном для сравнительных грамматик других групп родственных языков. Родственные языки, как полагают, ведут начало от общего исходного источника («праязык», «язык-основа», «комплекс диалектов», «общее состояние»). Без этого общего исходного материала считается, что было бы необъяснимо наличие «общего» в родственных языках. Общий «язык-основа» трансформировался в ряд самостоятельных родственных языков. Проследить этот процесс, процесс становления родственных языков из единого источника, и является основной задачей истории данных языков.

Каков процесс становления родственных языков? Это — процесс дифференциации, дивергенции. Но этим процессом не исчерпывается развитие языков. Необходимо учесть и процесс противоположной направленности — процесс интеграции, конвергенции. Если в процессе дивергенции усиливаются расхождения (вплоть до образования из диалектов самостоятельных языков), то в процессе конвергенции нарастает общее (в лексике, фразеологических кальках, в словообразовательных суффиксах вплоть до того, что один язык вытесняется другим, оставляя лишь следы своего существования в вытеснившем языке).

Удельный вес процессов дивергенции и конвергенции различен в зависимости от различных условий исторической жизни соответствующих языковых коллективов, но вряд ли мыслимо такое состояние языка, когда бы эти процессы не проявлялись (если, конечно, языки живые и носители их не находятся в абсолютной изоляции, что едва ли возможно даже в дебрях тропических лесов).

В истории языка представлена равнодействующая двух процессов (противоположной направленности) — процессов дивергенции и процессов конвергенции. Историческая лингвистика располагает методом изучения процессов дивергенции, ее успехи связаны с изучением процессов дивергенции. Историческая лингвистика не располагает аналогичным методом для изучения процессов конвергенции (интеграции) языков. Именно поэтому история языка — с учетом лишь одного из указанных процессов — не может не быть ущербной.

9. Это, конечно, не значит, что наличие процессов конвергенции остается незамеченным: в «Принципах истории языка» Г. Пауля, излагающих теоретическое кредо младограмматического направления, целая глава посвящена анализу процессов контакта языков и их результатов¹⁰. Процессы конвергенции здесь учитываются, но методы их изучения в истории развития языков не найдены¹¹. Пути изучения процессов конвергенции языков не были найдены и после Г. Пауля другими направлениями лингвистической мысли, признававшими значение историзма в изучении языка.

Лингвистическая география, теория субстрата наглядно демонстрируют сложную картину состояния языков и их взаимоотношений, являющуюся результатом многообразных процессов конвергенции, но не выявляют методов исследования этих процессов. И вовсе не ясен познавательный смысл понятия «союз языков» («балканский союз», «евразийский союз»). «Союзы языков» выделяют по наличию общих явлений (в лексике, морфологии, синтаксисе) в группе контактирующих языков. Одно из двух: или мы знаем, как возникли, откуда идут эти «общие явления», и тогда понятие «союза языков» излишне; или же нам не известна история возникновения этих общих явлений, и тогда новый термин излишен, от его употребления неизвестное не становится известным.

История языков, документированная показаниями письменности, отражает состояние соответствующего языка далеко не полностью. Но эти неполные данные достоверны.

История же языка, реконструируемая путем сравнения, величина производная: достоверность реконструированных фактов прямо пропорциональна достоверности истории сравниваемых фактов: важно принять во внимание, учтены ли показания всех языков, где эти факты представлены, и относятся ли они к одной и той же ступени развития по фонетическому облику, по семантике.

10. Этим условиям реконструкция далеко не всегда удовлетворяет. Поэтому реконструированные факты (их фонетический облик, их значение) далеко не всегда адекватны фактам реальной истории языков (значимость реконструированных фактов приближительна, условна). Не исключено и то, что в реальной истории языка реконструированным «фактам» ничего не соответствует: это — как бы «бонь», выпущенные авторами сравнительных грамматик: они не имеют никакого обеспечения «валютой», т. е. фактами истории.

Открытие в начале XX в. (в архиве хеттских царей) памятников мертвых индоевропейских языков неситов («неситский-хеттский») и некоторых других поставили кардинальные вопросы не только состава индоевропей-

¹⁰ Н. P a u l, Prinzipien der Sprachgeschichte, IV Aufl., Halle, 1909, стр. 389—404 (русс. перевод: Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 459—473).

¹¹ И это несмотря на то, что для Г. Пауля лингвистика была не чем иным, как «историей языка». Принципы истории языка — это принципы лингвистики (историческое для Пауля и есть научное). Г. Пауль должное место уделял важному для истории языка принципу аналогии. Понятие же «организм представлений» в концепции Пауля равнозначно понятию «системы языка».

ских языков и их классификации, но и существенные вопросы исторической грамматики индоевропейских языков. Э. Стертевант и Э. Ган на место «индоевропейского» выдвинули понятие «протоиндо-хеттского» и выделили две группы языков в составе этого последнего: 1) «протоанатолийскую», которая (через *ti*-анатолийскую ступень) ведет к мертвым языкам Анатолии: хеттскому иероглифическому, лувийскому, палайскому, ликийскому, лидийскому; 2) «протоиндоевропейскую» (с делением на подгруппы — иранскую, греческую, италийскую, германскую, славянскую)¹².

Дело, однако, не только в составе индоевропейских языков. Куда сложнее вопросы грамматики, где показания хеттского языка ставят под вопрос положения, выдвинутые сравнительной грамматикой индоевропейских языков — простую систему времен и наклонений в неситском-хеттском — два времени, два наклонения, два числа (вместо трех в древнеиндийском и древнегреческом), два рода (вместо трех в индоевропейском праязыке). Показания этого «нового свидетеля» относятся ко второму тысячелетию (XIX—XII вв. до н. э.), т. е. по меньшей мере они такой же давности, как и памятники древнеиндийского и древнегреческого языков.

Не считаться с этими показаниями нельзя. Весь вопрос лишь в том, что в этих показаниях отражает архаическое, древнее состояние индоевропейских языков, и что представляет собою инновации, народившиеся в процессе изменений самих хеттских языков (в соответствии с тенденциями внутреннего развития или же в результате иноязычных влияний).

Если все эти явления хеттских языков считать архаизмами, сравнительную грамматику индоевропейских языков потребует основательно перестроить. Если же это инновации, положение будет менее драматичным: «свидетельские показания» должны проверяться, если задаются целью установить, что и как было в действительности (а не: могло быть). Это значит: достоверность положений реконструированной истории языков зависит от того, насколько известны исходное количество сравниваемых языковых единиц и их история. Оптимальными в этом отношении оказались условия исследования романских языков и соответственно — надежными результаты, добытые романским языкознанием.

11. Но этого невозможно сказать об индоевропейских языках, начало которых теряется в сумерках доистории, и о реконструкции индоевропейского праязыка. Поэтому понятен и скептицизм, порождаемый этими реконструкциями. В этом отношении характерны высказывания известного итальянского лингвиста В. Пизани, положительно относящегося к принципу историзма в лингвистике. Он пишет: «Большинство рассмотренных до сих пор исследований страдает одним пороком: они все исходят из такого восстановленного „индоевропейского языка“, который по характеру представления авторов о нем напоминает латинский язык учебника для средней школы: он не имеет развития и не обладает никакими разновидностями. Ученые не ставят перед собой, во-первых, вопроса о том, что задающая до сих пор тон бругмановская реконструкция представляет собой... смесь санскрита с греческим с некоторой приправой из латыни, германских и других языков... Во-вторых, эти ученые не думают о том, что то, что мы называем „индоевропейским языком“, с одной стороны, могло существовать только как множество территориальных диалектов, весьма отличных друг от друга, а с другой стороны — должно было существовать в таком виде очень длительный период, в течение которого происходили значительные изменения в языке, охватывавшие то одну, то другую часть диалектов... Те исследователи, которые все „вос-

¹² E. Sturtevant, E. Hahn, *A comparative grammar of the Hittite language*, I, New York, 1951.

становливаемые" ими факты проецируют на одну и ту же плоскость и строят из этих "фактов" систему, отрывают язык от его истории, без которой он немислим как явление, и занимаются изящной игрой в оторванные от жизни абстракции» (разрядка наша.— Ч. А.)¹³.

Любопытно отметить, что еще в конце прошлого века Б. Дельбрюк, подчеркивая условный характер реконструкции фактов индоевропейского праязыка, как они мыслились А. Шлейхером, заметил, что, таким образом, отсюда следует вывод: «построенный вид праязыка есть не что иное, как формула, служащая для выражения изменяющихся мнений ученых о размерах и свойствах языкового материала, который вынесли для себя отдельные языки из своего общего праязыка. Таким определением праязыка решается одновременно и вопрос об исторической ценности его теоретически построенных форм» (разрядка наша.— Ч. А.)¹⁴.

12. Вытекает ли из принципов исторического языкознания необходимость реконструкции языка-основы («праязыка»? Отнюдь нет. Признавать реальность существования языка-основы (в виде определенной группы диалектов) как исходного материала для определенной группы родственных языков не значит считать необходимой его реконструкцию.

Такая реконструкция невозможна (невозможна она примерно так же, как невозможно установить, кто именно были прародители того или иного народа или же определенной его части, хотя такие конкретные лица не могли не существовать: речь может идти лишь об определенных чертах физического типа соответствующего народа). Важна и нужна не реконструкция языка-основы, а история развития родственных языков, идущих из языка-основы, его диалектов. Нужна для истории народа, его культуры, вообще для истории культуры и истории мышления. Нужны надежно установленные факты и положения, чтобы на них могли полагаться при решении задач других гуманитарных наук,— такие факты и положения, чтобы не поступали «рекламации» (вроде тех, что вызывались глоттохронологическими выкладками).

13. Несколько слов о характере фонетических изменений. Тезис о «непреложности фонетических законов» был выдвинут младограмматиками в процессе исследования индоевропейских языков и в результате объяснения «исключений», которые нарушали установленные формулы звукосоответствий. Вопрос имеет прямое отношение к изучению родства языков и процесса дивергенции. Нередко установление «непреложных фонетических законов» объявляется необходимым условием для признания родства языков. Против «непреложности фонетических законов» выступали такие языковеды, как Г. Шухардт, И. А. Бодуэн де Куртене. На наш взгляд, естественно различать принцип и его реализацию. Закономерный характер изменений неоспорим: в одинаковых условиях будут иметь место одинаковые изменения. Если же эмпирически обнаруживаются отклонения, под вопрос ставится идентичность условий. То же можно сказать о звуковых соответствиях в родственных языках.

¹³ В. П и з а н и, Общее и индоевропейское языкознание, сб. «Общее и индоевропейское языкознание», М., 1956, стр. 165.

¹⁴ Б. Д е л ь б р ю к, Введение в изучение языка (B. Delbrück, Einleitung in das Sprachstudium), в кн.: С. К. Б у л и ч, Очерк истории языкознания в России, I, СПб., 1904, стр. 57.

В 1930 г. вышло исследование Н. Трубецкого¹⁵, посвященное анализу общих основ северокавказских языков, абхазско-адыгских, нахских и дагестанских (языки эти Н. Трубецкой считал родственными). Материальная общность сравниваемых единиц не вызывает сомнения, обобщенные же формулы звукосоответствий не получились: «Н. Трубецкой выдвинул, — пишет Г. Деетерс, — более 100 сопоставлений (Gleichungen) между восточными и западными кавказскими языками; причем сравнивались и числительные, и детерминативные местоимения. Однако звуковые соответствия большей частью неясны»¹⁶.

Г. Деетерс ссылается при этом на большую трудность задачи, чем это мы имеем при «реконструкции индогерманского языка-основы», и замечает, что звукосоответствия в северокавказских языках часто затемнены вследствие заимствований на протяжении тысячелетий.

Заимствования, конечно, усложняют задачи сравнительного анализа, но в материалах, анализируемых Н. Трубецким, речь идет об общих корневых элементах, формах и частицах, варианты которых представлены в сравниваемых языках. Если же все-таки «звуковые соответствия неясны», то тому причиной изменения, которые имели место в общем материале родственных языков после дифференциации. Пока эти изменения не будут учтены, сравнения будут вестись без приведения к общему историческому знаменателю сравниваемых величин. В этом основная трудность.

Родство кабардинского и абазинского языков подметил уже И. Гюльденштедт (еще в последней четверти XVIII в.). Родство абхазского и адыгейского языков никем не оспаривается. Фонетические же соответствия еще не выявлены, хотя они не могли не иметься.

Вопрос о родстве должен решаться комплексно — с учетом показаний корнеслова, морфологии, фонетики. Морфология — наиболее замкнутая зона системы языка, она наиболее консервативна, и ее показания заслуживают особого внимания. Не случайно родство индоевропейских языков было выявлено Ф. Боппом (в 1816 г.) на основе анализа глагольных флексий, т. е. по данным морфологии глагола (фонетические же закономерности были установлены позднее).

14. Общепринято положение об общности исходного материала родственных языков («материальное родство» — в отличие от «средства»).

Принципиально новое понимание выдвигается Н. Трубецким в одной из его последних работ (1936 г.)¹⁷: индоевропейские языки объединяет не общность происхождения исходного материала, а общность определенных «структурно-типологических» признаков (названы шесть признаков: два — фонетических, три — морфологических, один — синтаксический): ни общность корнеслова, ни морфология, ни звукосоответствия, таким образом, не решают вопроса. С утерей указанных структурно-типологических признаков язык перестает быть индоевропейским, и, наоборот, с приобретением означенных признаков неиндоевропейский язык станет индоевропейским языком.

Спрашивается: удалось бы выделить эти шесть структурных признаков, если бы не было установлено, какие языки являются индоевропейскими? Конечно, нет: объем понятия (какие языки являются индоевропейскими) был определен по признаку генетическому, содержанию

¹⁵ N. T r u b e t z k o y, Nordkaukasische Wortgleichungen, «Wiener Zeitung für die Kunde des Morgenlandes», 37, 1930.

¹⁶ «Aber die Lautentsprechungen sind meist unklar» (G. D e e t e r s, Die kaukasischen Sprachen, «Handbuch der Orientalistik», Leiden—Köln, 1963, стр. 41).

¹⁷ Русский перевод «Мыслей об индоевропейской проблеме» опубликован в ВЯ, 1958, 1.

ние же понятия (структурно-типологические признаки) предполагает, что объем понятия уже определен.

Структурно-типологическая характеристика могла быть дана Н. Трубецким лишь при условии, что группа языков уже выделена по другому признаку: структурная характеристика зависит здесь от историко-генетической.

Основные положения:

1. Историзм в лингвистике находит принципиальное обоснование в конституционном свойстве языка, его изменчивости.

Отказ от историзма равнозначен неучету данного конституционного свойства языка, означает отказ от изучения этого свойства языка.

2. Лингвистика как объяснительная наука о языке немыслима без историзма.

3. Лингвистика без историзма перестает быть гуманитарной наукой.

4. История языка в связи с историей культуры и историей мышления — это главное в историческом языкознании.

5. Для изучения подлинной истории языков лингвистике как гуманитарной науке может оказать значительную помощь не сравнительная грамматика, а грамматика историко-сравнительная¹⁸.

¹⁸ Наконец два пояснения. Первое. В статье речь идет об «изменчивости» как конституционном свойстве языка. О принципах развития языка автор предполагает высказаться особо.

Второе. Отстаивать принцип историзма — для автора — отнюдь не значит игнорировать проблемы описания системы языка, «описательной грамматики»: *synthétique*.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В., ИВАНОВ ВЯЧ. В.

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВ CENTUM И SATəm И ОТРАЖЕНИЕ «ГУТТУРАЛЬНЫХ» В ИСТОРИЧЕСКИХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Судя по рефлексам индоевропейских палатализованных фонем в языках группы satəm, а также учитывая типологические данные общей фонетики, можно предположить возникновение постериорных компактных шипящих аффрикат из исходных палатализованных индоевропейских фонем на самом раннем этапе. Такие компактные аффрикаты, артикулируемые в той же точке, что и соответствующие палатализованные смычные, отличаются тем не менее от последних большей стабильностью в системе, будучи фонологически не маркированными по отношению к диффузным (антериорным) аффрикатам. Все конкретные рефлексы индоевропейских палатализованных в исторических индоевропейских диалектах группы satəm могут быть фонетически естественным путем выведены из первоначальных шипящих (компактных) аффрикат, предполагаемых в качестве непосредственного результата преобразования индоевропейских фонем палатализованного ряда в этой группе диалектов. В тех же диалектах группы satəm переход палатализованного ряда смычных в аффрикаты соотносится с процессом слияния лабиовелярного (лабиализованного) ряда с немаркированным рядом чистых велярных смычных. Эти два процесса следует рассматривать взаимосвязанно как общий процесс элиминации в системе маркированных рядов постериорных смычных.

Поскольку в диалектах группы centum маркированный ряд палатализованных смычных сливается с немаркированным велярным рядом, другой маркированный ряд постериорных смычных — лабиовелярный — еще долго сохраняет свой фонологический статус самостоятельного фонемного ряда и лишь значительно позднее (уже в эпоху существования отдельных индоевропейских диалектов) в условиях новых фонологических отношений в системе распадается на сочетания велярной смычной с последующей лабиальной фонемой.

В отличие от такого развития подсистемы индоевропейских постериорных смычных, в диалектах группы satəm, где элиминация маркированного палатализованного ряда осуществляется путем перехода его в соответствующие аффрикаты и образования тем самым нового фонологически не маркированного ряда в системе, маркированный лабиализованный ряд сливается с немаркированным рядом чистых велярных смычных, воспроизводя тем самым направление движения и элиминации маркированного палатализованного ряда в диалектах группы centum.

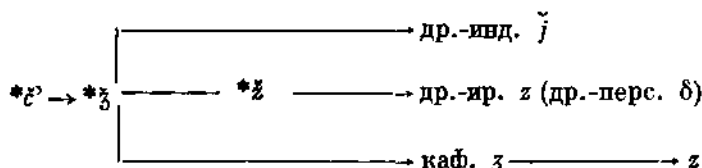
Следовательно, основные фонетико-фонологические различия между группами индоевропейских диалектов satəm и centum определяются изначально различной траекторией движения маркированного палатализо-

ванного ряда велярных, подверженного тенденции к исчезновению в системе ввиду своего максимально маркированного характера среди постериорных рядов смычных.

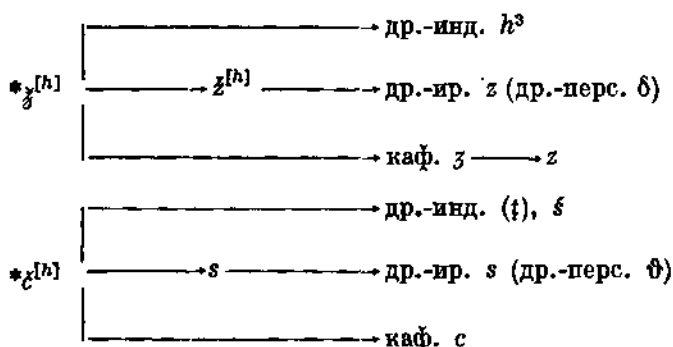
Самым ранним преобразованием палатализованных велярных фонем в группе диалектов *satəm* следует считать переход их в соответствующие постериорные (компактные) аффрикаты: $*k' > *č[h] > *k[h] \rightarrow *č' > *č[h] > *č[h]$.

Из глоттализованной палатализованной фонемы закономерно возникает компактная глоттализованная аффриката, из звонкой фонемы — соответствующая звонкая компактная аффриката, из глухой — соответствующая глухая.

В индоиранских языках эти аффрикаты развиваются в следующем направлении¹:



Для древнеиранского следует допустить промежуточную ступень z^2 .



¹ Ср.: G. Morgenstierne, Indo-European k' in Kafir, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XIII, 1945; В. В. Иванов, Проблема языков *centum* и *satəm*, ВЯ, 1958, 3; Д. И. Эдельман, К типологии индоевропейских гуттуральных, ИАН СЛЯ, 1973, 6.

² Если, вопреки высказывавшимся сомнениям, древнеперсидское отражение δ (d) было древним, его следует объяснить как деаффрикатизацию раннего $*j$; другой путь деаффрикатизации такого j с переходом в соответствующий спираント z с последующим его переходом в свистящий спираント z представлен в авест. z и т. д. Процесс деаффрикатизации и утери компактности (переход шипящих в свистящие) является, очевидно, одной из наиболее характерных черт в фонетике иранских языков (ср. параллельный процесс потери компактности и деаффрикатизации в кафирском). К типологически аналогичным путям деаффрикатизации ср. переходы $\check{j} \rightarrow d$, $\check{j} \rightarrow z$ в картвельских (в мергелском и сванском) языках [Т. В. Гамкредидзе, Деаффрикатизация в сванском. «Правила переписывания» в диахронической фонологии, Тбилиси, 1968 (на груз. яз.)].

³ Такое h в древнеиндийском, как полагают, возникло из аффрикаты $\check{j}h$ и при вторичной палатализации под влиянием последующего гласного переднего ряда: др.-инд.

duhitā «дочь» < $*du\check{j}hitā$, ср. в кафирском: вайтали $\check{j}ū$ «дочь», ашкун $zū$ «то же» (Е. Р. Нанп, The position of Albanian, сб. «Ancient Indo-European dialects», ed. by H. Birnbaum and J. Puhvel, Berkeley — Los Angeles, 1966; е р о ж е, Sanscrit *duhitā*, Armenian *dustr* and IE internal schwa, «Journal of American Oriental Society», 90, 2, 1970), ср. об индийской форме: J. M. A. N. S. S. y - G. u. i. t. t. o. n, Recherches sur la formation de skr. *duhitā*, «Actes du X Congrès International des linguistes», IV, Bucharest, 1971.

В древнеиндийском озвончение глоттализованной аффрикаты $\text{č} \rightarrow \text{ž}$ (в соответствии с процессом общего озвончения глоттализированных фонем серии I,) приводит к возникновению в системе звонкой шипящей аффрикаты $\text{ž} (=j)$, повлиявшей на преобразование $\text{ž}^h \rightarrow h$ и $\text{č}^{[h]} \rightarrow \text{š}$ в результате спирализации соответствующих аффрикат.

Спирантизация аффрикат является довольно распространенным фонетическим процессом деаффрикатизации, состоящим в элиминации смычного компонента сложного аффрикативного звука. Этот процесс может быть проиллюстрирован на примере развития многих языков. Характерно, что в поздних индоевропейских языках, в которых возникают аффрикаты в результате ассибиляции смычных, они претерпевают спирализацию и дают соответствующие фрикативные фонемы, компактные или диффузные. К развитию h из аффрикаты ср. развитие аффрикаты č^h в начальной позиции в сванском: *ham* «утро» (< **cam*); *hadw* «желание» (< **cad-*) и др.⁴ Аналогичные процессы деаффрикатизации аффрикат, возникших на разных ступенях развития из индоевропейских палатализованных, следует допустить в отдельных диалектах группы satəm.

В армянском индоевропейские палатализованные смычные отражаются в виде соответствующих аффрикат č , ž (арм. *j*) и спиранта $\text{s}^h/\text{š}$. Ср. арм. *arēui* «орел», др.-инд. *rjiryáti* «летающий прямо, вперед» (эпитет орла в «Ригведе»), авест. *arziya* «орел», ср. греч. ἄρξιφος «αἰετός, παρὰ λέρξαις, новоперс. *āluh* «то же», ср. перс. *āluf* ('*luf*), Ἀρξόφιος, Ἀρξόβιος⁵, греч. αἰρῆκιος⁷. Слово, по всей видимости, собственно армянское, восходящее к исходной индоевропейской форме. Фонема č , судя по грузинскому заимствованию *arēvi*, передавала глоттализованную свистящую аффрикату. К древности данного слова в армянском ср. также урартское наименование коня *Aršibini*⁸. Противопоставление аффрикат $\text{č} \sim \text{č}^h$, $\text{ž} \sim \text{ž}^h$ в армянском, считающееся по традиции противопоставлением глухих фонем č , ž глухим придыхательным аффрикатам č^h , ž^h , нельзя, очевидно, рассматривать фонологически как противопоставление того же порядка, что и, например, древнеиндийское противопоставление аффрикат $\text{č} \sim \text{č}^h$. Судя по рефлексам этих фонем в современных армянских диалектах, а также по армянским заимствованиям в других кавказских языках, можно считать, что дифференциальным признаком, по которому противопоставлялись эти фонемы в древнеармянском, был не признак аспирации, а признак глоттализации: глоттализированные (фонетически неаспирированные) фонемы č и ž противопоставлялись неглоттализированным (аспирированным) аффрикатам č^h и ž^h , как и в системах неиндоевропейских кавказских языков. Характерно, что в армянском произошел переход компактных аффрикат, предполагаемых как непосредственные рефлексy палатализованных фонем¹⁰, в соответствующие диффузные аффрикаты. Такому переходу в армянском компактных (шипящих) аффрикат в диффузные (свистящие) могло содействовать

⁴ Т. В. Гамкрелидзе, указ. соч., стр. 13.

⁵ В редких случаях как рефлекс индоевропейского * č в армянском предстает ž , возможно, в позиции перед и: *šul* «собака», греч. *κύων*, ср.: O. Szemerényi, *Syncope in Greek and Indo-European and the nature of Indo-European ablaut*, Napoli, 1964.

⁶ E. Benveniste, *Etudes iraniennes*, «Transactions of the Philological Society», 1945, London, 1946, стр. 67.

⁷ Ch. de Lambertine, *Armeniaca I—VIII. Etudes lexicales*, BSLP, LXXIII, 1, 1978.

⁸ Г. А. Меликишвили, Урартские клинообразные надписи, М., 1960.

⁹ A. Meillet, *Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique*, Vienne, 1936.

¹⁰ Первоначально компактный характер рефлекса палатализованных в армянском можно видеть в передаче в армянском индоевропейского суффикса * $\text{-i}^{[h]}$ в виде компактной аффрикаты č : *takč'im* «спрячусь», ср. греч. *πτοσμάειν* «бояливо отступать», *ekhēč'im* «боясь», ср. греч. *βέβηκαρι* «то же» (A. Meillet, указ. соч., стр. 109).

образование более поздних компактных шипящих аффрикат ʃ , ʒ в результате комбинаторной палатализации (ассимиляции веллярных) в позиции перед передними гласными. В интервокальной позиции аффриката j /3/ претерпевает спирализацию в $-z-$: арм. *dizanem* «собираю, складываю», ср. авест. *uz-daīzo* «насыпь», др.-инд. *dehī*.

В балто-славянских языках древние аффрикаты, возникшие из палатализованных индоевропейских смычных, претерпевают деаффрикатизацию и переход в соответствующие компактные (шипящие) спиранты š , ž (ср. отражение в литовском) и в диффузные аффрикаты s , z и затем в спиранты (свистящие) s , z (ср. их отражение в славянских языках). Аналогичный путь спирализации исходных компактных аффрикат (из соответствующих палатализованных смычных) прошли, очевидно, те иранские диалекты, дальнейшие этапы развития которых отражены в авестийском и в ряде восточноиранских языков.

Следы более раннего состояния в славянских языках с аффрикатами, восходящими к соответствующим палатальным смычным, можно видеть в некоторых ранних славянских заимствованиях в балтийских языках типа литов. *stirna* «косуля», *tūkstantis* «тысяча» и др.¹¹ При таком допущении развитие палатальных в славянском полностью соответствует фонетическому развитию этого ряда фонем в других индоевропейских диалектах *valetm* (в частности, иранском, см. выше).

Несколько другой путь деаффрикатизации аффрикат, восходящих к индоевропейским палатализованным, обнаруживается в юго-западно-иранском, в частности, в древнеперсидском¹², а также, по-видимому, албанском языке¹³. В результате деаффрикатизации аффрикат в этих иранских диалектах возникают соответствующие дентальные смычные ḍ , ḏ , а в албанском интердентальные: спиранты θ , ð , ср. алб. *dimër* «зима»: др.-инд. *hima* «то же»; алб. *dhemb* «зуб»: др.-инд. *jambhas* «зуб, пасть», греч. *ὄμφος* «колышек»; алб. *bathe* «полевой боб»: греч. *φαῖς* «чечевица». Ср. типологически комбинаторно обусловленную деаффрикатизацию аффрикат, дающих соответствующие дентальные смычные, в мегрело-лазском: мегр. **čxvinž-i > čxvind-i* «нос»; **ʒačxir-i > dačxir-i* «огонь»¹⁴.

В отношении сохранения первоначального фонетического характера рефлексов палатализованных фонем в виде компактных аффрикат древнеиндийский показывает среди остальных индоевропейских диалектов самое архаичное состояние. Только аффриката $\text{č}^{[h]}$, восходящая к индоевропейскому палатальному $*\text{k}^{[h]}$, спирализуется в древнеиндийском и предстает в виде компактного спиранта ṣ . Однако след аффрикаты виден также в церебральном ретрофлексном ṣ , возникающем из соответствующей аффрикаты в исходе слова: **spek^{[h]} > др.-инд. saṣ* «шесть», ср. аналогичное развитие в абсолютном исходе: др.-инд. *-vaṣ* (и.-е. **peḡ^{[h]}*), а также сохранение аффрикаты s (при потере компактного — шипящего ее характера) в кафирском: кати *aṣī* «слеза» (ср. др.-инд. *aśru* «слеза», и.-е. **ak^{[h]} ru*), вайгали *saṣ* «ветка», др.-инд. *śākhā*. Старая аффриката $*\text{č}^{[h]}$ остается пержиточно лишь в определенных комбинаторных условиях при сочетании ее с предшествующим дентальным смычным или спирантом, которые в свою очередь претерпевают аффрикатизацию по ассимиляции: индоиран. **sčh < и.-е. -sk^{[h]} → др.-инд. cch* типа др.-инд. *gacchati* «идет», авест. *jasati*

¹¹ О. Н. Трубачев, Лексикография и этимология, в кн.: «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов», М., 1973, стр. 305 и сл.

¹² G. Morgenstierne, Avestan phonology, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskab», XII, 1942.

¹³ E. Çabej, Über einige Lautregeln des Albanischen, «Die Sprache», XVIII, 2, стр. 132.

¹⁴ Т. Е. Гудова, Об одном случае регрессивной деаффрикатизации в сванском (мегрело-чанском), «Известия АН ГрузССР», XXXIII, 2, 1964.

«приходит», греч. βᾶσκει «иди!», литов. *gimstu*, тох. В *kumsam*: и.-е. **k^o(e)m-sk^[h]*-, др.-инд. *ucchvaṅkaḥ* «отверстие» < **utśvaṅka-*, др.-инд. *śvañcate* «склоняется, сгибается»,

В начальной позиции индоевропейское **ḥsk^[h]* отражается в древнеиндийском как *ch-*, т. е. с сохранением древнего рефлекса палатализованной фонемы и утерей спиранта *s¹⁵*, типа др.-инд. *chāya* «тень, отражение», авест. *asayo*, маних. согд. *sy'k* < **sayāka*, новоперс. *sāya*, белуджск. *saig*, алб. *hije* «тень», ср. греч. οἷ'α «тень», тох. В *skiyo*.

Данные индоиранских языков, и в первую очередь древнеиндийского, дают возможность судить о древнейших моделях распределения индоевропейских палатализованных фонем, во всяком случае в том диалектном ареале, продолжение которого представляют индоиранские языки. Есть основание полагать, что палатализованные веларные проявлялись только в определенных позициях в слове, и можно определить с некоторым приближением такие позиции, в которых происходила нейтрализация противопоставления по признаку палатализации.

В качестве архифонемы противопоставления в таких позициях, как и следовало ожидать, проявляется соответствующий немаркированный член противопоставления в виде непалатализованного веларного смычного. Одной из таких позиций нейтрализации противопоставления палатализованный — непалатализованный в раннедревнеиндийском следует считать позицию перед дентальным смычным, а также позицию перед *s*. Иными словами, в таких позициях не следовало бы ожидать наличия палатализованных веларных смычных. Такое дистрибутивное поведение палатализованных обуславливает возможность морфонологического чередования алломорфов с палатализованными и соответствующими чистыми веларными согласными в пределах общей парадигмы. Следы таких чередований древних алломорфов удается обнаружить в индоиранском (при сопоставлении форм отдельных его диалектов) или даже в пределах самого древнеиндийского языка, в котором чередующиеся древние индоевропейские формы отражаются в виде соотношения морфонологических единиц с различными рефлексами древних веларных и палатализованных фонем. В результате позднейших аналогических выравниваний чередующихся форм в парадигме и обобщении одного из древних алломорфов стираются исходные модели чередований, что затемняет первоначальные схемы распределения палатализованных фонем.

Подобного рода чередования древних алломорфов проявляются в древнеиндийском в формах типа *mṛjati* «трет», авест. *marəzaiti*, хотанско-сакск. *ni-malys*, ср. парфян. *namrz-* при др.-инд. *mṛkṣati* «трет»: и.-е. **m(e)lk²-* / **m¹lk²-s-*; др.-инд. *daśasyati* «служит; поклоняется», лат. *deceat* «приличествует», *dāśati* «поклоняется богу», греч. гом. δηχόμενος «приветствующий» при др.-инд. *dakṣati* «угрожает, удовлетворяет»: и.-е. **ṛek^[h]* / **ṛek^[h]-s-*; др.-инд. *pimśati* «украшает», *pesa-* «форма; краска», авест. *raeš-* «красить», *pīs-* «украшение», литов. *piēšti*, ст.-слав. *пѣсати* при др.-инд. *piṅkte* «красит,¹ живописует»: и.-е. **p^[h]ink^[h]* / **p^[h]ink^[h]-t^[h]*¹⁶; др.-инд.

¹⁵ Ср. в этой связи сохранение в армянском и кельтском древнего рефлекса в виде *p^[h]* после начального *h* (впоследствии исчезнувшего) при утере **p* в других позициях.

¹⁶ Такое понимание распределения палатализованных и соответствующих непалатализованных веларных фонем в древнейших алломорфах индоевропейских морфем снимает трудности представления исходных корней в виде параллельных форм с палатальной и непалатальной или глухой и звонкой фонемами. Эти искусственные построения индоевропейских форм с непонятным распределением исходных корней, встречающиеся часто в этимологических словарях (ср. о данных формах: M. Maury, *Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen*, II, Heidelberg, 1963, стр. 268, 270, стр. 671), оправдываются при допущении дистрибутивных ограничений фонем палатального ряда в алломорфах индоевропейских корней.

sahate «побеждает», *sahas* «победа; власть» при *saksa* «победитель», ср. греч. 'Εκτορ: и.-е. **seǵ*^[h]/**seg*^[h]-s; др.-инд. *vahati* «везет; едет», ср. авест. *va-zaiti*, лат. *uehō*, гот. *gawigan* при др.-инд. *avaksam* (аорист): и.-е. **ueǵ*^[h]/**uog*-s > **uoks*-; др.-инд. *dehmi* «умащиваю, мажу», ср. арм. *dizanem* «складываю», лат. *finjo* «леплю» при др.-инд. *degdhi* «умащивает», 3-е л. ед. ч. *digdhab*, причаст. страдат. «умашенный»: и.-е. **deiǵ*^[h]/**d(e)ig*-t^[h] > **d(e)ig*-dh-; др.-инд. *muhyaṭi* «ошибается, заблуждается», хотаносакск. *muysamḍai* «глупый» при др.-инд. вед. *mugdha* «ошибавшийся», и.-е. **muǵ*^[h]/**mug*-t^[h]o- > *mug*^[h]a-. Параллельно с этой формой встречается более поздняя, судя по памятникам, форма *mūdha* с утерей предшествующего согласного.

Определенные следы моделей распределения палатализованных фонем в разных алломорфах при наличии конкретных позиций нейтрализации, в которых проявлялись лишь соответствующие непалатализованные веларные фонемы, предполагаются и в отношении балто-славянского ареала, в котором исконные палатализованные фонемы, как и в других диалектах группы *satem*, отражаются в виде спирантов *š*, *ž* (в литовском) и *s*, *z* (в других балтийских языках и в славянском). Указанные спиранты предположительно возникают из аффрикат, в которые должны были перейти непосредственно в соответствующих позициях исконные палатализованные смычные.

К позициям нейтрализации противопоставления палатализованный — непалатализованный в балто-славянском диалектном ареале следует отнести позицию перед сонантами *r*, *l* (и, возможно, другими сонантами) и после спиранта *s*. Эти позиции в качестве позиций нейтрализации при противопоставлении палатализованный — непалатализованный в диалектах названной группы устанавливаются на основании отражения постериорных смычных в исторических диалектах. Несмотря на то, что в результате последующих изменений, выразившихся в аналогических выравниваниях форм, в этих диалектах значительно затемнены первоначальные дистрибутивные модели постериорных согласных, есть все основания видеть в «исключениях» из закономерного отражения палатализованных в балто-славянском некогда закономерные модели чередования палатализованных согласных в алломорфах индоевропейских морфем. Имеются в виду следующие балто-славянские формы: литов. *smākras* «подбородок», *smakrà* «то же», латыш. *smakrs* «то же» при др.-инд. *śmaśru* «борода», арм. *mauruk*, *moruk* «то же», алб. *mjekrër* «то же», хет. *zamankur* «борода»¹⁷, др.-ирл. *smech* «подбородок»: и.-е. **smek*^[h]r/**smek*^[h]-r-; ст.-слав. свекры «свекровь» при литов. *šėšuras* «свекор», др.-инд. *śvaśura* «то же», арм. *skesur* «то же», греч. ἑσώρος, гот. *swaihrō* «то же»: и.-е. **sp̥ek*^[h]ru-/**sp̥ek*^[h]uro-¹⁸; латыш. *krēkls* «рубашка» при укр. *креснути* «ударить», серб.-хорв. *крѣсати*, др.-англ. *hraegl* «одежда», др.-исл. *hraell* «пест для закрепления ткани на станке»: и.-е. **kreḱ*^[h]l/**kreḱ*^[h]-; литов. *klausyti* «слушать», латыш. *klaist*, прус. *klausīton* «слушать» при литов. *šlovė* «слава»¹⁹, ст.-слав. слово, слыти, ст.-слав. слоушати: и.-е. **kl*^[h]leus-/**k*^[h]leu-s-; слав. **gops*, русск. *гусь*, польск. *ges*, словен. *go's* при литов. *žasis* «гусь», латыш. *zļoss* «то же», прус. *zansy*, греч. χήν «то же», др.-инд.

¹⁷ Хеттская форма *zamankur* предполагает метатеку из *z(a)manku* в отличие от лув. иероглиф. *zu-ra-na* «рог». Ср. клин. хет. *karacur* «рог», где ассимиляция палатального **k*^[h] происходит закономерно перед и, довольно рано возникшим в результате вокализации слогового сонанта.

¹⁸ O. S z e m e r e n y i, указ. соч., стр. 291 и сл.

¹⁹ E. F r a e n k e l, Die Baltischen Sprachen, ihre Beziehungen zu einander und zu den indogermanischen Schwesteridiomen als Einführung in die baltische Sprachwissenschaft, Heidelberg, 1950.

hamsa-b «водная птица», лат. *anser* «гусь»: и.-е. **g^[h]ns*: **ǵ^[h]on-s*-; литов. *akmuš*, *akmeiš* «камень», ст.-слав. *камѣ* «камень» при литов. *āš-mens*, др.-инд. *aśman-* «камень»: и.-е. **ak^[h]-men*:- **ak^[h]-men*-; литов. *ieškoti* «искать», ст. слав. *искати* при др.-инд. *icchatī* «желает», др.-в. нем. *eis-cōn* «желать»: и.-е. **ei-sk^[h]* = **ei-sk^[h]*-; литов. *ieškoti* «есть» (о скоте), латыш. *ēšķu* «обжора», ср. хет. *azzik-* «есть» (итератив от *ed-* «есть»): и.-е. **e/o^t-sk^[h]*-/**e/o^t-sk^[h]*-; латыш. *skidrs* «негустой», литов. *skiedra* при греч. *σιδαρόν*, авест. *sidadam* «дыра», др.-инд. *chidran* «пронзенный»: и.-е. **sk^[h]ei^t*-'/**sk^[h]ei^t*-'.

Аналогичные следы позиции нейтрализации противопоставления палатализованный — непалатализованный перед сонантами обнаруживаются в албанском и в армянском языках. Древние модели чередования индоевропейских алломорфов с палатализованными и соответствующими непалатализованными фонемами в зависимости от позиции перед сонантами можно предположить и в этих языках на основании анализа ряда форм с постериорными смычными: алб. *glu-ri* «колени» (гег. диал.), *gju-ri* (тоск.) «то же», др.-ирл. *glūn* «то же», др. инд. *jñi*, *jānuni* «оба колена», греч. *γῆν*-, *γόνυ*τος < **ǵonF-n*-t-: и.-е. **k^[h]nu-n*-/**k^[h]lu-n*-> алб. *glur*-, алб. гег. *krye*, мн. ч. *krëna*, тоск. *krîe*, мн. ч. *krëre* «голова», др.-инд. *śīrāḥ*, «то же», др.-исл. *hiarni* «мозг», лат. *cerebrum* «череп», греч. *ῥῆμα* «голова», гом. *ῥῆμα* «головы»: и.-е. **kr*-/**k^[h](e)r*-; алб. *ka* «бык», мн. ч. *qe* (< **kra*²⁰), литов. *karvė* «корова», ст.-польск. *karw*, польск. *krowa*, русск. *корова*, прус. *siwīs*, латыш. *cervās*: и.-е. **kṛu*-/**keryu*-; алб. *mjekër* «подбородок», арм. *mauruk'*, литов. *smākras* «подбородок», др.-инд. *śmaśru*: и.-е. **smek^[h]-r*-/**smek^[h]-r*-; арм. *skesur* «свекор», ст.-слав. *свекровь*, др.-инд. *bvaśura*:- и.-е. **suek^[h]ru*-/**suek^[h]uro*-.

Позиция нейтрализации противопоставления палатализованный — непалатализованный перед сонантом, в частности, перед *r*, характерна, судя по приводимому выше лингвистическому материалу, не для отдельных индоевропейских диалектов, а для целого диалектного ареала, в который включаются по крайней мере языки балто-славянские, албанский, армянский, а также фракийский.

Не исключено, что существовали и другие позиции нейтрализации противопоставления палатализованный — непалатализованный, следы которых полностью утеряны в исторических индоевропейских диалектах. Если допустить некоторые такие позиции нейтрализации для всего индоевропейского ареала, то в таком случае, естественно, невозможно уже обнаружить следы противопоставления палатализованных и непалатализованных фонем.

Вообще говоря, поскольку существуют позиции нейтрализации противопоставления палатализованный — непалатализованный, в которых проявляются лишь веларные (непалатализованные) фонемы, дистрибуция палатализованных естественно уже, ограниченнее дистрибуции соответствующих веларных, что вполне согласуется с положением о немаркированном характере веларных в отличие от маркированных палатальных. Однако эта особенность палатализованного ряда не может, разумеется, служить основанием для отрицания его существования в индоевропейской фонологической системе. Палатализованный ряд в индоевропейском и лабиализованный ряд (лабиовеларные) составляли маркированные ряды по отношению к немаркированному ряду веларных, образо-

²⁰ E. P. Hamp, Albanian and Messapic, в кн.: «Studies presented to J. Whatmough», The Hague, 1957; е го ж е, Palatal before resonant in Albanian, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», 76, 1960.

вавшему вместе с ними единый подкласс постериорных (заднеязычных) фонем.

Однако в языках типа *satəm*, в частности, в армянском, обнаруживаются такие случаи нейтрализации противопоставления палатализованный — непалатализованный, где оппозиция снимается при проявлении именно палатализованного члена. Такой позицией нейтрализации является, очевидно, позиция после **u*, где, судя по соответствующим армянским рефлексам, нужно допустить наличие лишь палатализованного члена оппозиции: арм. *usanim* «я учу» при ст.-слав. *оукъ* «ученик; наука», литов. *jaukūs* «привыкший к людям», др.-инд. *okas-* «дом; привычное место», ср.-ирл. *to-iss* «понимать», гот. *bi-ūhts* «привыкший» и др.; арм. *loys* «свет» с развитием, аналогичным др.-инд. *ruśant* «блестящий» при др.-инд. *rokas* «свет», литов. *laiškas* «с белым пятном на лбу»²¹; арм. *boys* «пища» при др.-инд. *bhogah* «наслаждение», *bhunkte* «наслаждаться», алб. *bunge* «дуб (с питательными желудями)»²²; ср. арм. *dustr* «дочь» при литов. *duktė* с таким же оглушением **gt* > **kt*, как и в армянском, др.-инд. *duhitā*, авест. *duydar-*, гот. *dauhtar*²³.

Наличие следов аналогичной нейтрализации и в древнеиндийском и, возможно, кафирском (ср. выше др.-инд. *ruśant* «блестящий» с палатальным *ś* после *u*, ср. прасун *lūst* «дочь»²⁴) может указывать на значительную древность этого процесса в языках типа *satəm*. В определенной системной связи с этим явлением нейтрализации противопоставления «гуттуральных» в позиции после *u*, дающим переход **uk*^[h] / → *us* в армянском, находится, очевидно, обратный этому процесс преобразования последовательности **us* → *uk*: ср. арм. *tuḵn* «мышь» при др.-инд. *muṣ-*, ст.-слав. *мышь*, греч. *μῦς*, лат. *mus*; арм. *jukn* «рыба» при греч. *ἰχθῦς* «то же».

В этом можно видеть взаимосвязанность, с одной стороны, процесса палатализации, ведущего к возникновению в системе аффрикат и новых спирантов, и, с другой стороны, процесса изменения первичных спирантов в определенных условиях.

Рассмотренные выше факты «centum-ного» отражения индоевропейских палатальных в диалектах группы *satəm* свидетельствуют не о вторичном, более позднем характере индоевропейских палатальных фонем, произошедших якобы от соответствующих велярных в результате позиционной палатализации²⁵, а о наличии уже в диалектах общиндоевропейского языка особых позиций нейтрализации, в которых проявлялись только велярные смычные, чем и вызывали морфонологические чередования между палатализованными и непалатализованными согласными в алломорфах общих индоевропейских морфем. Такое чередование индоевропейских алломорфов и отразилось в исторических диалектах группы *satəm* в наличии определенных форм с велярными согласными на месте рефлексов палатализованных фонем.

Если и можно говорить о «вторичности» индоевропейских «палатальных» (как и лабиовелярных) фонем в отношении смычных фонем велярного

²¹ A. Meillet, указ. соч., стр. 37.

²² J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, I, Bern, 1959.

²³ E. P. Hamp, Sanscrit *duhita*, Armenian *dustr*, and IE internal schwa, стр. 229, 231; W. Winter, Armenian evidence, в кн.: «Evidence for laryngals», ed. by W. Winter, The Hague — Paris, стр. 104—105, 112—113; E. P. Hamp, Sanscrit *duhita*, Armenian *dustr*, and IE internal schwa.

²⁴ G. Morgenstierne, The language of the Prasun Kafirs, «Norsk tidsskrift for sprogvidenskap», XV, 1949, стр. 203.

²⁵ Ср.: В. И. Георгиев, Исследования по сравнительно-историческому языкознанию, М., 1958. К истории вопроса ср.: O. Szemerényi, Comparative linguistics, в кн.: «Current trends in linguistics», 9, The Hague — Paris, 1972, стр. 128—129.

ряда, то только в функциональном смысле, т. е. можно говорить о меньшей функциональной роли палатализованного ряда смычных в индоевропейском по сравнению с велярным рядом, о его маркированном характере и фонетической нестабильности в системе.

Из всего изложенного следует, что индоевропейские диалекты можно разбить на две большие группы по признаку отражения в них палатализованного ряда смычных, элиминируемого в индоевропейской фонологической системе. Индоевропейские диалекты, в которых палатализованный ряд элиминировался в результате склеивания его с немаркированным велярным рядом, составляют особую группу диалектов *centum*, индоевропейские диалекты, в которых палатализованный ряд элиминировался в результате перехода и преобразования его в аффрикаты и спиранты, составляют другую группу диалектов, определяемую как группа *satem*.

При этом в диалектах первой группы могут возникать отдельные случаи «*satem*-ного» отражения палатализованных (ср. отражение и.-е. **k*^(h) в виде *s* в хеттском), в диалектах второй группы — случаи «*centum*-ного» отражения их, объясняемые структурными факторами морфонологических чередований еще в пределах диалектов общеиндоевропейского языка.

Такая интерпретация соотношения между индоевропейскими диалектами группы *centum* и *satem* совпадает в некотором смысле с традиционными представлениями классической индоевропеистики о делении индоевропейских диалектов на две большие группы по признаку отражения в них индоевропейского палатализованного ряда.

Обнаруженные в позднейших исследованиях отклонения от закономерных отражений этого ряда фонем как в языках группы *satem*, так и в языках группы *centum*, послужившие основанием для попыток пересмотра такой бинарной классификации индоевропейских диалектов, оказываются объяснимыми из древних структурных (фонологических) соотношений в индоевропейских диалектах и могут быть выведены из закономерностей развития общеиндоевропейской системы при допущении двух основных направлений преобразования палатализованного ряда смычных.

Эти два основных направления преобразования палатализованного ряда и привели к классификационному разделению индоевропейских диалектов на два основных типа, характеризуемых условно как диалекты группы *centum* и диалекты группы *satem*.

В традиционной индоевропеистике наличие всех трех рядов «гutturальных» — основного, лабиализованного и палатализованного — отрицалось на том основании, что ни в одном из известных индоевропейских языков не представлены одновременно все три ряда. Это положение, разумеется, не может быть выдвинуто как принципиальный довод против постулирования в общеиндоевропейском трех названных рядов «гutturальных». Такая постановка вопроса была бы методологически неверной с точки зрения современной диахронической лингвистики. Для постулирования определенной структуры в исходной языковой системе нет необходимости в наличии идентичной структуры в одном из исторических языков, являющихся непосредственным продолжением постулируемой системы. Такой подход к реконструкции исключил бы постулирование в исходной системе таких типологически вероятных (т. е. верифицируемых на общезыковом материале) языковых структур, которые отразились во всех без исключения языках этой группы только в преобразованном виде.

В подтверждение принципиальной возможности трех рядов «гutturальных», постулируемых нами для общеиндоевропейской системы, можно привести не только общезыковые типологические соображения, подкрепляемые материалом неиндоевропейских языков (ср. данные абхазского, а

также некоторых северных американских индейских языков), но и данными некоторых новоиндоиранских языков со вторичной системой трех рядов «гutturальных»²⁶:

$$\begin{array}{ccc} k & k' & k'' \\ g & g' & g'' \end{array}$$

Полная система смычных праиндоевропейского языка позднего периода, перед распадом его на самостоятельные диалекты, представлена в таблице:

$$\begin{array}{ccccccc} (p') & b^{[h]} & p^{[h]} & & & & \\ t' & d^{[h]} & t^{[h]} & & & & \\ k' & g^{[h]} & k^{[h]} & k^{o'} & g^{o[h]} & k^{o[h]} & k' & g^{[g]} & k^{[h]}. \end{array}$$

²⁶ Ср. язгулимский язык: Д. И. Э д е л ь м а н, указ. соч.

АХМАНОВА О. С., АЛЕКСАНДРОВА О. В.

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

(в связи с выходом в свет энциклопедии «Русский язык»*)

Положение об объективности существования естественного человеческого языка, марксистская онтология этого общественного явления составляет основу всей нашей языковедческой деятельности. Мы принципиально не можем рассматривать естественные человеческие языки как «анонимные» акронические структуры, изучаемые вне связи с языковыми особенностями и потребностями тех человеческих коллективов, которые являются их творцами и носителями, т. е. язык неотделим от общественной жизни последних и исторических условий их существования. Поэтому в нашем языкознании такое большое место занимают вопросы культуры речи, функциональной стратификации языка и закономерностей его развития. Поэтому у нас так много работ, посвященных конкретно-историческому изучению разнообразнейших языков Советского Союза, стилистике национальных литературных языков, их взаимовлиянию, роли и месту русского языка как средства межнационального общения.

Все это огромное богатство языковедческих работ обеспечивает непрерывное поступательное движение советского языкознания. При этом в теоретических обобщениях советского языкознания не просто улавливается общее (тождественное, совпадающее, остающееся за вычетом особенного и своеобразного)¹. Ведь общее существует только в отдельном и через отдельное, вот почему в поле зрения исследователя всегда находятся и существенные различия, противоположности, конкретная связь разнообразных явлений. Диалектико-материалистическая методология марксизма помогает раскрыть сущность нашего предмета в единстве его системно-структурных и историко-генетических свойств и характеристик. Она исходит из диалектического единства истории и синхронии (соответственно исторического и системно-структурного языкознания), диалектического единства «языка» и «речи» как общего и отдельного, диалектического единства формы и содержания в языке (почему в равной мере неприемлемы как «формализм», так и злоупотребление семантикой), диалектического единства антропофонии и семиологической релевантности звучаний и т. д.².

* М., 1979, изд-во «Советская энциклопедия».

¹ Ср. «О состоянии и направлениях философских исследований», ВФ, 1979, 12, стр. 9.

² Вопросы, затронутые в этой части статьи, трактуются нами в применении к языкознанию, в возможно полном соответствии со следующими исследованиями: «О состоянии и направлениях философских исследований», «Коммунист», 1979, 15 (редакционная статья, воспроизведена в № 12 ВФ за тот же год в качестве передовой); П. Н. Ф е д о с е е в, Некоторые методологические вопросы общественных наук, ВФ, 1979, 11. Из последних языковедческих работ методологического значения особенного внимания заслуживают следующие: Ф. П. Ф и л и н, Некоторые вопросы современного языкознания, ВЯ, 1979, 4; Р. А. Б у д а г о в, Борьба идей и направлений в языкознании нашего времени, М., 1978. Ср. также: О. С. А х м а н о в а, [реп.

Диалектико-материалистическая методология марксистского языкознания является подлинно научной основой советского языкознания, преодолевающего несовместимые с марксизмом «направления» и «теории», которые проникают в ту или иную конкретную область знания в облачении модной наукообразной терминологии, предподносящей под видом научной сенсации давно известные и отвергнутые наукой положения. Широко известны неоправдавшиеся претензии трансцендентно-априористического «конструктивизма» «генеративной грамматики». Советские языковеды уже неоднократно и решительно выступали против попыток насаждать у нас открыто идеалистические представления о сущности и задачах «лингвистической теории», якобы призванной заменить собой марксистскую методологию языкознания³. Априористические и трансцендентные конструкты ничего общего не имеют с языкознанием, предметом которого являются наблюдаемые объекты, данные нам в опыте во всем многообразии явлений устной и письменной речи. Познание их сущности направляется от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике.

Мы не можем также согласиться со сведением методологии и логики науки к сумме субъективных приемов «гносеологической обработки» объекта, исследования их в духе позитивистской традиции. «Материалистическая диалектика как наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления и есть методология современной науки и практики, последовательное научное выражение материалистического монизма марксистско-ленинского мировоззрения. Она несовместима ни с каким методологическим релятивизмом и плюрализмом»⁴. И здесь ничего не могут изменить терминологические ухищрения. Так, например, современная герменевтика «несовместима с объективным рассмотрением общественно-исторической реальности»⁵. Очень плохо, что до сих пор свободный обмен мнениями между учеными смешивают с плюрализмом истин, «подразумевающих существование в равной мере справедливых мнений». «Единственный вывод из того, разделяемого марксистами мнения, что теория Маркса есть объективная истина, состоит в следующем: идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая ее), идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи»⁶.

Развитие научного марксистского языкознания все еще иногда затрудняется смешением, неразличением языкознания и интерлингвистики. Языкознание — это раздел филологии, это наука о естественных человеческих языках в их реальном, исторически обусловленном существовании и развитии, в их неразрывной связи с мышлением, это наука о важнейшем средстве человеческого общения и передаче от поколения к поколению культурно-исторических традиций данного общества. Интерлингвистика — это раздел семантики, изучающий разнообразные вопросы, связанные с созданием и функционированием различных вспомогательных языков — от международных языков типа эсперанто, интерлингва и т. д. до математических языков-посредников, ин-

на кв.:] Н. Parret, *Discussing language*, ВЯ, 1976, 3; О. С. Ахманова, О. В. Долгова, *Синтаксическая теория и знание языка*, ВЯ, 1979, 1; О. С. Ахманова, Л. В. Минаева, *Еще раз о так называемой «теоретической лингвистике»*, ВЯ, 1979, 5, и др.

³ См., например: О. С. Ахманова, О. В. Долгова, *Синтаксическая теория и знание языка*; О. С. Ахманова, Л. В. Минаева, *Еще раз о так называемой «теоретической лингвистике»*.

⁴ ВФ, 1979, 12, стр. 14.

⁵ Ср.: П. Н. Федосеев, *указ. соч.*, стр. 11.

⁶ В. И. Ленин, *Полн. собр. соч.*, 18, стр. 146.

формационно-логических языков и вспомогательных кодов для машинного перевода, информационных машин и т. п. С развитием электронно-вычислительной техники интерлингвистика становится, по-видимому, также предметом так называемой «инженерной лингвистики». В этой своей части она, очевидно, может рассматриваться как наука об абстрактных семиотических системах, построенных на логико-математической основе.

Интерлингвистика возникла очень давно, потому, что уже очень долгое время людям приходится общаться в особых условиях — невозможности пользоваться естественным человеческим языком. Первоначально это были потребности межнационального и международного общения. Теперь же, в эпоху научно-технической революции, возникают новые задачи — общение человека с машиной — вплоть до «внеземной» коммуникации. Поэтому не только содержание понятия «интерлингвистика» и ее реального предмета все время меняется. Меняются и разрабатываемые ею методы исследования. Понятно, что эта область человеческой деятельности имеет не только богатые традиции, но и занимает в эпоху научно-технической революции важное место в системе наук.

Необходимо обратить внимание также на несовершенство терминологического разграничения двух разных объектов. Дело в том, что распространившееся у нас употребление слова «лингвистика» — вместо «языковедение» и «языкознание» — способствовало неразличению двух областей знания. Следует добавить, что термин «лингвистика» неудовлетворителен также и в собственно терминологическом плане. Ведь для науки важно различать между «языковым» и «языковедческим»: мы говорим о языковых изменениях, языковых различиях, языковых контактах, языковом творчестве и т. д., но о языковедческих дисциплинах, направлениях, исследованиях и проч. Понятно, что эта терминологически очень важная дифференциация совершенно стирается при безразличном употреблении столь распространенного у нас прилагательного «лингвистический».

Изданные общие теоретические соображения должны помочь нам глубже понять значение энциклопедии «Русский язык». Мы начнем с краткой характеристики ее исторического фона. Дело в том, что в течение уже не одного десятилетия у нас, в охарактеризованной выше недифференцированной «лингвистике», встречаются работы, отличающиеся высокомерным отношением к советскому языкознанию как не соответствующему требованиям так называемой «лингвистической теории» и противопоставляющие им сообщения о новых и новейших движениях в зарубежной лингвистике. Именно «новейших» и удивительных в ущерб не только советским работам, но и серьезным исследованиям самих зарубежных языковедов, особенно тех из них, которые отрицательно относятся к системе научных сенсаций⁷. Все это отрицательно отражается на подготовке научных кадров: нередко в кандидатских диссертациях бессмысленно повторяются (большой частью уже оставленные «лансированными» их авторами) «ядерные структуры», «семантические множители», «речевые акты», убогие примеры так называемых «пресуппозиций» (неуклюжая пересадка в языкознание понятия «презумпции» (*Voraussetzung*), введенного в математическую логику еще Г. Фреге), и др. Дело дошло до того, что стало «хорошим тоном» щеголять своим знакомством с той или другой зарубежной публикацией, совершенно освобождая себя от ее серьезной критической оценки. Нередко те или иные «лингвистические» течения принимаются, рекламируются и кладутся в основу подготовки молодых научных кадров с п р я м ы м о т к а з о м от их методологического ос-

⁷ Напомним о наглумевшей в свое время книге В. А. Звегинцева «Язык и лингвистическая теория» (М., 1963), где было безапелляционно объявлено, что «язык представляет собой систему абстрактных сущностей...» (стр. 15).

мысли. Более того: для некоторых авторов оказывается совершенно безразличным, что рекламируемая ими «лингвистическая теория» несовместима с марксизмом и даже враждебна ему⁸.

Энциклопедия «Русский язык» является по существу первой книгой, в которой поставлена важнейшая и актуальнейшая задача — показать советское языкознание в действии, обеспечить впервые этому содержание форму, позволяющую сделать развиваемые положения и приводимые факты достоянием широких кругов читателей. Книга дает в компактном и легко обозримом виде всю совокупность основных знаний о русском языке от начала его научного изучения и до наших дней. Как возник русский язык и как приобрел он свою неповторимую индивидуальность? Как развились его качества национального языка и какое влияние на его формирование и развитие имела классическая русская литература? Какое воздействие оказала на русский язык Октябрьская революция, в результате которой литературный язык стал основным средством общения русской нации и была установлена общеобязательность его норм? Каким образом изменялось соотношение литературного языка и диалектов? Как изменялась и развивалась его стилистическая система? Какое место русский язык занимает в современном мире и какую роль он играет в международном научном и культурном общении? Какое место он занимает в культурной жизни других советских народов, для которых он стал общим языком межнационального общения и сотрудничества? На каждый из этих вопросов дается тщательно и компетентно, ясно и доходчиво сформулированный развернутый ответ, достоверно аргументированный безупречными фактическими данными.

Самой положительной оценки заслуживает и другая важнейшая линия энциклопедических сведений — история и современное состояние науки о русском языке в нашей стране. М. В. Ломоносов как создатель научной филологической теории, воплотивший ее в практику грамматического описания. Роль русских ученых в разработке сравнительно-исторического языкознания и успешное применение ими его принципов к изучению истории русского языка. Создание русской диалектологии как научной дисциплины. Уже до Октябрьской революции русское языкознание занимает ведущее место в мировой науке (Фортунатов, Шахматов, Бодуэн де Куртене, явившийся родоначальником фонологии, и др.). После революции работы по разным аспектам русского языка получили небывалый размах, причем особенно велики достижения в области лексикографии. Сведения по этому вопросу тщательно подобраны и расклассифицированы, причем наряду с обобщающими статьями приводятся статьи, посвященные деятельности отдельных ученых, занявших (или занимающих) важное место в ряду исследователей русского языка. Их портреты, как и прекрасно выполненные иллюстрации-факсимиле, дающие читателю представление о рукописных памятниках, очень оживляют материал.

Перечисленные аспекты науки о русском языке легко поддаются собственноручной энциклопедической трактовке, т. к. здесь речь идет о наиболее полном, компетентном и добросовестном освещении фактов (в сочетании со смелостью и решительностью, коль скоро оказывается необходимым включить одних русистов и опустить имена других). Сложнее обстоит дело с описанием строя и состава русского языка и его разновидностей — фонетики, грамматики, лексикологии, стилистики. В «лингвистике» настолько распространилось представление о разных «точках зрения», имеющих совершенно равные права на существование, что написать книгу,

⁸ В этой связи уместно поставить вопрос о том, правильно ли подается информация в реферативных журналах. Думается, что следует давать хотя бы самую общую методологическую оценку реферируемого сочинения.

которая сообщала бы «всем, кто интересуется русским языком, любит и ценит русское слово» о том, что есть на самом деле, должно быть очень и очень трудно.

Мы думаем, что с этой трудностью энциклопедия в общем справилась, выбрав, как нам кажется, единственно правильный путь, который был наиболее ясно определен в предисловии к академической грамматике 1954 г. Там указывалось, что эта книга не стремится к углубленной постановке спорных и сложных вопросов и не пытается дать их разрешение. Она берет за основу наиболее установившуюся систему, внося в нее, где это необходимо, уточнения и поправки. То же относится и к энциклопедии, которая пользуется установленной терминологией, избегая каких-либо нововведений в этом отношении. Академическая грамматика — одно из основных пособий по нашему предмету. Поэтому целесообразно оттолкнуться от столь правильно сформулированного принципа. Последовательное его применение представляется нам настолько важным и убедительным, что мы не могли не взять его за основу: нет другого способа достичь ясности и создать краткое пособие, общедоступное введение в предмет, важность и актуальность которого невозможно переоценить⁸.

Чтобы яснее представить существо тех сложностей, которые должны были быть преодолены для того, чтобы энциклопедия была монографией, а не сборником отдельных статей, приведем еще два-три примера, когда уход от четкого и ответственного определения ничем не оправдан (и к тому же легко устраним при переиздании). Так, статьи «Определение», «Дополнение», «Обстоятельство», «Подлежащее», «Сказуемое» и по содержанию, и по стилю изложения вполне соответствуют провозглашенному выше принципу. Хорошо и «энциклопедично» написана обобщающая статья «Члены предложения», включающая в сжатой и ясной форме краткую историю развития учения о членах предложения в русской синтаксической науке. Но зачем «привесок» в конце статьи (стр. 395, начиная со слов «Деление второстепенных членов предложения...») и особенно последний абзац? Вряд ли русист, не искушенный в тонкостях и контрroversах трансформационной грамматики, генеративной семантики, пропозиционального синтаксиса и учений логики о структуре суждения и его типах, сможет воспользоваться отсылкой к статье «Семантическая структура предложения» для того, чтобы понять, в каком направлении должен будет идти «намечающийся пересмотр учения о второстепенных членах предложения»!

Другой пример. В русском языке важное место занимает система форм словоизменения, объединяемых в категорию падежа — морфологическую словоизменительную категорию — продукт разумной материалистической абстракции, отвлеченной от всего множества и разнообразия фактов, собранных и осмысленных, прежде всего в результате непрекращающихся усилий русских лингвистов. Материал всей системы статей — как «Па-

Число случаев в энциклопедии, когда статья, описывающая какой-либо элемент строя или состава русского языка, «скачивается» на «точки зрения» и «взгляды исследователей», очень и очень невелико, причем почти всегда этот недостаток легко устранить просто при помощи более тщательной редакционной правки — см., например, статьи «Однородные члены» или «Односоставное предложение». В последующих изданиях следует также устранять такие формулировки, как, например, «вопрос о частях речи окончательно не решен» (можно подумать, что остальные вопросы уже решены окончательно и достигнута абсолютная истина). Вряд ли можно в энциклопедии уклоняться от ответственности, выдвигая такие формулировки как «большинство исследователей считает, рассматривает» и т. п., «в литературе неоднократно указывалось» и т. п. Следует подчеркнуть, что это настолько не типично для статей о русском языке, что об этом вообще можно было бы не говорить, если бы не настойчивое желание объявлять войну всем и всяческим проявлениям «плюрализма мнений», даже в тех случаях, когда дело сводится просто к неудачной формулировке.

деж» в целом, так и некоторые статьи, посвященные отдельным категориальным формам падежа, — очень ясное, краткое (энциклопедическое) и конкретное изложение соответствующего материала. Вместе с тем, и здесь своя «капля дегтя». Каждая из флексивных разновидностей, являющихся выражением грамматической категории падежа (т. е. родительный, дательный, винительный и др. падежи), определяется прежде всего как входящая в соответствующую «парадигму». Понятно, что если речь идет о термине «парадигма», то его значение очень легко узнать, просто посмотрев «Словарь лингвистических терминов»: «1. Совокупность флексивных изменений, служащих образцом формообразования для данной части речи; 2... Совокупность словоформ, составляющих данную лексему»¹⁰. Но ведь это не филологический, а энциклопедический словарь (о тех проблемах, которые возникают в связи с необходимостью последовательного разграничения этих двух видов лексикографического пособия, подробнее будет сказано ниже). В данном случае — в энциклопедии — предметом описания и разъяснения является сам предмет, поэтому ответственность автора статьи увеличивается во сто крат. Он уже не может ограничиться простым изучением большого (в принципе — исчерпывающего) текстового материала, для того чтобы выяснить соответствующие факты, — в каком значении (или значениях) употребляют данный термин носители данного метаязыка и какие словосочетания являются наиболее типичными для его бытования в этом последнем. Автор энциклопедической статьи обязан раскрыть самую сущность данного явления. Но как это сделано? «Парадигма — ...ряд противопоставленных языковых единиц, каждый член к-рого определяется отношениями к другим членам ряда» (стр. 196)? Как же это следует понимать? Оказывается, что понять этого нельзя, так как «парадигматические отношения в разных лингвистических теориях определяются по-разному, соответственно понятие парадигмы приобретает разное содержание». Предположим теперь, что читатель, отказавшись от быстрого и удобного получения позитивной информации, послушно отправляется к статье «Парадигматика». Какие же это «разные лингвистические теории» и какое место среди них занимает языковедческая теория марксизма-ленинизма? Но в статье «Парадигматика» только два имени — Ф. де Соссюр и Л. Ельмслев. А дальше все те же безымянные «ряд современных лингвистов», «ряд» и «многие» современные работы. А между тем именно «многие» советские языковеды неоднократно возвращались к первостепенной методологической важности вопроса об «отношении» и «самых соотносящихся предметах»¹¹.

Чем больше углубляешься в изучение этого исключительно ценного издания, тем более наглядно раскрываются те принципиальные и методологические стороны нашей науки, которые настоятельно требуют серьезного научного осмысления (напомним еще и еще раз, что это первый опыт не только в истории русистики, но и вообще в истории изучения любого отдельно взятого языка). Форма энциклопедии требует сплошного материала. Автор (составитель, редактор) не может ограничиться — как это и имеет место в обычной монографии — выборочным объяснением тех явлений или сторон предмета, которые ему по каким-либо причинам ближе или яснее, чем другие.

Вернемся к вопросу о соотношении общего и отдельного, который так определенно встает в случаях, подобных только что описанному выше. Ограничимся только одним примером. Как уже указывалось, одним из

¹⁰ О. С. А х м а н о в а, Словарь лингвистических терминов, М., 1966, стр. 310.

¹¹ См., например: Р. А. Б у д а г о в, указ. соч.; О. С. А х м а н о в а, Лингвистическая терминология (Linguistic terminology), М., 1977, и др.

наиболее выдающихся достижений советской русистики является то большое внимание, которое всегда уделялось и уделяется в ней функциональным стилям речи. В частности, в подробностях разработана вся система стилистических тропов и фигур в применении именно к русскому языку. Например, употребление антонима с отрицанием как средства риторического «умаления», заведомое преуменьшение степени или свойства чего-либо, нарочитое соединение двух слов, противоречащих друг другу по смыслу, умышленно не завершенное высказывание, повторение слова в начале и конце следующих друг за другом словосочетаний и т. д. Каждому из подобных тропов и каждой из фигур со времен античности присвоены названия, доселе сохраняющие свой классический облик — апопсиопезис, анадиплоза, оксюморон и т. д. Как и в описанных выше случаях, энциклопедия не ограничивается разъяснением каждого из этих явлений в отдельности, т. к. они уже неоднократно изучались в системе, причем основная дихотомия проходит по линии «фигуры речи» (особое сочетание слов, используемое для усиления выразительности высказываемого) и «тропы» (употребление слов в переносном смысле для достижения большей выразительности). Как термин «фигуры речи», по-видимому, «некоторыми авторами» употребляется неточно — «в узком смысле», «в широком смысле» и т. д. Но ведь энциклопедический словарь должен объяснять предметы, явления и понятия, относящиеся к данной научной области, а не слова, их обозначающие.

Известно, какую сложную лингвофилософскую проблему вообще представляет собой разграничение предмета и названия, коль скоро «предмет» не координирован во времени и пространстве, существует как обобщенное представление, понятие и т. п. Особенно важным становится вопрос тогда, когда объектом исследования являются не разнообразные предметы и явления внеязыковой действительности, а язык же, вследствие чего предметы и их названия оказываются «консубстанциональными», т. е. образованными из одной и той же звуковой (соответственно, графической) субстанции. Но все равно различать те и другие совершенно необходимо. Без этого в нашем случае смешались бы две разные задачи: 1) описание русского языка, истории его развития и изучения и т. д. и 2) инвентаризация терминов (понятий и номенклатур); эта последняя предпринималась уже бесчисленное количество раз, так как представляет собой особую и по-своему сложную трудоемкую проблему. Заметим попутно, что ряд вопросов можно было бы упростить, учтя уже имеющиеся исследования метаязыка русского языкознания, включая особенности русской метаречи (или, иначе говоря, принятой в русском языкознании языковедческой терминологии и ее употребление в данной форме научной речи). Конкретно, можно было бы рекомендовать обратить внимание на уже упомянутый «Словарь лингвистических терминов». Как известно, эта книга имела целью дать в возможно «полном и вместе с тем обзорном виде метаязык русского и советского языкознания» (стр. 3) и могла бы рассматриваться как терминологический аналог рецензируемой энциклопедии.

Сказанное, конечно, ни в какой мере не препятствует включению в энциклопедию «статей общелингвистического характера»¹², в особенности если принять во внимание, что могли возникнуть случаи, когда то или иное понятие потребовало пересмотра и приобрело новые свойства. Главное же здесь, конечно, в том, чтобы несколько яснее представить себе, что же следует понимать под «статьями общетеоретического характера» и какие между ними имеются различия.

¹² См. «Предисловие» к энциклопедии «Русский язык».

Возьмем примеры, приведенные в «Предисловии». Большая и богато иллюстрированная статья «Письмо» не вызывает никаких принципиальных сомнений, речь может идти только о том, в какой степени оправданы для данного однотомника столь обширные сведения о письменностях, бытующих вдали от славянского мира, а также включение сложной «генеалогической схемы» (стр. 207), ее было бы лучше ограничить правой верхней частью, дав наглядно крупным планом. Не возникает принципиальных вопросов и в отношении статей «Падеж», «Склонение» и «Спряжение», которые, хотя и очень сильно различаются по стилю составляющей их метаречи и по характеру содержащихся в них сведений, все строго ориентированы на русский язык и русское языкознание. А вот статья «Речь», хотя и входит в тот же примерный список «Предисловия», носит совершенно другой характер как по содержанию [Соссюр, Косериу, не названный Остин с его речевыми актами (speech acts) и генеративная лингвистика], так и по типу изложения.

Приведем еще несколько примеров, чтобы пояснить существо выдвигаемых здесь проблем. В очень интересной статье «Языкознание», особенно ценной потому, что в ней ясно показано принципиальное различие между отдельными направлениями, объединяемыми термином «структурализм», совершенно правильно обращено внимание на то, что недифференцированное употребление этого термина предполагает «структурализм» в широком смысле как вообще ложное и несовместимое с методологией марксистской диалектики противопоставление системно-структурных (статичных, синхроничных) представлений представлениям историко-генетическим. Ведь только «копенгагенский» структурализм потребовал провозглашения теории «чистых отношений» на основе математической логики и «алгебры языка». Именно отсюда идет «конструктивизм» — потуги на трансцендентный идеализм, положенные в основу «генеративной теории», презиравшей «структуралистов-таксономистов» потому, что подлинная «теория» может быть якобы только априористически-дедуктивной и не может, по определению, иметь какое бы то ни было отношение к реальным (или «наблюдаемым») фактам. Но и в этой статье — так же, как и в ряде других, — например, «Семантика» (очень обстоятельной и интересной), «Язык и мышление», «Общее языкознание», «Структурная лингвистика» и др. — авторы настойчиво избегают оценки излагаемых направлений, мнений и подходов с позиций марксистского языкознания. Не проводится различия между теми школами, методами и направлениями, которые относятся к прошлому нашей науки и ограниченность которых так или иначе исторически обусловлена, и теми, которые являются лингвистическим воплощением чуждой нам философии, иногда прямо и открыто враждебной марксизму. Только в одной статье этого рода мы обнаружили выражение оценки, критическое сопоставление и противопоставление «двух основных взглядов» на существо одного из важнейших положений нашей науки, обычно формулируемых как «язык и общество». Но и здесь, хотя все содержание статьи (так же, как и известные исследования в этой области ее автора) дает ему основание прямо и недвусмысленно заявить, что социальная природа языка обнаруживается не только во внешних условиях его бытования, но и в самой его природе, он формулирует эту мысль очень и очень тактично и осторожно, не заостряя принципиальной методологической стороны вопроса. По-видимому, даже наиболее принципиальные советские языковеды, даже те из нас, кто принимает самое активное участие в разоблачении идеализма в языкознании, в идеологической борьбе на стороне марксизма-ленинизма, все еще не могут вполне освободиться от отроческой боязни «общих мест» и «повторения пройденного».

Советское языкознание нуждается в работах, обеспечивающих точное научное знание, надежность которого определяется методологией марксистской диалектики. Подмена его перечислением «точек зрения» и «пониманий», обнаруживаемых в произведениях «некоторых ученых», бессмысленна еще и потому, что их выбор слишком часто носит субъективный характер, ограничивается научным кругозором данного автора (к тому же не слишком озабоченного борьбой идей и мировоззрений). Особенно опасным при этом является система разнообразных «прикрытий» — бесстрастная историография, «чистая и объективная» информация реферативного журнала и т. п.¹³

Возвращаясь к рассматриваемой энциклопедии, следует пожелать, чтобы при повторном издании она подверглась более тщательному и принципиальному редактированию и более решительному устранению тех непоследовательностей, которые не могут не портить в целом очень ясной и полной картины. К счастью, в абсолютном большинстве случаев они легко устранимы, так как относятся к периферийным аспектам работы и, как правило, не затрагивают ее существа.

¹³ «Наука движется вперед, используя уже накопленный „мыслительный материал“ (Энгельс), тщательно исследуя его возможности и взвешенно оценивая необходимость его перестройки в свете новых фактов. Такие перестройки неизбежны, они жизненно необходимы, но во всех случаях наука развивается, используя этот материал не как совокупность мертвых схем, но именно как мыслительный материал, как руководство к действию. Всяческая расплывчатость, неопределенность, уклончивость в принципиальных вопросах нашего мировоззрения и методологии, шаткость позиций — выражение не только отступления от принципа партийности в философии, но и творческого бессилия» («О состоянии и направлениях философских исследований», ВФ, 1979, 12, стр. 17).

МОСКАЛЬСКАЯ О. И.

СЕМАНТИКА ТЕКСТА

Синтаксическая семантика (область теоретического синтаксиса, изучающая содержательную сторону единиц синтаксического уровня), достигшая значительных успехов в исследовании смысловой структуры предложения, делает лишь первые шаги в исследовании более емких синтаксических структур — сверхфразового единства и текста.

На пути семантического анализа текста стоят значительные трудности, связанные как со сложностью объекта исследования, так и с нерешенностью многих вопросов теории текста. Прежде всего подлежит решению сам вопрос о правомерности применения методов синтаксической семантики к тексту и об их месте среди других методов содержательного анализа текста. Синтаксическая семантика призвана исследовать синтаксические языковые единицы. Является ли текст синтаксической единицей? Является ли он языковой единицей? Теория текста не дает на эти вопросы четкого и однозначного ответа. Уже с первых шагов развития лингвистики текста возникла двойственность в понимании объекта исследования и его сущности, не преодоленная до настоящего времени. С одной стороны, в работах А. И. Белича, Н. С. Поспелова, К. Бооста¹ уже в конце 40-х гг. четко выделилось синтаксическое направление в изучении единиц сверхфразового уровня. Было выдвинуто понятие сверхфразового единства, или сложного синтаксического целого, как особой синтаксической единицы, представляющей собой группу предложений, которые выражают «отдельное авторское высказывание, непосредственно адресованное слушателю или читателю»² и имеют «замкнутую синтаксическую структуру»³. С этим понятием в те же годы сосуществует понятие дискурса как целого высказывания любой протяженности, от высказываний, состоящих из одного слова, до десятичного труда, от монолога до дискуссии на Юнион Сквейр⁴.

¹ А. И. Б е л и ч, К вопросу о распределении грамматического материала по главным грамматическим дисциплинам, «Вестник МГУ», 7, 1947; Н. С. П о с п е л о в, Проблема сложного синтаксического целого в современном русском языке, «Уч. зап. [МГУ]», 137. Труды Кафедры русск. языка, 2, М., 1948; е г о ж е, Сложное синтаксическое целое и основные особенности его структуры, «Докл. и сообщ. [Ин-та русского языка АН СССР]», 2, М., 1948; К. В о о s t, Der deutsche Satz. Die Satzverflechtung, «Deutschunterricht», Hf. 3, 1949.

² Н. С. П о с п е л о в, Проблема сложного синтаксического целого..., стр. 41.

³ Н. С. П о с п е л о в, Сложное синтаксическое целое..., стр. 53. Ср. также у Бооста: «Нити, протянутые от одного предложения к другому, столь многочисленны, образуют такую плотную сетку, что можно говорить о переплетенности, о сплетении предложений в единую сетку, так что каждое отдельное предложение как бы неразрывно связано с остальными» (К. В о о s t, указ. соч., стр. 9). Указываются основные средства взаимной связи между предложениями: лексические повторы, местоимения, контекстуально обусловленные эллипсы, употребление глагольных времен, парные союзы, в языках, имеющих [артикли], также употребление артикли.

⁴ Z. S. H a g g i s, Discourse analysis, «Language», 28, 1, 1952; е г о ж е, Discourse analysis: A sample text, «Language», 28, 4, 1952; см. также: Z. S. H a g g i s, Discourse analysis, «Papers on formal linguistics», 2, The Hague, 1963. В этих работах З. Харрис предлагает методику дистрибутивного анализа связного текста и дает образцы такого анализа.

Понимаемый таким образом дискурс, конечно, не может считаться единицей синтаксического уровня. Однако изучение дискурса не идет в эти годы дальше традиционного для классического структурализма обращения к тексту с целью его сегментации и сведения полученных сегментов в определенные классы. Текст как целое речевое произведение определенного жанра или функционального стиля, т. е. целый текст в его социально-речевом, художественном, функциональном аспекте становится одним из главных объектов лингвистики текста лишь в 60-е и 70-е гг. С этого времени развивается второй, функционально-прагматический подход к тексту, связанный с возрастающим интересом к проблемам функциональной лингвистики, семантики, теории речевой деятельности (психолингвистики), к социолингвистике, функциональной стилистике, прагматической лингвистике и к тому значению, которое они могут иметь для общественной практики. Текст — целое речевое произведение — рассматривается прежде всего как явление социально-речевое. Это — высшая коммуникативная единица, обслуживающая самые различные сферы жизни общества, единица совершенно иного порядка, чем сверхфразовое единство. Таким образом, в рамках лингвистики текста складывается два объекта исследования — сверхфразовое единство и целое речевое произведение, очень часто не дифференцированно именуемые «текст» и не разграничиваемые четко авторами статей и монографий по лингвистике текста. Это проявляется, в частности, в том, что основные характеристики, даваемые в лингвистической литературе тексту, приложимы частично к сверхфразовому единству, т. е. «микротексту», частично к целому речевому произведению, т. е. «макротексту». Высказывания типа: «мы говорим обычно не отдельными словами, а предложениями и текстами»⁵, «если мы говорим, то говорим только текстами»⁶, «основной единицей, когда мы пользуемся языком, является не слово или предложение, а текст»⁷ могут быть в равной степени отнесены к сверхфразовому единству и к целому речевому произведению — «макротексту». В равной мере приложимо как к тексту в широком смысле слова — целому речевому произведению, так и к «микротексту» — сверхфразовому единству, положение о знаковом характере текста⁸. Однако только для сверхфразового единства — единицы синтаксического уровня — важными характеристиками являются признаки моделируемости на эмическом уровне (и, следовательно, возможность отнесения к системе языка)⁹, положение о непрерывности тема-рематического развертывания текста¹⁰, а также предложение П. Гартмана: «Первенствующим языковым знаком является текст». И далее: «Лингвистическая концепция языкового знака должна исходить из его подлинно исконной формы, в которой существуют языковые знаки: они существуют как тексты, т. е. конечные, упорядоченные множества организованных в тексте частных знаков различного рода и значения» (P. Hartmann, *указ. соч.*, стр. 213 и 220).

⁵ H. Weirich, *Linguistik der Lüge*, Heidelberg, 1966, стр. 15.

⁶ P. Hartmann, *Zum Begriff des sprachlichen Zeichens*, «Zeitschr. für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», Hf. 3—4, 1968.

⁷ M. A. K. Halliday, *Language structure and language function*, в кн.: «New horizons in linguistics», ed. by J. Lyons, Harmondsworth, 1970, стр. 160.

⁸ Ср. высказывание П. Гартмана: «Первенствующим языковым знаком является текст». И далее: «Лингвистическая концепция языкового знака должна исходить из его подлинно исконной формы, в которой существуют языковые знаки: они существуют как тексты, т. е. конечные, упорядоченные множества организованных в тексте частных знаков различного рода и значения» (P. Hartmann, *указ. соч.*, стр. 213 и 220).

⁹ W. Dressler, *Einführung in die Textlinguistik*, Tübingen, 1972, стр. 12: «По отношению к текстам также следует различать между единицей системы языка (текстема, потенциальный текст, эмический текст) и актуальным, конкретно произносимым текстом (этическим текстом)».

¹⁰ F. Daneš, *Zur linguistischen Analyse der Textstruktur*, «Folia linguistica», 1970, 4; его же. *Functional sentence perspective and the organization of the text*, «Papers on functional sentence perspective», Prague, 1974.

¹¹ R. Harweg, *Pronomina und Textkonstitution*, München, 1968, стр. 148.

и наиболее независимой единицей языка является не предложение, а текст. Отсюда возникает необходимость заниматься синтаксисом текста, т. е. синтаксисом единиц сверхфразового уровня»¹².

Объектом синтаксической семантики, естественно, следует считать не текст в любом понимании этого слова, а выделяемую на этом уровне синтаксическую единицу — сверхфразовое единство. Возможен также семантико-синтаксический анализ цепочки сверхфразовых единств, связанных определенными смысловыми отношениями, образующей либо целый текст малой формы, либо главу или раздел главы в письменном тексте большого объема.

Необходимо также определить место синтаксической семантики в ряду лингвистических и нелингвистических дисциплин, занимающихся содержательным анализом текста. При этом следует, прежде всего учитывать, что синтаксическая семантика не изучает конкретное смысловое содержание текста. По отношению к целому тексту — литературному произведению — эту задачу выполняет прежде всего литературоведение, а содержание научного текста, юридического документа, публицистического текста учебного текста и т. д. входит в компетенцию соответствующих наук и оценивается ими с точки зрения соответствия законам данной науки, полноты, логичности построения и т. д. С лингвистической точки зрения содержательным анализом текста занимаются, кроме синтаксической семантики, стилистика текста и прикладная лингвистика. Соответственно этому в рамках лингвистики целесообразно различать интерпретацию текста, сущность которой заключается в анализе конкретного содержания текста и соотношения его с системой выразительных средств языка¹³, контент-анализ — прикладную область, тесно связанную с информатикой и автоматизацией реферирования¹⁴, и семантико-синтаксический анализ. Задачи и методы последнего совершенно иные, чем задачи и методы интерпретации текста и контент-анализа. Абстрагируясь от конкретного содержания текста, синтаксическая семантика исследует смысловую структуру текста как способ нашего представления действительности.

В основе распространения предмета синтаксической семантики с предложения на сверхфразовое единство лежит та же идея, которая заставила лингвистов раздвинуть рамки синтаксиса и признать высшей его единицей не предложение, а текст, а именно идея, что высказывание, выражающее законченную мысль, представляет собою обычно не предложение, а сложное синтаксическое целое — сверхфразовое единство, или «микротекст». Естественным развитием данной идеи явилось положение, что не только в основе предложения, но и в основе такого сложного синтаксического целого лежит определенная логическая форма мысли. Так, Г. Я. Солганик пишет: «В практике мышления суждение выступает обычно в совокупности с другими тесно связанными с ним суждениями и выражает совместно с ними развитие мысли, которая одним суждением обычно не исчерпывается»¹⁵. И далее делается вывод: «Следовательно, должна существовать и логическая форма, соответствующая более полному по сравнению с суж-

¹² W. Dressler, Modelle und Methoden der Textsyntax, «Folia Linguistica», 1970, 4, стр. 64.

¹³ Ср., например: U. Oomen, Linguistische Grundlagen poetischer Texte, Tübingen, 1973; E. Riesel, Theorie und Praxis der linguistischen Textinterpretation, Moskau, 1974; H. Platt, Textwissenschaft und Textanalyse, «Semantik, Linguistik, Rhetorik», Heidelberg, 1975.

¹⁴ Ср.: E. Agricola, Vom Text zum Thema. Probleme der Textgrammatik, «Studia grammatica», XI, Berlin, 1976; ср. также: И. П. Семенов, Структура связанного текста и автоматизация реферирования, М., 1969.

¹⁵ Г. Я. Солганик, Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое целое), М., 1973, стр. 26.

дением развитию мысли, каждая из которых и выражается в группах тесно связанных между собой суждений — логических единствах»¹⁶. Аналогичные соображения высказывает Л. П. Добраев: «Если предложение, являющееся частью некоторого текста (понимаемого как совокупность предложений), выражает суждение, то не является ли и весь текст выражением некоторого — пусть и более сложного, своеобразного суждения?»¹⁷. Для обозначения такого суждения Л. П. Добраев пользуется термином «текстовое суждение»¹⁸. Противопоставляя предложение и сложное синтаксическое целое по сложности мыслительного содержания, многие авторы соотносят простое предложение с простым суждением, а сложное предложение и сложное синтаксическое целое со сложным высказыванием, принимая за основу семантического анализа сложных синтаксических целых исчисление высказываний. Ср. у Лонгакра: «В отличие от элементарных предложений (clause), сложное синтаксическое целое (sentence) предполагает сочетание предикаций в более емкую единицу, подобно исчислению высказываний формальной логики, но требует более богатого аппарата»¹⁹. Со сложным высказыванием соотносит сложное синтаксическое целое — текст также ван Дейк²⁰. Таким образом, одним из источников семантического анализа текста с позиций синтаксической семантики следует считать исчисление высказываний, в опоре на которое может вскрываться реляционная структура текста, т. е. система смысловых отношений между его составляющими — элементарными пропозициями.

Вторым важным источником для раскрытия смысловой структуры текста служит теория коммуникации. Необходимость привлечения теории коммуникации к решению проблем синтаксической семантики на уровне текста естественно вытекает из единства экспрессивной и коммуникативной функций языка, из того факта, что в основе каждого текста лежит не только сложное суждение о действительности, но и определенная коммуникативная задача или коммуникативная интенция²¹. Эта интенция формируется характером той деятельности, частью которой является речемыслительный акт, т. е. ситуацией коммуникации и теми задачами, которые ставит перед собой в соответствии с этой ситуацией говорящий.

Вопрос о типах коммуникативной целеустановки текста еще не исследован в аспекте синтаксической семантики. К нему обращались до создания теории текста и представители других лингвистических дисциплин, подходя к его решению со своими задачами и своими мерками. Такими дисциплинами являются стилистика, различающая по способу изображения действительности и художественного воздействия на читателя различные композиционно-речевые формы или функционально-смысловые типы речи²²,

¹⁶ Там же, стр. 40.

¹⁷ Л. П. Д о б р а е в, Логико-психологический анализ текста, Саратов, 1969, стр. 6.

¹⁸ Там же, стр. 14.

¹⁹ R. E. L o n g a c k e, Sentence structure as a statement calculus, «Languages», 46, 4, 1970, стр. 783. В терминологии автора противопоставляются элементарные предложения (clause), понимаемые как элементарные субъектно-предикатные структуры, и сложное синтаксическое целое (sentence) как сочетание элементарных субъектно-предикатных структур.

²⁰ T. A. v a n D i j k, Some aspects of text grammars, The Hague, 1972.

²¹ Ср.: «Rede-Gespräch-Diskussion», hrsg. von W. S c h m i d t, E. S t o c k, Leipzig, 1977; W. S c h m i d t et al., Sprache—Bildung und Erziehung, Leipzig, 1977; «Sprachliche Kommunikation und Gesellschaft», hrsg. von W. Hartung, Berlin, 1974.

²² В. В. В и н о г р а д о в, О языке художественной литературы, М., 1959; е г о же, Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика, М., 1963; W. K a u s e r, Das sprachliche Kunstwerk, Bern, 1954; G. M ö l l e r, Sehen, denken, reden, schreiben. Arbeit am sprachlichen Ausdruck, Berlin, 1962; E. R i e s e l, Theorie und Praxis der linguistischen Textinterpretation, M., 1974; W. F l e i s c h e r, G. M i c h e l, Stilistik der deutschen Gegenwartssprache, Leipzig, 1975; М. П. Б р а н д е с, Стилистический

современная теория коммуникации, прагматика и лингводидактика, весьма интенсивно разрабатывающие вопросы коммуникативной стратегии высказывания и способы речевой коммуникации, а также теории речевого акта, заинтересованная в первую очередь в исследовании и классификации иллокутивных и перлокутивных актов, т. е. речевого поведения говорящего и вербальных и невербальных действий, являющихся реакцией на него.

Названные лингвистические дисциплины не могут, однако, предложить единой классификации коммуникативных интенций и реализующих их речевых форм и тем более такой классификации, которая в непереработанном виде могла бы быть положена в основу анализа текста с позиций синтаксической семантики. Так, стилистика текста, естественно, уделяет основное внимание речевым формам, связанным с художественной прозой, выделяя как основные композиционно-речевые формы сообщение, описание и рассуждение или же повествование, описание и рассуждение. За рамками рассмотрения остаются формы непосредственного межличностного общения в форме устной речи, а также такие виды текста, как побуждение и вопрос, имеющие в своей основе особые коммуникативные установки. Современная коммуникативно ориентированная лингводидактика учитывает большее количество видов и форм речевого общения, но также ограничивается сферой публичной речи, не затрагивая область разговорной речи. В соответствии со своими задачами она различает прежде всего две цели коммуникативной интенции: 1) информировать партнера по акту коммуникации и 2) активизировать его, т. е. вызвать ответную реакцию, детализируя затем различные коммуникативные способы реализации этих коммуникативных интенций²³. Классификацию текстов по типу коммуникации, характеру иллокутивного или перлокутивного акта пытаются дать также семиотика, текстология, теория речевого акта. Правда, ни одна из этих классификаций не может пока претендовать на последовательность и полноту. Так, классификации Ч. Морриса, Дж. Петефи и Х. Ризера, относящиеся преимущественно к области семиотики, ориентированы по-прежнему лишь на письменные виды текста²⁴. Классификации, связанные с теорией речевого акта, детализируют, напротив, в первую очередь виды речевых актов, относящихся к области живого межличностного общения. Так, среди пяти типов иллокутивных актов, выделяемых Дж. Сирлем²⁵, рядом с репрезентативами, т. е. сообщениями о положении

анализа, М., 1971; О. А. Нечаева, Функционально-смысловые типы речи (описание, повествование, рассуждение). АДД, М., 1975.

²³ Ср. классификацию В. Шмидта и Э. Штока, выделяющих в рамках этих двух коммуникативных интенций следующие коммуникативные способы: 1) сообщать — констатировать — утверждать; 2) передавать — описывать — рассказывать — оценивать — изображать — реферировать; 3) объяснять — сравнивать — резюмировать — обобщать — делать выводы; 4) обосновывать — доказывать — опровергать — разоблачать; 5) комментировать — аргументировать; 6) побуждать — просить — призывать — апеллировать — требовать — инструктировать — приказывать (сб. «Rede-Gespräch-Diskussion», стр. 41). Четыре функциональных типа коммуникации без расчленения их на виды речи выдвигает коллектив авторов под руководством В. Хартунга: 1) управление совместной деятельностью в процессе труда, 2) познавательно-коммуникативная деятельность, 3) установление межличностных контактов, 4) самовыражение («Sprachliche Kommunikation und Gesellschaft»).

²⁴ Ch. Morris, Signs, language and behavior, в его кн.: «Writings on the general theory of signs», The Hague — Paris, 1971; J. S. Petőfi, H. Rieser, Some arguments against counterrevolution (on M. Dascal's and A. Margalit's «A new revolution in linguistics?» «Text-grammars» vs. «sentence-grammars»), «Linguistics», 188, 1977.

²⁵ J. R. Searle, A classification of illocutionary acts, «Language in society», 1976, 5, 1. Ср. также классификацию видов речи у Лонгакра (R. E. Longacre, Classification of discourse genre, XII. Internationaler Linguisten-Kongress. Kurzfassungen, Wien, 1977).

дел, и директивами, побуждающими адресата речи к действию (эти два типа иллокутивных актов покрывают большую часть массива текстов, классифицируемых стилистикой, теорией коммуникации, лингводидактикой), стоят такие более специальные виды иллокутивных актов, связанные с прямым межличностным общением, как комиссивы (призывание на себя говорящим обязательства совершить некий поступок), экспрессивы, передающие чувства говорящего, вызванные неким событием (например, извинения, поздравления, соболезнования), а также декларации, соответствующие перформативам Дж. Остина²⁶.

Решение вопроса о правомерности включения речевых форм, коммуникативных способов или типов речи в семантико-синтаксическую репрезентацию текста зависит, однако, не столько от степени разработанности данной проблемы с точки зрения полноты описания и надежности классификации речевых форм (типов речи) или коммуникативных способов, сколько от понимания сущности последних. Трактовка их колеблется в очень широком диапазоне от традиционного понимания речевых форм нормативной стилистикой и риторикой как дидактических структурных образцов школьного обихода до рассмотрения их в гносеологическом плане как логических форм, в которых осуществляется процесс мышления. Эта последняя точка зрения представлена в настоящее время достаточно широко. Ср. у М. П. Брандес: «По своей природе речевые формы являются двусторонними образованиями: это речевые формы мышления, т. е., с одной стороны, это формы, в которых осуществляется процесс мышления, с другой — это формы речи, т. е. формы коммуникации. Будучи логическими формами, они сообщают мыслям определенный порядок и движение, определенный объективный порядок, которым люди владеют интуитивно. Они являются наиболее общими формами, отражающими структуру процесса мышления, типы и способы связи элементов мысли между собой и мыслей друг с другом»²⁷. Существенное дополнение вносят в данное понимание речевых форм М. Пфютце и Д. Блей, распространяя понятие речевых форм на все виды речевой деятельности; авторы характеризуют речевые формы — сообщение, описание, рассказ, динамическое описание, рассуждение как «основные речемыслительные формы (geistig-sprachliche Grundformen) и основные способы общественной коммуникации, применяемые как художественной литературой, особенно прозой, так и в различных сферах практической и научной деятельности»²⁸. Речевые формы или способы (Darstellungsverfahren) Э. Виттмерс определяет как «основные типы восприятия действительности (способы мышления) и представления действительности (способы текстообразования)»²⁹. «Самостоятельными формами мышления» считает их также О. А. Нечаева³⁰. Такое более широкое понимание речевых форм (способов) или типов речи, приравнивающее их к коммуникативным способам и видам речевых актов, функционирующим вне сферы художественной литературы, представляется очень существенным, так как ре-

²⁶ J. L. Austin, *How to do things with words*, Oxford, 1962.

²⁷ М. П. Брандес, указ. соч., стр. 98.

²⁸ M. Pfütz e, D. B l e i, *Texttyp als Kommunikationstyp*, «Studia grammatica», XVIII, Berlin, 1977, стр. 191.

²⁹ E. W i t t m e r s, *Zu einigen Aspekten der Textkomposition*, «Studia grammatica», XVIII, Berlin, 1977, стр. 228.

³⁰ О. А. Нечаева, указ. соч., стр. 13. Автор пишет: «Человеку свойственно в процессе мышления фиксировать объективно существующие связи между явлениями действительности и передавать их на сверхфразовом уровне в форме особых функционально-смысловых типов речи. Этими типами речи являются описание, повествование и рассуждение».

Связь между языком и мышлением на уровне функционально-смысловых типов речи, т. е. на сверхфразовом уровне, осуществляется особенно полно и действенно» (стр. 3).

шение вопроса о гносеологической природе речевых форм (типов речи) коммуникативных способов применительно к художественному тексту связано с дополнительными трудностями. Рассматривать логико-семантическую и коммуникативную структуры художественного текста как отражение формы движения мысли автора можно лишь весьма условно, с большой степенью упрощения и огрубления художественного процесса. В литературном произведении все формы отражения действительности пропущены через художественный замысел автора, подчинены сознательному выбору способа представления действительности как средства воздействия писателя на читателя. Художественный текст — очень сложное соединение представления о действительности и сознательного выбора средств художественного воздействия автора произведения на читателя. Нужно думать, однако, что и применительно к научной, публицистической, обиходно-разговорной речи упоминавшиеся выше виды речи или коммуникативные способы, определяющие характер и форму речевого акта, не отражают непосредственно и однозначно первоначальный, наиболее глубинный уровень речемыслительного акта. Их более правомерно относить к одному из промежуточных уровней (или нескольким промежуточным уровням) текстообразующей переработки во внутренней речи полученной нашим мозгом информации о действительности и довольствоваться их перечнем лишь как первым приближением к репрезентации лежащего в их основе речемыслительного акта. Несомненно, однако, что речевые формы задаются внутренней программой высказывания и отражают ситуативно и деятельностно обусловленные способы нашего представления о действительности и сложившиеся стереотипы межличностных отношений в процессе коммуникации и, тем самым, относятся к уровню семантики. Рассмотрим тексты:

(1) Качество телевизионного приема определяется не только величиной полезного сигнала телецентра, но и наличием внешних помех, проникающих через приемную антенну вместе с телевизионным сигналом и проявляющихся на экране телевизора в виде сетки, перемещающихся темных и светлых полос, ряби и т. д.

Для уменьшения воздействия помех следует применять наружную антенну.

При выявлении специалистом наличия тех или иных помех следует обращаться в телевизионные ателье, расположенные во всех районах города.

(2) Макс Борн родился 11 декабря 1882 г. в г. Бреславле (Братислава) в семье профессора анатомии. После нескольких семестров в университетах Бреславля, Гейдельберга и Юриха он завершил свое специальное образование в Геттингене, где он защитил в 1907 г. диссертацию в области теории эластичности. По предложению Планка он был приглашен в 1914 г. в Берлин на должность профессора теоретической физики. Здесь началась его дружба с Эйнштейном.

После недолгого пребывания во Франкфурте-на-Майне (с 1919 г. по 1921 г.) Борн переехал в Геттинген. Здесь вместе с Джеймсом Франком он стал во главе школы теоретической физики атомного ядра, вскоре завоевавшей мировую известность и притягивавшей к себе физиков того времени как магнит.

(3) «Рут, — сказал он, — я бы хотел, чтобы сейчас разверзлось небо, и появился самолет, и мы улетели бы на остров с пальмами и кораллами, где никто не знает, что такое паспорт и вид на жительство» (Э. М. Ремарк, Возлюбил ближнего своего, Перев. с нем., Кишинев, 1979, стр. 170).

Текст (1) представляет собой комбинацию двух коммуникативных способов (в терминах Шмидта и Штока) — объяснения и инструктирования; последнее является доминантой. Текст (2) — повествование. Текст (3) — экспрессив (в терминологии Дж. Сирля), выражающий способом «от противного»³¹ отрицательные эмоции героя романа по поводу условий его жизни в эмиграции.

³¹ Это позволяет рассматривать текст как косвенный речевой акт. О косвенных речевых актах ср.: J. R. Searle, *Indirect speech acts*, «Syntax and semantics», ed. by F. Cole, J. L. Morgan, 3 — «Speech acts», New York, 1975; J. M. Sadoock, *Towards*

Возвращаясь к проблемам реляционной структуры текста, следует сказать, что вопрос о логических связях и смысловых отношениях между предложениями для грамматики не нов. Наиболее подробно он разрабатывался в связи с изучением сложного предложения и нашел выражение в традиционной для грамматики и давно вошедшей в школьную грамматику классификации союзов и союзных слов, в значительной мере опирающейся на выделяемые логикой основные виды отношений в сложном высказывании, под которые подводятся те более дробные и конкретные значения, которые заключены в лексических значениях союзов.

Главные задачи, возникающие при использовании накопленного грамматикой опыта для исследования реляционной структуры текста, заключаются не только в преодолении эмпиризма и непоследовательности сложившихся классификаций, но прежде всего в принципиальном решении вопроса: может ли анализ логико-смысловых отношений между составляющими сложного предложения служить эталоном для соответствующего анализа микротекста, а также в совершенствовании традиционного анализа типов союзной связи с позиций синтаксической семантики.

Правомерность распространения типов реляционных отношений, характеризующих сложное предложение, на микротекст предопределяется фактом изоморфизма этих отношений в сложносочиненном и сложноподчиненном предложениях, а также в микротексте, с достаточной очевидностью подтверждаемого многочисленными известными в лингвистической литературе перифразами. Ср., например, перифрастические отношения между цепочкой предложений, образующих текст, и сложным предложением у Ф. Данеша³²:

(1) (i) Wöhler erwärmte Amoniumzyanid. (ii) Er stellte fest, daß es dadurch in Harnstoff verwandelt wird. (iii) Dieser Stoff war bisher nur als Produkt von lebendigen Organismen bekannt.

(2) Als Wöhler Amoniumzyanid erwärmte, stellte er fest, daß es dadurch in Harnstoff, bisher nur als Produkt von lebendigen Organismen bekannt, verwandelt wurde.

Естественно, что изоморфизм реляционных отношений не снимает целого комплекса стилистических и функционально-коммуникативных факторов, предопределяющих в каждом случае выбор говорящим той или иной синтаксической структуры — цепочки простых предложений, сочинения, подчинения, сочетания простых и сложных предложений, союзной или бессоюзной связи. Не снимаются также различия в потенциальном пределе емкости сложного предложения и микротекста. Следовательно, речь не идет о свободной взаимозаменяемости этих структур. Именно с такими оговорками, указывая на различия в интонационном оформлении, инвентаре союзов и союзных слов, на различия в емкости сложного предложения и микротекста, ван Дейк пишет: «Эти аргументы не должны заслонять того важного факта, что, несмотря на внешние различия между сложными предложениями и цепочками предложений, имеется много черт сходства. Одна из главных задач адекватной грамматики текста заключается именно

a linguistic theory of speech acts, New York, 1974; D. Metzling, Verfahren zur Produktion-Integration indirekter Sprechakte, «Sprechen-Handeln-Interaktion», hrsg. von R. Meyer-Hermann, Tübingen, 1978; R. Meyer-Hermann, Direkter und indirekter Sprechakt, «Deutsche Sprache», 1976, Hf. 1; D. Wunderlich, Studien zur Sprechakttheorie, Frankfurt am Main, 1976.

³² F. Daněš, Zur semantischen und thematischen Struktur des Kommunikats, «Studia grammatica», XI, Berlin, 1976, стр. 30. Ср. также перифразу у Л. М. Лосевой, предпринятую ею для эксплицирования причинно-разъяснительной связи в микротексте: (1) Зимой очень скучно. Разъезд маленький. Кругом лес. Заметет зимой, завалит снегом — и высунуться некуда; (2) Зимой очень скучно, так как разъезд маленький, кругом лес, заметет зимой, завалит снегом — и высунуться некуда (Л. М. Лосева, Структурно-семантическая организация целых текстов, Одесса, 1973, стр. 137).

в том, чтобы показать, что за различными поверхностными структурами могут скрываться синонимичные глубинные структуры³³. Грамматика текста довольно широко пользуется преобразованиями: сложное предложение → микротекст и микротекст → сложное предложение.

Семантико-синтаксический анализ реляционной структуры текста имеет своей целью раскрытие глубинной логико-смысловой системы отношений между элементарными пропозициями в тексте. Поэтому и здесь, как и при анализе смысловой структуры предложения, необходимо исходить прежде всего из того факта, что между структурой и семантикой сложного синтаксического целого нет одно-однозначного соответствия, как нет его между структурой и семантикой предложения³⁴.

Об отсутствии прямого соответствия между структурой и семантикой сложного синтаксического целого и о необходимости постоянного разграничения структурной и семантической организации последнего при семантическом анализе говорят ряд факторов. Одним из них является контекстно обусловленная многозначность союзов естественного языка, т. е. зависимость значения многозначного союза от лексического значения предложений-конъюнктов³⁵, резко отличающая их от однозначных логических союзов и порождающая синонимию и омонимию союзов. Ср. различные значения союза *и* в предложениях: *Стада шли на пастбища и их колокольчики звенели* — соединительное перечисление; *Снежинки падали все обильнее и вся земля была уже белой* — причинно-следственная связь; *Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты* — условная связь.

Другим существенным для адекватного семантического анализа моментом является то, что смысловые отношения между составляющими сложного высказывания могут присутствовать в тексте имплицитно, оставаясь формально не выраженными. Ср.: *Он должен быть дома, так как в окне есть свет* — *Он должен быть дома. В окне есть свет*; *Снежинки падали все обильнее, так что вся земля была уже белой* — *Снежинки падали все обильнее. Вся земля была уже белой*. Естественно, что семантический анализ должен в равной мере учитывать как эксплицитные, так и имплицитные смысловые связи между составляющими сложного высказывания.

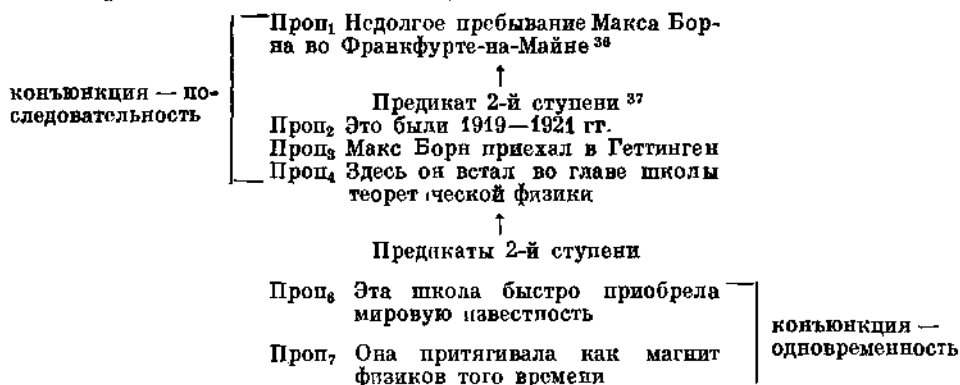
Важной особенностью союзов естественного языка по сравнению с логическими союзами, также затрудняющей семантический анализ реляционных отношений между составляющими сложного высказывания, является совмещение в союзах естественного языка общего значения, присущего логическому союзу, с целым рядом более конкретных значений, уточняющих в разнообразных направлениях это общее отношение. Семантический анализ должен учитывать это взаимодействие общего и конкретного в значении союза при определении реляционной структуры сложного высказывания и определять реальный удельный вес общего реляционного значения и конкретного сознания в конфигурации смысловой связи между его составляющими. Примером могут служить предложения, соединяемые различными темпоральными союзами. В логическом плане темпоральная связь не представляет собой особого вида отношения, а является компонентом отношения конъюнкции, т. е. соединительного перечисления. События, соединяемые перечислением в сложном высказывании, всегда тем или иным образом объединены во времени, происходят одновременно или в хронологической последовательности; тем самым темпоральное отношение всегда имплицитно присутствует в соединительном перечисле-

³³ Т. А. ван Дijk, указ. соч., стр. 14.

³⁴ Ср.: О. И. Москальская, Проблемы семантического моделирования в синтаксисе, ВЯ, 1973, 6.

³⁵ Ср.: В. А. Белашапкина, Современный русский язык. Синтаксис, М., 1977.

нии. Имплицитно присутствует темпоральное отношение и в составе причинно-следственной связи, а также других видов связи, объединяемых логическим отношением импликации. При семантической репрезентации сложного высказывания отношение между его составляющими может быть представлено следующим образом: конъюнкция — одновременность; причинно-следственная связь — одновременность или причинно-следственная связь — предшествование. Однако можно с полным основанием ограничиться и пометами: конъюнкция, причинно-следственная связь, подразумевая, что темпоральная связь событий обязательно интегрирована в главное отношение. Удельный вес темпорального отношения в смысловой структуре сложного синтаксического целого может настолько увеличиваться, что указание на временную связь не только станет обязательным, но и переместится из знаменателя в числитель, так что комплексное значение, записанное выше как конъюнкция — одновременность, превратится в значение: одновременность — конъюнкция (ср.: *Он решил посвятить себя изучению медицины, еще когда учился в школе*). В то же время наличие темпорального союза далеко не всегда означает, что темпоральное отношение выдвигается на первый план и должно быть отмечено при семантическом анализе сложного высказывания. Ср.: *Когда певец умолк, зал разразился аплодисментами*. Денотативное значение предложений-конъюнктов не оставляет сомнения в характере временной последовательности событий, главным остается их перечисление. Темпоральный же союз служит в первую очередь целям оптимальной аранжировки предложений при включении их в текст. Представим схему реляционных отношений в приведенном выше тексте (2):



Анализ реляционной структуры текста нуждается в дальнейшей разработке в указанных выше направлениях. Чрезвычайно важно более точно и последовательно соотнести союзы естественного языка и систему логических союзов. Особенно важны учет синонимии и омонимии союзов естественного языка, а также учет возможности контаминации реляционных значений при соединении пропозиций в тексте и выявление имплицитных связей в тексте. Единая система логико-смысловых отношений между пропозициями в тексте должна выводиться на основе признация изоморфизма этих отношений в текстах с различной поверхностной структурой.

Значительную трудность представляет вопрос о степени необходимой детализации семантического анализа текста. Семантическая репрезента-

³⁶ Для упрощения записи свернутые пропозиции не преобразуются в субъектно-предикатные структуры.

³⁷ Об использовании в семантико-синтаксическом анализе логического понятия предикатов 2-й ступени см.: О. И. Москальская, Вопросы синтаксической семантики, ВЯ, 1977, 2.

ция последнего, естественно, не исчерпывается выявлением реляционной структуры текста и лежащего в его основе коммуникативного способа (речевой формы). Полная семантическая репрезентация текста предполагает выявление семантической структуры каждого предложения, являющегося частью текста, и представление ее в соответствующей записи. Если семантический анализ связан с автоматической обработкой текста, то возникает и потребность в формализованном представлении его конкретного лексического состава. В результате этого текст размером в 15—20 коротких предложений расписывается на многих страницах, с применением сложной символики³⁸. Нужно иметь, однако, в виду, что данная методика семантической репрезентации предложений — составляющих текста относится по существу к семантическому анализу уровня предложения, в то время как анализ реляционной структуры текста и коммуникативного способа, лежащего в его основе, является семантико-синтаксическим анализом, относящимся именно к уровню текста. Поэтому, если речь идет не о тех или иных прикладных целях, в частности и в особенности не о создании алгоритма машинного перевода, а о филологическом исследовании текста, т. е. о грамматическом, лингво-стилистическом и функционально-стилистическом исследовании текста, а также об изучении текста под углом зрения теории коммуникации и прагмалингвистики, представляется целесообразным вовсе исключить при семантической репрезентации текста операции, связанные с формализацией лексикона, в области же семантико-синтаксического анализа разграничивать два уровня анализа — уровень семантико-синтаксического анализа предложения и уровень семантико-синтаксического анализа текста.

³⁸ Ср.: T. A. v a n D j i k, Text grammars and text logic, «Studies in text grammar», ed. by J. S. Petőfi and H. Rieser, Dordrecht, 1973 (см. анализ начальных предложений новеллы И. С. Чейза «No Orchids for Miss Blandish», стр. 66 и сл.); J. S. P e t ő f i, Transformationsgrammatiken und eine ko-textuelle Texttheorie. Grundfragen und Konzeptionen, Frankfurt-am-Main, 1971 (см. анализ начала новеллы Э. Кестнера «Das schweigsame Fräulein», стр. 233 и сл., а также анализ отрывка из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери); J. S. P e t ő f i, Vers une théorie partielle du texte, Hamburg, 1975.

КУЗНЕЦОВ П. И.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СТРОЙ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ ИЗНАЧАЛЬНО ИМЕННЫМ?

Положительный ответ на вопрос, вынесенный в заголовок нашей статьи, дадут если не все, то очень многие выдающиеся тюркологи прошлого и настоящего, и чтобы не перегружать изложение длинной цепью имен и цитат, приведем в данном случае лишь мнение А. М. Щербака, высказанное в работе, специально посвященной вопросу о происхождении глагола в тюркских языках¹. Отметив, что на протяжении нескольких десятилетий тюркологи неизменно подчеркивали господствующее положение имени и воспринимали как сам собой разумеющийся факт довольно позднее выделение глагола, А. М. Щербак ссылается далее на нашу статью, в которой ставится под сомнение именное происхождение тюркского глагола². «Попытки пересмотреть устоявшиеся и, на наш взгляд, хорошо аргументированные положения традиционной тюркологии, — пишет А. М. Щербак, — являются... следствием недоразумения»³. Это последнее он усматривает в том, что субстантивные имена действия и причастия нередко называют отглагольными именами⁴, хотя по существу эти имена образовались не от глагола, а как бы одновременно с ним, ибо то, что в описательных грамматиках носит название глагольных основ, по мнению А. М. Щербака, не всегда имело морфологический статут глагольности: первоначально это были недифференцированные глагольно-именные основы. Таким образом, «в тюркском праязыке почти любой первичный корень обозначал и предмет и действие-состояние, т. е. был синкретичным»⁵.

Вообще говоря, понятие глагольно-именного синкретизма может трактоваться двояко. Обычное понимание сводится к тому, что в древности человек не различал именных и глагольных основ, а родоначальник этого направления В. Вундт выдвинул в свое время известный тезис о большей древности имени в сравнении с глаголом⁶. Язык, в котором нет глаголов, должен занимать какое-то совершенно исключительное место в общем ряду языков. Между тем, по справедливому замечанию Г. Пауля, «совершенно неправильно было бы противопоставлять начальное состояние

¹ А. М. Щ е р б а к, К вопросу о происхождении глагола в тюркских языках, ВЯ, 1975, 5.

² П. И. К у з н е ц о в, Происхождение прошедшего времени на -ды и имен действия в тюркских языках, «Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика», М., 1960; статья эта, подготовленная в 1952 г., была опубликована не сразу, поэтому первое упоминание о «именном характере» турецкого спряжения содержится в позже написанной нами статье «К вопросу о перифрастических формах турецкого языка» («Кратк. сообщения Ин-та востоковедения», XVIII, М., 1956, стр. 32).

³ А. М. Щ е р б а к, указ. соч., стр. 22.

⁴ Такое употребление этого термина, конечно, неудачно. См. об этом: В. Г. Г у з е в, О развернутых членах предложения, вводимых глагольными именами, в современном турецком языке, «Советская тюркология», 1977, 5, стр. 38; см. также нашу статью «Происхождение прошедшего времени на -ды...», примеч. 59.

⁵ А. М. Щ е р б а к, указ. соч., стр. 22.

⁶ W. W u n d t, Völkerpsychologie..., 2 — Die Sprache, Leipzig, 1912, стр. 137 и сл.

языка его дальнейшему развитию... Между первыми зачатками языка и позднейшими эпохами существуют лишь различия в степени»⁷.

Прежде чем перейти к другой трактовке понятия глагольно-именного синкретизма, приведем еще одну выдержку из «Принципов истории языка». Указывая, что ребенок очень часто применяет слово «слишком широко» (например, с понятием «стул» он связывает также софу, с палкой — зонтик и т. п.), Г. Пауль говорит о том, что такое явление имеет место «тем чаще, чем менее значителен запас слов, которыми овладел ребенок»⁸. Не подлежит сомнению, что ребенок не отождествляет стул с софой или палку с зонтиком. Тем не менее, он тонко подмечает наличие какой-то общности между, казалось бы, совершенно различными предметами (так, софу и стул объединяет функциональное сходство, зонтик и палку — в чем-то сходная форма) и, не имея иных возможностей, называет два или более в какой-то мере сходных предмета одним известным ему именем.

Искривленную ветку дерева, змею и вообще все то, что имеет продолговато-искривленную форму, первобытный человек мог обозначать одним словом (которое впоследствии, в редуцированном виде, становится как бы показателем данного «класса» предметов). Видел ли первобытный человек разницу между веткой и змеей? Разумеется! Однако отсутствие готовых знаков вынуждало его давать максимум функциональной нагрузки каждому уже наличествовавшему в языке слову.

Аналогичным образом должен быть объяснен и синкретизм имени и глагола на начальных этапах развития языка. Имя и глагол действительно получали — во всяком случае могли получать — общее обозначение, из чего вовсе не следует, однако, будто совпадала также и понятийная сторона, т. е. действие мыслилось как субстанция. Иначе говоря, исходный синкретизм должен быть распространен только на формальный (знаковый), но отнюдь не на содержательный план языка. Так, очень правдоподобно, что понятия «нога» и «ходить» первоначально обозначались одной вокабулой⁹. Но отсюда еще очень далеко до вывода, будто и сознание не разграничивало предмет (ногу, которая могла, допустим, болеть, ныть) и действие («ступай!»).

Сразу же должна быть также отброшена попытка видеть в первобытном глаголе единицу глагольно-именного содержания. (Мы уже не говорим о глагольно-именной структуре, поскольку морфология — продукт позднейшего развития языка.) Исходной синтаксической позицией глагола является позиция сказуемого, так как сложный или осложненный типы предложения возникли позже простого. Глагол в позиции сказуемого — это наименьшая коммуникативная единица, ядро высказывания (другие части речи могут составлять ядро высказывания только в условиях актуализации). Достаточно услышать — наизусть от конкретной ситуации, вне контекста — такие слова, как *возьми, пришел, роет* и т. п., чтобы понять не только значение каждой из этих словоформ, но и смысл каждого высказывания (недостающие элементы сообщения могут быть выявлены путем постановки вопросов). Когда же говорят: *ров¹⁰, склад, приход, пришедший, взятый* и т. п., то значение каждого слова, обозначающего то ли продукт (результат) деятельности, то ли название самого действия или действующего лица и т. д., понятно, однако коммуникация не состоялась, так как смысл высказывания ни в одном случае не

⁷ Г. Пауль, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 56—57.

⁸ Там же, стр. 105.

⁹ См.: Э. В. Севортян, Этимологический словарь тюркских языков, I, М., 1974, стр. 103, 104.

¹⁰ Т. е. «нечто вырытое»; см. в этой связи: Л. Нуаре, Орудие труда и его значение в истории развития человечества, [Харьков], 1925, стр. 156 и др.

ясен. Слова глагольно-именного профиля лишены коммуникативной значимости, не предикативны, т. е., как правило, не выступают в позиции сказуемого. Если же принять во внимание, что коммуникативность, т. е. свойство нести мысль, является наиболее общим признаком языка, присутствующим ему даже на доязыковой и предязыковой ступенях развития¹¹, то станет очевидным, что для утверждений относительно «вторичности» глагола или его изначальной диффузности («имя-глагол») не остается видимых оснований, хотя действие, несомненно, могло обозначаться тем же самым словом, которое — вернее ономим которого — в другой ситуации (и в другой синтаксической позиции!) предстает именем существительным, обозначая предмет¹².

Как же объяснить, в таком случае, приводившиеся и в капитальном сочинении В. Вундта («Die Sprache»), и в ряде позднейших работ многочисленные факты присоединения именных суффиксов (в частности, показателей принадлежности) ко многим глагольным образованиям, что сам Вундт считал признаком приоритета имени перед глаголом? Объяснение, думается, может быть только одно.

Еще в 1848 г., в отзыве на грамматику А. Казем-бека, О. Бётлингк показал, что суффикс принадлежности 3-го лица восходит в тюркских языках к личному местоимению со значением «он»¹³. Впрочем, было бы странно, если бы доказывалось что-то иное, поскольку давняя теория не имеет альтернативы. Действительно, в языке, где еще нет морфологии (и нет также супплетивных форм, типа *его*, *мой*), принадлежность такого-то предмета определенному лицу может быть выражена только путем соположения соответствующих слов (например: *одежда мужчины* = *одежда* + *мужчина*, *его одежда* = *одежда* + *он* и т. п.). Если местоимение со значением «он» — то же относится и к другим личным местоимениям — регулярно присоединяется к именам для выражения идеи принадлежности, то со временем, морфологизовавшись, оно начинает восприниматься как «суффикс принадлежности», т. е. получает значение *его* (соответственно *мой*, *твой* и т. д.). Впрочем, присоединяясь к глаголу, оно сохраняет свое первоначальное значение («он»), например: *он пришел* — букв. *пришел-он*, *он увидел* — букв. *увидел-он* и т. п. Названный суффикс является в данном случае не показателем принадлежности, а просто личным суффиксом, однако Вундт и его последователи, не учитывая исторической многозначности этой морфемы (и ей подобных), безоговорочно относят все такого рода суффиксы к числу именных показателей, а на этом основании делают вывод о «первичности» имени и «вторичности» глагола.

¹¹ О доязыковой и предязыковой стадиях см. нашу статью «Некоторые вопросы происхождения языка», «Уч. зап. [МГИМО]», Вопросы литературы и языка, 5, М., 1970, стр. 83–86.

¹² Выделение частей речи ни в коей мере не зависит, особенно на начальных этапах развития языка, от наличия или отсутствия каких-либо «формальных» признаков. См. в этой связи нашу статью «О принципах выделения частей речи», «Сборник трудов по языкознанию», [М.], 1957, 1.

¹³ См.: O. Boettlingk, Kritische Bemerkungen zur zweiten Ausgabe von Kasem-bek's Türkisch-tatarischer Grammatik..., «Bulletin de la classe hist.-philol. de l'académie imp. r. des sciences de St.-Petersbourg», V, St.-Pet.—Leipzig., 1848, стр. 343. Та же мысль еще раньше была высказана В. Шоттом; см.: W. Schott, Versuch über die tatarischen Sprachen, Berlin, 1836, стр. 62, 63, 67; см. также: К. Е. Махитинский, Сравнительная морфология финно-угорских языков, в кн.: «Основы финно-угорского языкознания», М., 1974, стр. 267.

Эта теория, нуждающаяся лишь в некоторых уточнениях, дает основания утверждать — впрочем, так думал и О. Н. Бётлингк, — что форма повелительного наклонения 3-го лица ед. числа тюркских языков исторически возникла из наиболее, пожалуй, естественного сочетания: *al* «возьми» + *syn* (или *syn*) «он» = *alsyn* «возьми он» = «пусть он возьмет».

Оставляя в стороне анализ других вопросов, связанных с проблемой глоттогонии, который привел бы нас к выводу о том, что именной строй вообще исключен для какого бы то ни было языка ¹⁴, обратимся непосредственно к аргументам, которыми сторонники именной структуры тюркского предложения оперируют на тюркологическом материале. В порядке убывающей значимости они сводятся к следующим: 1) в тюркских языках «спрягаются причастия» [сюда же можно подключить утверждение относительно «диффузного», глагольно-именного характера тюркского сказуемого (то ли в отдаленном прошлом, то ли даже и в настоящее время)]; 2) тюркское сказуемое восходит к субстантивному словосочетанию — в современных языках обязательно согласование его с подлежащим, в отдаленном прошлом субстантивным элементом сказуемого являлись слова типа *вещь, нечто*; 3) ряд образований с глагольно-именными формами (на *-duk, -ažak* и др.) имеет чисто именную структуру: определение получает аффикс род. падежа, определяемое — аффикс принадлежности; 4) личные аффиксы второй группы восходят к аффиксам принадлежности. Рассмотрим эти тезисы в указанной последовательности.

Первое утверждение пришло к нам «из глубины веков» — оно датируется семнадцатым столетием. Правда, судя по грамматике Мариа Маджио, неоднократно ссылавшегося на своих предшественников — Стефания Якоба (Jakob), Андреаса дю Рие (Rue), Иоаннеса Молино (Molinus), — первые западноевропейские исследователи турецкого языка (под которым тогда подразумевались и все тюркские) о причастном характере личных форм глагола ничего не говорили ¹⁵. Это утверждение восходит, по-видимому, к грамматике Ф. Менинского, который, в частности, рассматривая форму настоящего и будущего времени, писал: «Впрочем... *sever* есть собственно активное причастие *любящий* (*amant*) или который *любит*» ¹⁶.

В том же духе простой констатации, в сущности без серьезных обоснований, говорится об этом во многих грамматиках XVIII — начала XX вв. Наиболее полно концепция изложена, пожалуй, Г. Вайлем, сопоставляющим личные формы турецкого глагола с немецким перфектом: «от собственно глагольной основы... сначала образуется причастие или причастиеобразная модальная основа (*partizipiumähnlicher Modalstamm*), которая выражает вид и способ действия (например, *ge-komm-en* «пришедш-ий» для выражения завершенного процесса), а к ней, для обозначения соответственно лица и времени действия, присоединяются различные формы вспомогательного глагола «быть» (я есмь, ты еси и т. д.)» ¹⁷. И здесь, как видим, рассматриваемый взгляд на структуру турецкого (соотв. тюркского) глагольного сказуемого не столько обоснован, сколько постулирован.

¹⁴ Этот взгляд далеко не нов; его придерживался, в частности, Г. Шухардт — см. его «Избранные статьи по языковедению», М., 1950, стр. 80, 87 и др.

¹⁵ См.: D. Francisc o-Maria Maggio, Syntagmaton Lingvarum Orientalium... Liber secundus... Turcicae linguae institutiones, Romae, 1670, стр. 62 и сл.; см. также статью А. Дильачара (A. Dilâçar, 1612'de Avrupa'da yayımlanan ilk Türkçe gramerinin özellikleri, «Türk Dili Araştırmaları Yılı» Belleten, 1970), где дан подробный обзор турецкой грамматики Г. Мегизера, датирующейся 1612 годом. (В Библиотеке им. В. И. Ленина грамматика Мегизера в настоящее время «затерялась»; микрофотокопии некоторых других работ, выписанные нами из-за рубежа, пока в библиотеку не поступили.)

¹⁶ Francisci à Mesnien Meninski, Linguarum Orientalium... Grammatica turcica..., Viennae Austriae, 1680, стр. 72.

¹⁷ G. Weil, Grammatik der osmanisch-türkischen Sprache, Berlin, 1917, стр. 102; см. еще: M. A b e l-R é m u s a t, Recherches sur les langues tartares..., 1, Paris, 1820, стр. 275.

Однако этот взгляд не является единственным. Многие авторы, указывая, что причастия употребляются «субстантивно и адъективно», ничего не говорят о их роли в образовании временных основ, отмечая лишь, что 3-е лицо ед. числа (т. е. основа времени) образуется так же, как соответствующее причастие, что причастие «имеет форму» 3-го лица ед. числа (соответствующего грамматического времени)¹⁸. Интересно, что к этой группе исследователей относятся и все авторы грамматик, написанных в XIX — начале XX в. на турецком языке¹⁹.

Обе названные точки зрения в известной мере синтезированы в следующей формулировке А. Мюллера: «Эти аффиксы... в большинстве случаев представляют собой одновременно как 3-е лицо ед. числа какого-либо склонения, соотв. времени, так и причастие, герундий или иное глагольно-именное образование»²⁰.

Но коль скоро нас интересует генезис какого-то явления, такая постановка вопроса недостаточна. Какая-либо древняя глагольная форма не могла, как это допускал в отношении турецкой формы на *-dik* Н. К. Дмитриев, «в своем первоначальном виде» означать, например: *взятие, беруший, беромый*²¹, поскольку такие значения присущи глаголу, занимающему различные синтаксические позиции, тогда как исходной позицией для глагола являлась, как уже было сказано, **только позиция сказуемого**.

Если какая-либо форма употребляется только в позиции сказуемого и сообщает о каком-то действии или состоянии, то называть такую форму причастием или глагольным именем нет оснований. Если в языке существуют формы, употребляющиеся главным образом в позиции определения (что характерно для причастия), как например, причастие на *-an* в турецком языке, то наряду с ними обязательно должны существовать и формы *verbum finitum*. Если же какая-то форма уже в древнейших памятниках выполняет функции и причастия, и индикатива, то можно предполагать, что именно индикативная функция является для этой формы первичной. Что же касается причастной функции, то она возникает как результат объединения двух предложений, одно из которых попадает в зависимое положение, причем его сказуемое сначала превращается в зависимый предикат, т. е. в сказуемое придаточного предложения, и только много позже получает статус собственно причастия. Вероятная схема образования причастия из первоначально независимой временной формы намечена нами в статье «Происхождение прошедшего времени на *-dy...*» (стр. 56, 57).

Не следует думать, что образование причастий на базе финитных форм характерно только для тюркских языков. Г. Пауль говорил: «И в самом деле, определение есть не что иное, как деградировавшее сказуемое, которое не имеет самодовлеющего значения в предложении... Итак, определение к подлежащему впервые зародилось в предложениях с двойным сказуемым. Деградацию сказуемого, превращающегося в простое определение, мы можем лучше всего проследить на тех случаях, когда такой деградации подвергается глагол в личной форме»²². И далее Г. Пауль

¹⁸ См.: J. W. Redhouse, Grammaire raisonnée de la langue ottomane..., Paris, 1846, стр. 78, 98 и др.; A. Wahgmund, Praktisches Handbuch der osmanisch-türkischen Sprache, Gießen, 1898, стр. 171 и др.

¹⁹ См.: А. Н. Кононов, Система турецкой грамматики в изложении турецких авторов. КД (рукопись), (1939), стр. 140.

²⁰ A. Müller, Türkische Grammatik..., Berlin, 1889, стр. 78.

²¹ См.: Н. К. Дмитриев, Строй турецкого языка, Л., 1939, стр. 45 (см. также 2-е изд. кн.: «Турецкий язык», М., 1960, стр. 59).

²² Г. Пауль, указ. соч., стр. 165, 166.

приводит ряд примеров, частично заимствуя их из работ других языковедов.

В дополнение к сказанному обратим внимание на следующие моменты.

1. Большая часть причастий тюркских языков не является причастиями в строгом смысле этого слова; они несут на себе очень четкий отпечаток былой — и в какой-то мере поныне сохраняющейся — индикативности. Так, казалось бы, чисто причастная форма на *-an* в турецком языке часто образует конструкции типа *damı yanan ev* «дом, крыша которого горит», где она выполняет функцию не столько причастия (которое не может иметь собственного подлежащего), сколько сказуемого придаточного предложения, хотя и очень специфического, ибо названная форма в современном языке не употребляется в финитной позиции.

2. Древнейшие глагольные формы тюркских языков, такие, как, например, *-(a)p/-(y)p* или *-мыш*, исследователи называют то глагольными именами²³, то причастиями. Характерно, однако, что даже в языке орхоно-енисейских памятников, где отсутствовала часто употребляющаяся атрибутивно форма на *-ган*, обе единицы выступали более всего в финитной позиции; в староузбекском языке, по свидетельству А. М. Щербака, «причастие на *-(a)p...* употребляется преимущественно в составе предиката»²⁴, «причастие» на *-мыш*, судя по примерам (стр. 147), — точно так же. Эти и аналогичные данные совершенно не убеждают в «причастном» происхождении таких образований.

3. К числу «причастий» исследователи относят даже турецкую форму на *-uor*, хотя она никогда не употребляется и не употреблялась в позиции определения. Основанием к причастной трактовке этой формы служат примеры типа *onu uyuyor buldum* «я застал его спящим». Очевидно, что «причастное» значение выведено здесь из русского перевода. По-турецки же сказано: *я его застал спит*. Г. Пауль со ссылкой на Штейнтала указывает, что такая конструкция помимо индоевропейских языков «встречается также в арабском, где возможны предложения вроде *я шел мимо человека спял...*»²⁵.

4. Форма на *-dyk* (без аффиксов принадлежности) в современном турецком языке и в некоторых других употребляется как остаточное явление только в позиции определения и только в отрицательном аспекте (например: *balta görmedik orman* «лес, не видевший топора», или «лес, которого не видел топор», т. е. «девственный лес»). Может быть, эта форма является исконным причастием? Но нет, обращаясь к памятникам рунической письменности, мы обнаруживаем там употребление утвердительной формы *-dyk* в атрибутивной позиции и отрицательной формы той же основы в позиции сказуемого (см. «Гадательную книжку» и др. памятники), а в Словаре М. Капгари приведено около пятнадцати примеров употребления в качестве *verbum finitum* также и утвердительной формы той же самой основы²⁶. Это позволяет предполагать первичность финитной формы на *-dukl/-dyk*, которая раньше и вышла (как таковая) из системы языка, а позже возникшее употребление той же формы в атрибутивной позиции (особенно в отрицательном аспекте) соответственно отмирает в более позднее время.

²³ См., например: В. М. Насилов, Язык орхоно-енисейских памятников, М., 1960, стр. 51 и сл.; A. v. G a b a i n, Die Natur des Prädikats in den Türk Sprachen, «Körösi Csoma Archivum», III, 1, Budapest-Leipzig, 1940, стр. 86, 88 и др.; H. W i n k l e r, Die altaische Völker- und Sprachenwelt, Leipzig — Berlin, 1921, стр. 32, 33 и сл.

²⁴ А. М. Щерба, Грамматика староузбекского языка, М., 1962, стр. 145.

²⁵ Г. Пауль, указ. соч., стр. 167.

²⁶ См.: «Mahmud Kaşgarlı. „Divanü lûgat-it-türk“ tercümesi», çeviren Besim Atalay, II, Ankara, 1940, стр. 61, 62.

Обратимся теперь ко второй части формулировки Г. Вайля, согласно которой собственно временное содержание индикативных (< причастных) форм определяется личными аффиксами (-*im* «я есмь» и т. д.)²⁷. В нашей статье «Личные аффиксы в турецком языке» мы стремились показать, что даже в именных предложениях личные аффиксы (восходящие к местоимениям) не имеют значения настоящего времени, которое выражается н у л е в ы м показателем: *doktorum* «я доктор» (букв. «доктор-я»)²⁸. Что же касается индикативных форм, то временное (а также видовое) значение выражено в них соответствующим аффиксом (*x*), иногда — двумя аффиксами (*x + idi*), но ни в коем случае не показателями лица. Так, форма типа *gidecek* «он собирается пойти» является «будущим предопределенным» (или категорическим), независимо от того, оформлена ли она личными аффиксами или, как например, в туркменском языке, лишена их²⁹.

Таким образом, можно полагать, что грамматические времена в тюркских языках издревле и поныне представляют собой основы времен, которые спрягаются или не спрягаются³⁰. На их базе, как вторичные формы, возникли и причастия. Взгляд же, согласно которому формы изъявительного наклонения восходят якобы к причастиям, является, по-видимому, не более чем старым и не в меру укоренившимся мифом.

Второй тезис, правда, тесно связанный с первым, нашел отражение в ряде работ Н. А. Баскакова (сходные взгляды излагает Г. П. Мельников). Эта концепция постулирует именной характер предложения древних, а в какой-то мере и современных, языков, поскольку в основе всего лежит «субстантивный элемент» сказуемого. Этот вопрос, если не считать того, что уже было сказано выше, заслуживает особого рассмотрения. Что же касается языковых фактов, на которых построена эта теория, то они сводятся главным образом к предложениям типа *Qara-ool bistinge xünnün kelir şîwe* «Кара-оол приходит к нам каждый день < Кара-оол — к нам каждый день приходящая вещь», обнаруживаемым в тувинском языке. Этот тип предложения автор считает древнейшим. Позже «субстантивный элемент в составе сказуемого либо оформлялся лично-указательным местоимением *ol* „тот“, для всех трех лиц ед. и мн. числа, либо показатель лица во всех трех лицах отсутствовал»³¹.

Однако наличие элемента *ol* (во всех трех лицах) или его отсутствие — это далеко не одно и то же. Второе — случай достаточно распространенный — находит последовательное объяснение не в данной теории, а в теории, согласно которой «глагол первоначально ... не имел никаких личных окончаний»³², о чем еще будет сказано ниже. Что же касается первого,

²⁷ Эту концепцию особенно усердно отстаивает К. М. Любимов, по мнению которого в турецком языке нет, например, будущего времени, а есть лишь будущее в настоящем: *gidecekim* (*gidecek + im*) «я есть тот, который уйдет» (см., в частности, его статью «Система грамматических времен в современном турецком языке», «Советская тюркология», 1970, 2, стр. 54).

²⁸ См.: «Труды ВИЯ», 5, М., 1954, стр. 59—61.

²⁹ См.: «Грамматика туркменского языка», I — Фонетика и морфология, Ашхабад, 1970, стр. 285.

³⁰ Неспрягаемые временные основы передки в языках разных систем. Так, В. С. Хидиров отмечает, что «в языках лезгинской группы глагол не имеет синтетической формы спряжения по лицам. Отношение действия к его производителю выражается описательно, ср.... (крымский язык): *şisni şun* букв. „пишет я“, *şisni şun* букв. „пишет ты“, *şisni şun* букв. „пишет он“» («К проблеме типологических тождеств в равносоставленных языках», «Советская тюркология», 1971, 5, стр. 33).

³¹ Н. А. Баскаков, Историко-типологическая характеристика структуры тюркских языков, М., 1975, стр. 79, 80.

³² K. R e d e i, Die Entstehung der objektiven Konjugation im Ungarischen, AL, XVI, 1—2, Budapest, 1966, стр. 111. (Автор в данном случае говорит лишь о протофин-

то Н. А. Баскаков ссылается на сарыг-югурскую форму *-tro*, которую гипотетически возводит к **t(u)r o(l)*³³, что выглядит вполне правдоподобно. Необходимо, однако, выяснить и генезис более протяженных единиц, таких, как *-metro*, *-petro*, составной частью которых является названная форма. Нынешнюю «тотальную» функцию афф. *-tro*, *-metro* обуславливает, несомненно, «разрушение ... личного спряжения глаголов» в сарыг-югурском, а также саларском языках, находящихся под сильным китайско-тибетским влиянием³⁴. Если же учесть, что афф. *-tro* присоединяется в сарыг-югурском языке в основном к образованиям с дееспричастным компонентом, которые сами возникли достаточно поздно, то говорить о большой древности названной структуры, видимо, не приходится. Таким образом, как исходные установки теории Н. А. Баскакова (именной характер предложения), так и недостаточность подтверждающего материала делают сомнительной ее адекватность реальным историческим процессам.

Обратимся к третьему аргументу теоретиков — тезису о «чисто именной структуре» некоторых глагольных (глагольно-именных) образований. А. Н. Кононов расценивает аналитическую конструкцию *atasy barʔan* в предложении *Atasy barʔan jārka bardy* «Он пошел в [to] место, куда ушел его отец»³⁵ как придаточное предложение, считая, однако, что эта конструкция возникла в результате упрощения более полной «синтетической» конструкции (типа *Atasy-nyn barʔan-y*), которая придаточным предложением не являлась. Существует, впрочем, и прямо противоположное мнение, по которому исходной должна быть признана более простая конструкция *atasy barʔan*, присоединение же аффикса принадлежности (*barʔan-y*) и аффикса род. падежа (*atasy-nyn*) является, соответственно, вторым и третьим этапами развития этой конструкции.

Согласно этой теории, исходные несогласованные формы сказуемого (типа *atasy barʔan* или *men/ben okuduk* «я читал» — аналогичные примеры находим в Словаре М. Кашгари³⁶) в какой-то период времени сменяются согласованными формами сначала в главном, а затем, по аналогии, и в придаточном предложении³⁷, причем в первом случае в состав сказуемого включались личные местоимения, превратившиеся затем в аффиксы, а во втором — аффиксы принадлежности в функции личных местоимений, т. е. личных аффиксов, о чем говорилось выше. Таким образом, сходные в принципе процессы имели место в сказуемых обеих частей предложения: а) в главном предложении — *men okuduk, ol okuduk* → */men/okuduk-man, /ol/ okuduk-ol*; б) в придаточном предложении — *men okuduk, ol okuduk* → */men/okuduk-um, /ol/ okuduk-u*.

Заслуживают внимания еще два обстоятельства.

1. Определенная часть финитных глагольных форм, со временем попадая в позицию сказуемого придаточного предложения, позже превраща-

ноуторском и протовенгерском языках, при этом глагол трактуется как глагольное имя — «помеп-вербум».) Эта теория в сущности не имеет альтернативы: личные аффиксы присоединяются к временным основам, следовательно, исторически в какой-то период времени присоединились (примкнули) к ним, тогда как до этого спряжение глагола было аналитическим. См. также примеч. 30.

³³ Н. А. Баскаков, Об одном древнем типе структуры сказуемого в сарыг-югурском языке, «Тюркологические исследования», М., 1976.

³⁴ Э. Р. Тенишев, Строй саларского языка, М., 1976, стр. 257; его же, Строй сарыг-югурского языка, М., 1976, стр. 166, 167.

³⁵ См.: А. Н. Кононов, Родословная туркмен. Сочинение Абу-л-гази хана хивинского, М. — Л., 1958, стр. 162, 163.

³⁶ См. примеч. 26.

³⁷ Здесь, впрочем, речь должна идти не столько о согласовании, сколько о переносе обозначения действующего лица в сказуемое, после чего подлежащее становится факультативным. См. также: Г. Пауль, указ. соч., стр. 369.

ется в этом случае в причастие с невыраженным страдательным залогом, т. е. получает значение объекта или результата действия (*okuduğ*) «прочитанное/читаемое»³⁸. Связь этих форм со своим определением осуществляется обычно посредством изафетной конструкции, т. е. род. падежа и аффикса принадлежности (*o-nın okuduğ-u* «читаемое им», букв. «его читаемое»). Формы с объектным значением в принципе не могут занимать позицию сказуемого ни в главном, ни в придаточном предложении [построение типа: *поскольку его читаемое* (вм.: *поскольку он читал*), *я ушел* абсурдно в любом языке]. Не случайно в придаточных причинах, времени и т. д. подлежащее никогда не получает аффикса род. падежа (форма на *-duğ* воспринималась бы тогда как причастие с объектным значением, что ведет к абсурду). Попытки связать построение типа турецк. *o* (по не: *o-nın*) *okuduğ-u için...* «поскольку он (про)читал...» с теми случаями, когда «логический субъект» оборота является одновременно субъектом предложения³⁹, не могут привести к успеху: аффикс род. падежа как в древнетюркских памятниках, так даже и в современных языках отсутствует при любой комбинации субъектов. Например: *Täñri jarlykadykyn üçün... kağan olurtym*⁴⁰ «Поскольку небо повелело..., я сел (на царство) каганом».

2. Однако сказуемое придаточного дополнительного предложения и дополнение в значении объекта действия могут смешиваться [ср. турецк. *okuduğ-ını biliyorum* 1) «я знаю, что он читает» (а не: пишет), 2) «я знаю, что он читает», т. е. «я знаю читаемое им, его читаемое»], что и привело впоследствии к переносу чисто именной (изафетной) структуры на некоторые типы придаточных предложений (дополнительные, определительные, вводные), которые, возможно, правильнее теперь называть оборотами сверхсложненного предложения⁴¹, не забывая, однако, о том, что отношения между основными компонентами таких оборотов носят предикативный характер⁴².

В связи с этим трудно согласиться с В. Г. Гузевым, когда, критикуя позицию Ш. С. Айлярова, он пишет, что «сочетания типа ... *çosıyğın okuduğ-u*... ничем по структуре не отличаются от конструкций типа *çosıyğın oynasğ-ı* „игрушка ребенка“ и уже поэтому должны рассматриваться как атрибутивные»⁴³. Поступить в соответствии с такой рекомендацией значило бы поставить знак равенства между оборотом *çosıyğın okuduğ-u* в значении «читаемое ребенком» (представляющим собой действительно атри-

³⁸ Подробнее см. в нашей ст. «Происхождение прошедшего времени на *-dy...*», стр. 56.

³⁹ См.: А. Н. Баскаков, О классификации причастий в тюркском языке, ВЯ, 1959, 6, стр. 114; К. С. Манди полагает, что конструкции типа *Varur Bebeğe geldığı zaman...* «Когда пароход прибыл в Бебек...» сложились не без влияния деепричастия на *-ınca* с собственным подлежащим: *Varur Bebeğe gelince...* (см.: С. S. Mündü, Turkish syntax as a system of qualification, BSOS, XVII, 2, 1955, стр. 293, 294). Вряд ли такое обоснование убедительно, поскольку деепричастие на *-ınca* появилось в языке пять-шесть столетий тому назад, тогда как конструкции *-dukt-a* и *-dukynt-a*, *-dukt-ı* и *-dukynt-ı* с подлежащим в основном падеже широко представлены еще в орхон-енисейских памятниках (подробнее см.: П. И. Кузнецов, Форма на *-dy* и придаточные предложения тюркского типа, «Иностранные языки. Сборник статей», 1, М., 1965, стр. 111 и сл.).

⁴⁰ С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.—Л., 1951, стр. 28 (Памятник в честь Кюль-Тегина, малая надпись, 9).

⁴¹ См.: П. И. Кузнецов, Статистический анализ моделей «И + Г³» и «И + Г⁴» в тюркских языках, «Советская тюркология», 1975, 6, стр. 44.

⁴² Вряд ли можно проводить прямые аналогии между этими оборотами и синтаксическими структурами с неличными формами в английском языке: анализ только синхронного «среза» явно недостаточен для каких-либо выводов. Ср.: Ч. Ю. Латыпов, О субъектно-предикативных связях между членами синтаксических структур с неличными формами глагола в английском и тюркских языках, «Советская тюркология», 1972, 5, стр. 69 и сл.

⁴³ В. Г. Гузев, указ. соч., стр. 42.

бутивное сочетание) и тем же оборотом в значении «(что) ребенок читает», хотя в содержательном плане между этими омонимичными оборотами лежит целая пропасть. Попытки определить содержательную сторону того или иного явления на основе анализа плана выражения⁴⁴ не могут привести ни к каким положительным результатам: одно и то же явление (т. е. форма) может вмещать самые противоречивые сущности (что мы видим и на нашем примере). Если бы между формой и содержанием всегда существовало однозначное соответствие, у языковедов не было бы никаких проблем.

Сказанное не означает, разумеется, что формальные различия вообще должны игнорироваться. Так, немаловажно, что дистрибуция двух форм на *-dik* совершенно различна. Первая форма («читаемое»), естественно, не может иметь при себе дополнений; кроме того, при необходимости она, как любое существительное, присоединяет аффикс мн. числа [ср. турецк. *okuduklarım* «(все) то, что я читал/читаю», букв. «мои читаемые/прочитанные»]. Вторая форма ведет себя как глагол в позиции сказуемого придаточного предложения.

Почти столь же значительно различие между, казалось бы, идентичными (по форме) оборотами: турецк. *çocuğın gitmesi(ni istiyorum)* («я хочу, чтобы ребенок ушел») и *çocuğın gittiği(ni biliyorum)* («я знаю, что ребенок ушел»). В первом случае можно выделить (в референтивном и логическом планах) производителя действия и наименование действия, но еще не ясно, можно ли говорить о «субъекте» и «предикате», «подлежащем» и «сказуемом», так как между соответствующими элементами (*çocuğın, gitmesi*) исторически не было предикативной связи (ср. «я хочу ухода ребенка»). Во втором случае непременно должны быть выделены субъект и предикат, поскольку данная конструкция восходит к первоначально независимому предложению с неспрягаемой формой сказуемого типа **çoşuk gittik* «ребенок ушел», которую позже сменила спрягаемая (посредством аффиксов принадлежности в особ ой ф у н к ц и и) форма *gittiği*. Контаминация с внешне сходной конструкцией с объектным значением привела к появлению аффикса род. падежа, что не изменило, однако, характера связи между главными членами этой конструкции. Таким образом, о «глаголо-уничтожающей структуре» тюркских языков⁴⁵ можно говорить, лишь имея в виду план выражения (и то частично), но, конечно, ни в коем случае не содержательную сторону грамматических явлений.

Нам осталось рассмотреть четвертое обоснование теории именного характера тюркского предложения — взгляд на личные аффиксы второй группы (*-m, -n, -k, -nuz*) как на аффиксы принадлежности. Такая их трактовка позволила И. М. Мелиоранскому, а затем и Н. К. Дмитриеву предложить следующую этимологию показателя прошедшего-категорического времени: *al-di-m* «я взял» < *al-ıt-ım* «мое взятие»⁴⁶. Между тем, примеры, содержащиеся в «Диване» М. Кашгарского и грамматике Абу-Хайяна (на которые впервые обратил внимание Ж. Дени⁴⁷), дают возможность решить этот вопрос фактологически. Продемонстрируем развитие форм 1-го

⁴⁴ См.: А. М. Щербак, О методике морфологического описания языка, ВЯ, 1963, 5, стр. 32.

⁴⁵ См.: Б. А. Серебряников, Выступление, «Вопросы грамматики тюркских языков (Материалы координационного совещания по проблемам глагольного вида и сложноподчиненного предложения в тюркских языках)», Алма-Ата, 1958, стр. 192.

⁴⁶ Н. К. Дмитриев, Турецкий язык, стр. 48, 49. К. М. Любимов утверждает даже, что «формы прошедшего времени на *-di* для современного турецкого языка являются формами глагольного существительного с аффиксами принадлежности» (указ. соч., стр. 57, 58); см. в этой связи реплику Р. Ф. Благовой («Первый год издания журнала „Советская тюркология“», ВЯ, 1971, 3, стр. 117).

⁴⁷ См.: J. Deny, Grammaire de la langue turque, Paris, 1920, стр. 1110.

лица ед. числа прошедшего времени и условного наклонения, используя только зафиксированные в источниках примеры. Услов. наклонение: 1) *bân özüñ qazıñmasar*⁴⁸ «если бы я сам не приобретал»; 2) *bar joq bolsar-m(ä)n*⁴⁹ «если меня не будет»; 3) *bar joq bolsa-m(ä)n*⁵⁰. Прощ. время: 1) *ben barduk*⁵¹ «я ушел»; второй этап не засвидетельствован; 3) *aldu-man*⁵² «я взял». Покажем то же самое на примере глагола *almak* [услов. наклонение: «если (бы) я возьму (взял)», прош. время: «я взял»]:

1) *ben alsar*; 2) *alsar-män*, 3) *alsa-män*; 4) *alsam*

1) *ben alduk*; 2) **alduk-män*⁵³; 3) *aldu-män*; 4) *aldym*.

Итак, личные аффиксы второй группы (а не «аффиксы принадлежности») появляются в формах условного наклонения и прошедшего времени лишь на четвертом этапе развития этих форм и представляют собой трансформированные личные местоимения: *men* → *m(en)* → *m* и т. д. Аналогичное явление зафиксировано в диалектах ряда тюркских языков, например, турецкого, в отношении многих других глагольных форм, в частности, настоящего-будущего (-*ur*), настоящего на -*ı* и др.⁵⁴

Таким образом, можно видеть, что причастное или глагольно-именное происхождение временных форм изъявительного наклонения в тюркских языках должно быть поставлено под сомнение, а формально-именная структура некоторых специфических конструкций тюркских языков находит объяснение в рамках теории возникновения сложных предложений. Это дает основание для отрицательного ответа на вопрос, является ли структура предложения в тюркских языках изначально именной⁵⁵.

Стоит отметить, что близкие взгляды развивают в своих работах и некоторые турецкие языковеды. Вот что пишет, например, Мухаррем Эргин: «Каково бы ни было происхождение аффиксов наклонений и времен (*şekil ve zaman ekleri*) и личных аффиксов, глагольное спряжение в тюркском языке с самого начала всегда носило глагольный характер (*daima fiil hüviyeti içinde var ola gelmiştir*). Поэтому не следует забывать, что аффиксы наклонений и времен... всегда были аффиксами глагольного спря-

⁴⁸ С. Е. М а л о в, указ. соч., стр. 64, стр. 55 (Памятник в честь Тоньюкука).

⁴⁹ Там же, стр. 208 (Юридические документы уйгуров; док. № 7).

⁵⁰ В. В. Р а д л о в, Памятники уйгурского языка, Л., 1928, стр. 54.

⁵¹ По свидетельству М. Кашгари, так говорило «большинство огузов», тогда как «другие турки» употребляли уже редуцированную форму: *bardym*; см.: «Mahmud Kaşgarlı...», стр. 62.

⁵² A b ü N a y u â n, Kitâb al-idrâk li-lisân al-Atrâk, Istanbul, 1931, стр. 160; этот пример впервые приведен в статье Э. А. Груниной «Форма времени на -*al-*е по памятникам турецкого языка» («Тюркологический сборник», М., 1966, стр. 31).

⁵³ Даже и такая форма засвидетельствована, правда, не для первого лица единственного, а для второго лица множественного числа: *añlamađıqıyız* «вы не поняли» (см.: Н. W. D u d a, Die Sprache der Yutq Vezir-Erzählungen, 1, Leipzig, 1930, стр. 87).

⁵⁴ См. нашу статью «Личные аффиксы в турецком языке», стр. 67 и сл.

⁵⁵ Теория именного происхождения глагола, помимо тюркологов, разделялась (и отчасти разделяется) финноугроведами (а также некоторыми индоевропейцами, монголоведами и др.; см. об этом: А. М. Щ е р б а к, К вопросу о происхождении глагола в тюркских языках, стр. 20 и сл.). В свое время Э. Сетяля думал, что образования, лежащие в основу финно-угорских временных форм, а также повелительного наклонения, были настоящими отглагольными именами, а в глаголы превращались благодаря присоединенным к ним личным окончаниям. Мнение Э. Сетяля считалось долгое время общепринятым» (К. Е. М а й т и н с к а я, указ. соч., стр. 297). Теперь, однако, финноугроведы понимают, что «теоретически» категория глагола не может восходить к категории имени, поскольку нельзя представить наличие имени без наличия отдельного глагола» (там же). Правда, это понимание все еще является половинчатым, так как далее мы читаем, что «да же в современных языках о с т а л и с ь (точнее было бы сказать: п о з ж е п о я в и л и с ь — К. П.) категории, совмещающие некоторые именны и глагольные свойства: инфинитивы, причастия и деепричастия» (там же; разрядка наша. — К. П.).

жения, никогда не выражали именного значения, не являлись причастными аффиксами (*partisip eki olmadıkları...*). Мы никогда не должны упускать из вида, что совпадающие по форме аффиксы причастий и аффиксы времен и наклонений резко различаются между собой в функциональном отношении. Причастия обозначают [действующие] предметы (*nesne*), формы глагольного спряжения — действия»⁵⁶.

Излагая свои соображения по затронутому вопросу, мы не рассчитываем, конечно, убедить тюркологов, особенно тех из них, чьи взгляды давно и окончательно сформировались, в правильности наших воззрений. Наша цель состояла в том, чтобы показать, что традиционная точка зрения на структуру предложения в тюркских языках не должна считаться неоспоримой, что это, в сущности, лишь одна из гипотез, не исключающая другие, в частности — гипотезу об изначальной глагольности тюркского предложения.

⁵⁶ М. Е r g i n, *Türk Dil Bilgisi*, Sofya, 1967 (1-е изд. — Istanbul, 1962), стр. 274, 275.

БОГАТОВА Г. А.

СООТНОШЕНИЕ ЦИТАТЫ И СЛОВАРЯ

(об особенностях иллюстрирования слов и значений в словарях исторического жанра)

В период планирования того или иного типа словаря на картотеках, переживших длительный период создания, проводится не только проверка «сцепления» данного типа словаря с картотекой¹, но и выработка ряда требований к цитате, иллюстрирующей словарную статью избираемого типа словаря.

Таким рациональным критериям иллюстрирования слов и значений во втором издании Семнадцатитомного словаря посвящена статья К. С. Горбачевича «Словарь и цитата»², поднимающая ряд важных вопросов, интересных не только для нормативной лексикографии.

Нельзя не заметить, что планируемые изменения общего характера — актуализация словника, усиление нормативности, ослабление черт историзма в БАС (второе издание), уточнение типа словаря — процесс вполне оправданный и естественный в условиях все более четко определяющейся специализации лексикографических жанров.

И уже настало время обратиться к тем же вопросам — соотношению цитаты и типа словаря — в жанре исторической лексикографии, так как практика русской исторической лексикографии как будто оставила позади время проектов и дискуссий по их поводу и вступила в тот рабочий период совершенствования в самом процессе издания³ или при его подготовке⁴, которое неизбежно сопровождает все многотомные труды и переиздания этого рода⁵.

¹ Г. А. Богатова, Соотношение картотеки и словаря, сб. «Вопросы практической лексикографии», Л., 1979, стр. 78—87.

² К. С. Горбачевич, Словарь и цитата (о рационализации иллюстрирования слов и значений во втором издании Семнадцатитомного словаря), ВЯ, 1978, 5.

³ Практика составления Словаря русского языка XI—XVII вв., вып. 1—6 (А — И), М., 1975—1979 гг. (гл. ред. С. Т. Бархударов, ред. Г. А. Богатова, далее СЛРЯ XI—XVII вв.) не могла не учитывать ряда рациональных предложений, внесенных рецензентами словаря. Рецензии и отдельные предложения членов редколлегии обсуждаются на заседаниях Группы, в некоторой степени уже учтены при подготовке последующих 7 и 8 вып. (К — Л, гл. ред. Ф. П. Филин, ред. Г. А. Богатова) и частично будут учтены в усовершенствованном варианте инструкции для составителей словаря, который войдет в силу с 10 выпуска.

⁴ Имеется в виду Древнерусский (общевосточнославянский) словарь XI—XIV вв. (отв. ред. Р. И. Аванесов), над первыми томами которого работает издательство «Русский язык» (составительская работа продвинута до Л) и Словарь русского языка XVIII в. (отв. ред. Ю. С. Сорокин), три тома которого (А — Л) утверждены к печати Ученым советом и перед сдачей в издательство переработаны (сокращены) по новым правилам, доложенным руководителем Группы Л. Л. Кутиной на Ученом совете Института русского языка АН СССР в марте 1979 г.

⁵ С пониманием и спокойной мудростью в связи с этим нужно отнестись к словам Я. Гримма о том, что подобные труды бывают по-настоящему хороши только во 2-ом издании. Правда, исторический словарь немецкого языка, начатый в 1852 г. (после четырнадцати лет подготовительных работ) братьями В. и Я. Гримм, был закончен лишь в 1960 г. Берлинским и Геттингенским отделениями АН (32 тома, 1,5 млн. цитат).

Тип словаря всегда связан с определенным объемом словарной статьи, с насыщенностью информации о слове: даются ли в заголовочной строке все варианты слова или только регулярные образования, предполагает ли словарь дать полную парадигму всех грамматических форм или ограничить себя в подаче, а, следовательно, и иллюстрации грамматических сведений о слове. В расчеты объема цитирования входит и ширина хронологических рамок словаря: чем шире хронологический период, тем менее подробен показ семантики слова через иллюстрацию, больший акцент делается на показе семантического развития через формирование значений в их последовательности, составляющей семантическую схему словарной статьи. От задач словаря в целом зависит, давать ли обобщающий контурный показ семантического развития слова⁶ с ограничениями в цитировании по векам или более крупным периодам (для диахронических словарей) или предпочесть такое иллюстрирование динамики развития слова за данный период (как правило, принимаемый за один хронологический срез), которое исчерпает (имплицитно или с помощью статистических индексов) возможности картотеки или соберет в словарной статье все имеющиеся на сегодняшний день контексты с этим словом (что важно, например, для историко-терминологических словарей).

В задачи исторической лексикографии входит документирование (не просто иллюстрация!) всей информации о слове, заложенной в рамках словарной статьи данного типа словаря. В практике исторической лексикографии не принято составление речений, даже на базе материала, имеющегося в изобилии в картотеке. Только вычленимые из реально существующего текста синтаксически законченные смысловые единицы — сочетания, синтагмы, фразы, многофразовый контекст, имеющие точную отсылку с датой оригинала и списка, с указанием на лист или страницу издания, могут считаться документирующим материалом. Искусство документирования в исторической лексикографии состоит в подборе и такой сегментации контекстов, которая, обеспечивая достаточную информативность, не загрузит полезную площадь словарной статьи балластным материалом, не имеющим прямого отношения к интерпретируемому слову.

Довольно большой пласт слов (около 65%) в СлРЯ XI—XVII вв. — однозначные слова, и раскрытие их семантики и описание историко-культурного аспекта делается в значительной мере через конструирование толкований на основе имеющихся в Картотеке ДРС контекстов, что не является такой уж простой задачей: не надо забывать, что значительная часть лексики XV—XVII вв. впервые проходит лексикографическую обработку и для определения многих слов лексикографической традиции еще просто не существует.

Исторические словари, в отличие от нормативных, как изволил пошутить Вайнрайх, «динозавровских размеров». И, пожалуй, для таких словарей прошлого речь и не пойдет (к сожалению) о втором издании.

Задачу воссоздания истории слова сейчас надо связывать не с таким словарем, «в котором полностью была бы показана история огромной массы слов, их значений, грамматических форм, словосочетаний, стилистических окрасок» (Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, К. С. Горбачевич, О новом издании «Словаря современного русского литературного языка», ВЯ, 1976, 3, стр. 6), для которого, по мнению авторов, «время еще не настало» (оно, пожалуй, уже прошло), а с системой словарей исторического цикла (этимологических, исторических, диалектных, историко-этимологических, диалектных с историческими данными), способных в совокупности обеспечить прочтение истории слова каждого языка с необходимой для специалиста глубиной и мерой подробности.

⁶ Это относится преимущественно к опорным именным и глагольным словам крупных корневых групп. В СлРЯ XI—XVII вв. два и более значений имеет примерно треть словника.

О «нижней» границе слова. Для однозначных слов задача описания истории слова как будто упрощается до обозначения наиболее ранней и наиболее поздней фиксации слова в пределах данного периода, хотя материалы памятников письменности показывают, что эту возможность можно тоже использовать по-разному. На глагол *забити* (если исходить только из экономии полезной площади словаря) можно привести цитату: *Забих моя оконца*, но можно ее сегментировать и иначе, показав слово в синонимическом ряду: *Забих моя оконца или заздах я, рекше заградих*. Корм. Балаш., 563об. XVI в. (здесь и далее сокращенные обозначения источников даны по «Указателю источников» к СлРЯ XI—XVII вв. М., 1975). Для *виждьникъ* «мастер-строитель» важно, расширив цитату, показать ее с синонимом *зъдарь*: *Единъ же от зъдарь упадеся от высоты велики приде на главу Фаустияню... Пожю же бывшу о десную страну церкви, иде же ся бѣ спалъ виждьникъ върху Фаустияна* (Пов. о ж. Епиф.) Усп. сб., 276. XII—XIII вв.

Показательна и антонимичность, когда в одной цитате из Гр. Наз., 182. XI в. мы можем отразить и *купномыслие* «согласие, единодушие, единомыслие» и *распряжение* «рознь, раздоры, расхождения». Важны цитаты типа ВМЧ, Апр. 1—8, 169; *Въста скупость на щедрость и неж(и)л(о)сердие на ж(и)лость*. На слово *кормицикъ* «рулевой на гребном судне, матрос на корме» полезно сделать подбор цитат с «противоположением» названию матроса на носу судна: *носовицику, носнику: На наемъ кормицику и носовицику*. Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 7, 75. 1589 г. *Носник и кормицик*. Там. кн. I, 11. 1633 г.

Если мы иллюстрируем производные слова, рекомендуется при отборе цитат и их сегментации сохранять в тексте мотивирующее слово или словосочетание: *Кладца*, ж., уменьш. к *кладъ* (в знач. 3). 4 *клади ржи... да плохова овса двѣ кладцы* Д. Шаковит. IV, 436. 1689 г. *Коренничекъ*, м., уменьш. к *коренникъ*¹. *Коренникъ кованои о трехъ замкахъ, другой коренничекъ обволоченъ кожею, кованой же*. Вкл. Ант., 63, 1664. [*Кземленый*], прил. *И а д е ж ъ к з е м л е н ы й*: *Онсифоръ паде къ земли падежъ лютымъ, яко громомъ ударенъ... клирикъ дошедъ, движе его отъ падежа кземленаго и от иступления*. ВМЧ, Окт. 19—31, 19—11. XVI в.

Общее правило — установление наиболее ранней фиксации для каждого слова — нельзя считать абсолютно исполнимым во всех случаях. Словарь русского языка XI—XVII вв. опирается на выборочную картотеку, основным правилом создания которой была не регистрация всех встречаемостей, а привлечение контекстов, наиболее ярко раскрывающих значение или употребление данного слова (Б. А. Ларин). Иногда возможность «удревнения» фиксации измеряется немногими годами. М. Фасмер отмечает для слова *ладунка*, *ладунка* 1668 г., О. Н. Трубачев в дополнениях со ссылкой на Фогараши — 1662 г. (ЭСРЯ, т. II, 550). В СлРЯ XI—XVII вв. вводятся в научный оборот цитаты 1608 г. (Оп. им. Тат.), 1635 г. (Там. кн. Тихв. м.). *Луда* «каменистая прибрежная мель; мелкий морской камень» у М. Фасмера прокомментирована глухо: «Впервые в грамоте 1571 г.». СлРЯ XI—XVII вв. приводит текст грамоты 1571 г. по доступному изданию АЮ, 55 и дает более раннюю цитату: *Пришел камень луда*. Кн. п. Обоян. пят., 147. 1563 г. и др. Иногда же СлРЯ XI—XVII вв. «удревняет» слово на несколько веков: *миндальный*, XV в. — у Срезн. XVII в., и очень часто слово или форма фиксируется вообще впервые: *миндаль*, XVI в. — для этого времени известно было лишь *амигдаль*, *мигдаль*; *кромуха* «краюха, кусок хлеба», XVIII в. ~ XVI—XVII вв., в СРНГ зафиксированы в этом значении только *кромуха*, *кромуха*. Новые фиксации слов расширяют круг производных, однокоренное окружение слова. У Срезневского отмечается, вернее, реконструируется без тек-

ста *лепенъ* «лист, лепест, лепесток», ср. литов. *lapas, lapojn, lapoti* «покрывать листьями». СлРЯ XI—XVII вв. может подтвердить реконструкцию производным *лепенекъ* с текстом 1633 г. В другом случае у Срезневского только производное *курмный*, в СлРЯ XI—XVII вв. приводится и мотивирующее *курма* XVI в.

Словарь опирается на Материалы для словаря по древним письменным источникам И. И. Срезневского как на богатейшее собрание выписок из памятников письменности преимущественно XI—XIV вв. (к сожалению, в большинстве случаев ранние цитаты очень кратко сегментированы, не всегда датированы, не всегда имеют указание на лист, неясно, каким списком пользовался И. И. Срезневский, например, в Златостр., Ушур. и др.). По возможности, составитель каждый раз стремится расширить контекст, библиографировать цитату. Например, у Срезневского на слово *лаица* «ругатель» находим: *Лаица бѣаше. Жит. Андр. Юрод. XLVI, 189. В СлРЯ XI—XVII вв. эта цитата расширена и библиографирована по доступному современному читателю изданию: Начаша глаголати о житии его... яко лаица бѣаше и вельми языченъ и сварливъ* (Ж. Андр. Юрод.) ВМЧ, Окт. 1—3, 200. XVI в. ~ XII в. Цитаты, взятые из «Материалов» И. И. Срезневского, даются под*. В отдельных случаях мы используем авторские выписки из ранних памятников письменности и Картотеки СДР XI—XIV вв. составители Словаря-справочника «Слово о полку Игореве» (М.—Л., 1965—1978) В. Л. Виноградовой, приведенные в 1—6 выпусках этого словаря. Такие цитаты (от одной до пяти на выпуск) даются под**.

Составителям рекомендуется производить поиск и датирование контекста в изданиях по указанию, содержащимся также в таких словарях, как Материалы для словаря древнерусского языка А. Л. Дювернуа, М., 1894 г., Материалы для терминологического словаря древней России, сост. Г. Е. Кочин, М.—Л., 1937, *Materialy do słownika terminów budownictwa staroruskiego X—XV ww.*, opr. A. Poppe, PAN, 1962, Ономастикон С. Б. Веселовского, М., 1977 г. и др.

Словарь привлекает по словоуказателям вновь изданные ранние памятники письменности, такие, как Изборник 1076 г., Синайский патерик, Успенский сборник, Выголексинский сборник, Смоленские грамоты, Акты Московского государства и др. Проверка комплектности ранних фиксаций, контроль за их качеством составляют весьма трудоемкую часть работы составителя⁷.

Очень часто, ввиду краткости сегментации, ранняя цитата не раскрывает определение, данное слову или значению, бывает невыразительной или недонаказательной (см. выше *лаица* XII в.), или вовсе существует в научном обороте без трактовок, как *лаибина* у Срезневского: *Промежу двух лайбинъ*. Отводн. Вяж. мон. 1505 г. В последнем случае удалось прояснить значение да и прочтение слова через сближение с *ламба, ламбина* «зарастающее мохом озерко с топкими берегами»: [Межа] от того озирка... на ламбу. Гр. Новг. и Псков., 287. XVI в. Да сельгу перешедъ на водяную ламбину и впередъ ниву перешедъ в мокрую ламбину, и от той мокрой

⁷ Авторы словаря чрезвычайно признательны составителям словоуказателей В. Г. Демьянову и В. А. Боброву (Изборник 1076 г., М., 1965), румынской исследовательнице М. Думитреску [Указатель слов и форм к Синайскому патерику (М., 1967), Бухарест, 1973], В. Г. Демьянову и М. В. Ляпони (Успенский сборник, М., 1971), Р. В. Бахтуриной (Выголексинский сборник, М., 1967), А. А. Андреевой (Акты русского государства, М., 1975), В. В. Лопатину и Т. А. Сумниковой (Смоленские грамоты, М., 1967). Приведем один только пример: у Срезневского в статье *корабль-корабли* приведен краткий текст из Синайского патерика: *сниди въ корабли*, помеченный л. 98 в. 50 л. рукописи, что легко теперь устанавливается благодаря словоуказателю М. Думитреску к изд. Патерика Синайского и дано в СлРЯ XI—XVII вв. в уточненном виде.

лабнины по сухой земли... старожилы старые признаки показали. Палеостр. гр., 158. 1691 г.

Особенно неблагоприятна для раскрытия семантики однозначного слова работа с цитатами, где слово стоит в простом ряду перечисления чего-либо: *Диалектика*, ж.: *Не научен диалектики, и риторики, и философии*. Авв. Ж., 67. 1673 г. Введение второй цитаты, более полно раскрывающей содержательный план слова, является необходимым дополнением к факту первой фиксации (даже в том случае, если она слегка выходит за хронологические рамки словаря: *Диалектика яже и логика нарицается... есть тудожество любопытна, чрезъ ню же или бл(а)гоз(аго)лемъ, или тулимъ, и чрезъ прѣние вся вещь*. Наука краснор., 182 об., XVIII в.).

Необходимостью дать более раннюю фиксацию слова бывает обусловлено использование в словарной статье имен собственных (личных имен, прозвищ, географических названий, названий-символов для различных предметов). Например, для слова *Куренокъ* иллюстрации только XVII в. В состав словарной статьи включается фиксация XVI в. со значением прозвища, отделенная от основного текста почти столетием:

Куренокъ, м. Цыпленок, молодая курица или петух. *Да животины: ... 2 селезня да 4 утки старых же, 9 утенков молодых, курица да 3 петуха индейских старых, 6 куренок молодых*. Хоз. Мор. I, 206. 1667 г. *Пришла лисица... х крестьянину на двор искала, где у него куры сидят, и хотела единого куренка унести тихонько*. Сказ о куры и лисице, 199. XVIII в. ~ XVII в. — В сост. имени собств. *Семен жа... взял пѣни в той жа д(е)р(е)в-не... на Данилке Куренке за то, что он жану убил*. Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 6, 26. 1588 г. То же с другими наименованиями: *Галка*¹, ж. Птица галка. Цитаты XVII в. — Как наименование птицы определенного типа. (1428): *Едина же бѣ пушка велика... именем Галка*. Волог.-Перм. лет., 185. *Клинчатый*, прил. Имеющий форму клина. Цитаты XVII в. — В сост. геогр. названия. *Пожня Клинчатая*. Гр. Новг. и Псков., 262. XV в.

Иногда они являются единственным источником сведений о нарицательном слове или его производных и приводятся в СлРЯ XI—XVII вв. по этим основаниям: *Куликъ*, м. Кулик. Цитаты XVI—XVII вв. *Куликовъ*, прил. к *куликъ*. — В сост. геогр. названия. *Куликово Поле* — место где произошло сражение русских войск с монголо-татарами в 1380 г. *И помиловал господь бог человеколюбец князи руския великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича меж Доном и Непром на поле Куликове, на речки Непрядве*. Задон. (Рж.), 16. XVI в. ~ XIV в.²

Выявлению «нарицательной» семантики, частично, опосредованно сохраняющейся в имени собственном, противопоставлена жесткость формулировок и сближений. Во всяком случае, идет поиск возможных видов толкования типа: *Красавецъ*, м. Красавец. — В сост. имени собств. (как прозвище). *Явилъ Матфѣи Красавецъ мѣдных денег полъ в рубля*. Там. кн. Тихв. м., № 1296. 5 об. 1648 г. *Красноглазъ*, м. — В сост. имени собств. (как прозвище человека, имеющего карие глаза особого оттенка). *М(есто) Фетьки Елистратова, сына Красноглаза*. Кн. пер. Мураш., 10. 1672 г.

Иногда приходится слышать сетования текстологов, что в качестве ранней в словарь может попасть «хронологически недостоверная цитата»³,

¹ Так же мы поступаем и с «верхней» границей, если нарицательная фиксация отсутствует в XVII в.: *Лунь*, м. Хищная птица лунь. *Гипса нѣции луня еяють*. (Нов. толк. Олимп. Алекс.). Оп. II, (1), 58. 1412 г. *Улетѣти от луневъ* (тойс тѣяс — коршунов) (Сильв. и Ант. вопросы) Оп. II (2), 147. 1512 г. — В сост. имени собств. *Сенька Мосеев, прозвище Лунь*. Хоз. Мор. II. 118. 1626 г.

² О. В. Творогов, Текстология и лексикография, сб. «Текстология славянских литератур», Л., 1973, стр. 176.

представленная поздним списком, восходящим к раннему оригиналу. Практика исторической лексикографии, в частности, создания СлРЯ XI—XVII вв., Словаря-справочника «Слова о полку Игореве» ни в одном случае не скрывает этого обстоятельства и двойным датированием со знаком ~ (тильды) — восхождения к оригиналу — снимает, на наш взгляд, эти опасения. Но мы все должны быть готовы к определенной условности в решении этого сложного вопроса. Отдавая предпочтение оригинальным памятникам XI—XII вв., СлРЯ XI—XVII вв. может использовать и поместить в числе первых летописные примеры с годом записи, даже выходящим за «нижнюю» границу Словаря, например, (945): Лавр. лет., (1096): Лавр. лет., хотя и Договор Игоря с греками и Поучение Владимира Мономаха дошли до нас в списке 1377 г., в числе первых по порядку (но после оригинальных) в СлРЯ XI—XVII вв. могут приводиться источники, известные в поздних списках, с датой восхождения к раннему оригиналу: Х. Ант. Новг. XVI в. ~ 1200 г., Ж. Серг. Р. Епиф. ² XV—XVI вв. ~ 1418 г. Девг. д., XVIII в. ~ XI—XII вв. Такой хронологический порядок цитации — хоть это и условный прием — опирается, однако, на научное положение о том, что «с текстологических позиций поздние списки, конечно, могут сильно отличаться от протографа. С лексикографической же точки зрения лексико-семантический состав в лучших списках сохраняется таким, каким он был в эпоху оригинала. Лексические замены обычно происходят в пределах слов, общих для времени оригинала и времени списка. Практически явные анахронизмы, т. е. слова, образованные в позднюю эпоху и не соответствующие эпохе протографа, как правило, редки, однако при изучении могут быть выявлены, ибо может оказаться, что они не анахронизмы, а просто слова, редко употребляемые в эпоху протографа. Вот почему не стоит лишать доверия весь остальной лексический состав ранних памятников в списках XV—XVII вв.» ¹⁰.

О способах обозначения «верхней» границы слова. Вопрос о нижней границе употребления слова, показываемой любым словарем исторического жанра, сводится ведь только к употреблению слова в данной письменности. Это один из компромиссов, условность лексикографии, ибо по данным этимологической лексикографии жизнь слова начинается значительно раньше его отражения в письменности. Ответ на вопрос «с каких пор» или «до каких пор» жило в языке слово искать надо в конце концов в совокупности словарей исторического цикла ¹¹.

Совершенно согласна с О. В. Твороговым, что еще сложнее обстоит дело с «верхней» границей употребления слова, т. е. с определением времени, когда слово или его значение выходит из активного употребления. Здесь только надо поднять горизонт наблюдений над историей слова и не уповать опять-таки на то, что все сможет «только исторический словарь — венец лексикологических разысканий» ... а его создание — «дело далекого будущего» ¹². К слову сказать, более реалистичной нам представляется точка зрения И. Немца: «Предпосылки для углубленного исследования лексического развития только еще постулируются, намечаются. Но историческая лексикография не может ждать до тех пор, пока историческая лексикология получит необходимую базу для своей теории; во всяком случае, хорошо упорядоченный словарный материал принадлежит к этой базе, этим предпосылкам прежде всего. В этом смысле новый словарь (СлРЯ

¹⁰ В. Л. Виноградова, Картотеки древнерусского языка и историко-лексикографическая работа, сб. «Вопросы практической лексикографии», Л., 1979, стр. 45.

¹¹ См. об этом в хроникальной заметке (ВЯ, 1977, 6, стр. 156).

¹² О. В. Творогов, указ. соч., стр. 176.

XI—XVII вв.— Б. Г.) древнерусского языка будет также ценным вкладом в развитие славянской исторической лексикологии»¹³.

Но если вернуться к горизонтам в вопросе о «верхней» границе, сложность состоит даже не в том, чтобы отметить, когда в последний раз слово употребляется в письменности XVII в. и выходит ли оно тем самым из употребления (часть слов, безусловно, выходит), если оно будет отмечено еще в некоторых памятниках XVIII в. или в диалектных словарях: общерусском (СРНГ) или региональных.

На наш взгляд, сложность на «верхней» границе истории слова состоит в разобщенности результатов лексикографического описания словарей, которые должны по идее представить одну линию развития словарного состава, сложность в слабом использовании в справочно-библиографических отделах статей той уникальной ситуации, когда в нашей стране, как на это указывал Ф. П. Филин еще в 1975 г.¹⁴, одновременно лексикографически обрабатывается огромный период развития лексического фонда — от праславянского до наших дней.

СлРЯ XI—XVII вв. мог бы иметь справочно-библиографический отдел для того, чтобы отмечать фиксацию слова в лексиконах в алфавитах, а главное — в словарях других древних восточнославянских языков, развивавшихся в одних территориально-государственных пределах, в близких историко-культурных условиях, языков, издревле имевших общую литературу (Д. С. Лихачев). К сожалению, к началу выхода СлРЯ XI—XVII вв. этого не удалось осуществить из-за сложностей с изданием Древнерусского (общевосточнославянского) словаря XI—XIV вв. под ред. Р. И. Аванесова, словарей древне- и староукраинского языков, словаря старобелорусского языка. Теперь это осуществимо уже только во 2-м издании СлРЯ XI—XVII вв. Обозначая в справочно-библиографическом отделе лексические связи древних восточнославянских языков, можно было бы снять многие наскоки западной критики (Г. Лавт, Э. Киннан), пытающейся спекулировать на сложности лексических отношений внутри языкового союза восточных славян. Для СлРЯ XI—XVII вв. это можно будет сделать уже только при повторном издании, готовящиеся к изданию староукраинский и старобелорусский словари могли бы разработать эту методику сейчас. Органично, в тексте статьи (а не в справочном отделе), решается этот вопрос в диалектных словарях с историческими данными (Псковский областной словарь с историческими данными) или в исторических словарях с привлечением данных живых диалектов (автор благодарит проф. Д. Иванову-Мирчеву за возможность ознакомиться со структурой 200 словарных статей готовящегося к печати Древнеболгарского словаря). Обозначить границы слова, его бытование в языке, обратить внимание на эти связующие развитие одного языка пометы, возможно, не поздно еще и сейчас, обогатив справочно-библиографический отдел готовящегося к изданию семнадцатитомного ССРЛЯ сведениями о фиксации слова в СлРЯ XI—XVII вв. и СлРЯ XVIII в.¹⁵. Пока в публикациях о подготовке переиздания авторы, к сожалению, не касались этого вопроса.

¹³ И. Н е м е ц [реп. на кн.:] Словарь Русского языка XI—XVII вв. 1 (А—Б), «Slavia», XLVI, 2, 1977, стр. 191.

¹⁴ Ф. П. Ф и л и н, С. Г. Б а р х у д а р о в, Условарных богатств, «Лит. газета», 16 IV 1975.

¹⁵ СлРЯ XVIII в. учитывает период конца XVII в. (с 1695 г.), плавно подключая его непосредственно к XVIII в., в справочно-библиографическом отделе приводит сведения «при словах, для которых XVIII в. был последним периодом их применения» (стр. 141). Установление времени появления слов (например, по «Материалам» Срезневского) в задачах словаря не входит, но может быть нелишним было бы указание в справочно-библиографическом отделе на факт фиксации слова в СлРЯ XI—XVII вв., тем более, что около 57% лексики последнего приходится на XVI—XVII вв.

О способах соотнесения документирующего материала. К особенностям иллюстрирования слов и значений в СЛРЯ относится и тенденция к соотнесению материала, документирующего словарные статьи контактирующих по семантике слов и словосочетаний. Так, иногда один и тот же памятник письменности в составе разных сборников, в разных списках становится источником грамматически или фонетически соотносимых форм, имеющих статус лексикографически самостоятельного слова типа *одежа* и *одежда*, *избирати* и *избирывати*, *въслѣдовати* и *послѣдовати*. Например, Житие Афанасия в составе Успенского сборника XII—XIII вв. и в составе Синайского патерика имеет следующий параллельный контекст:

Патерик Син. XI—XII вв.

Успенский сборник XII—XIII вв.

Егда къ еѣпомъ хожаше Александръ, на старость избироваше въслѣдовати ему и носити сѣнѣную одежду. Патерик Син., 331. XI—XII вв.

Егда же къ еѣпомъ хожаша Александръ, на старость избираша послѣдовати ему и носити свѣценую одежду. (Ж. Афан.) Усп. сб., 39. XII—XIII вв.

Для иллюстрации слов *одежда* и *одежа* (особенно если они имеют определение по типу *то же, что*) рекомендуется при отборе цитат в первую очередь использовать один и тот же контекст в составе разных сборников.

Для иллюстрации глаголов, имеющих определение по типу *изнемогати*, несомн. к *изнемоги* или самостоятельную разработку в чем-то близких схем словарных статей, также предпочтительным считается использование (наряду с другими) одного и того же контекста, относящегося к разным летописным источникам, например:

Изнемогати. 1. Ослабевать, изнемогать. (988): *И затворишася корсуняне въ градѣ...* Владимиръ же обѣстая градъ. *Изнемогаашу людие въ градѣ.* Соф. I лет.³, 65. 2. Проявлять слабость, малодушие, усталость.

Изнемочи. 1. Ослабеть, изнемогать. (988): *Володимир же остоя град. Изнемогахъ людие въ граде.* Радзив. лет., 60 об. 2. Липнуть силы, мощи, власти... 3. Потерять силу, остроту (о зрении, слове).

В некоторых случаях из-за обилия цитат, характеризующих слово с разных сторон, составителю не удается дать дважды — в *издавна* и в *издалеча* цитату, способную обратить внимание читателя на связь в семантических схемах этих слов: *Издавна*. Издавна. (3 цитаты). *Издалежа*. 1. Издалежа. 2. Издавна. Изб. Св. 1076 г., 380. *Заповѣдъ бо гсѣня издалежа просвѣщающа очю.* *Издалежа жъ глѣю издавна.* ВМЧ, Апр. 22—30, 1071. XVI в. Ав. Ж., 239. 1673 г. 3. Поодаль, вдали.

Иногда составитель располагает вообще одним контекстом, слегка видоизмененным в соответствии с орфографическими или произносительными нормами списков более позднего времени. В таком случае, мы чаще всего все-таки идем на повторное воспроизведение цитаты списка, так как эти вариации слова тоже являются косвенным свидетельством его истории: они говорят или о забвении слова (если вариации имеют вид искажения или замены), или о его жизненности для времени списка, как в случае с глаголом *искидаться*:

Искидаться (искидаться). Истошиться, израсходоваться. *Обаче дрожидя его не искидашася* (ѣѣжѣвѣдѣ; в нов. — *не истошися*). Псалт., LXXIV, 9. XII в.*. *Обаче дрожидя его не искидашеся.* (Ж. Андр. Юрод.). ВМЧ, Окт. 1—3, 193. XVI в. ~ XII в. Один и тот же контекст из списков Вологодско-Пермской летописи под 1480 г. в словаре воспроизводится и под *зучати*, и под *зучати*. В других случаях контекст, имеющий списки, может быть источником и разнокоренных слов, относящихся к одной реалии, одному понятию (иногда это разнотерриториальные названия одного языка, иногда названия, восходящие к разным языковым источникам). А про-

меж ихъ [дверей] вставлено рыбой зубъ [вар.: *слоновая кость*]. Х. Тр. Короб., 63. XVII в. ~ 1594 г. *Дикой проскурникъ то есть по руски земзверъ*. Травник Любч., 98. XVII в. ~ 1534 г. Иногда в вариантах или приписках на полях имеет место толкование интерпретируемого слова, пояснение его через другое, как бы более понятное. При иллюстрации слова Словарь неизменно воспроизводит эти места списков: *Зукъ ... И въ той щели слышать зукъ* [в сп. др. ред.: *шумъ невелики великъ, аки осы шумятъ*]. Х. Вас. Гаг., 11. 1637 г. и др. случаи: *Собери в лѣсъ дивихъ мускъ* [над строкой: *дикихъ вишенъ подобны или сливы*]... три четыре короба [над строкой: *кошы*]. Кн. землед., 44. 1705 г.

Слова, относящиеся к реалиям, имеющим разное название, но одинаковое устройство, назначение также по возможности надо иллюстрировать материалом, взаимно характеризующим эти слова. Разберем пример с *кадилом*, *кадильницей* и *кацѣй*, обратив внимание на одно их значение — «церковный сосуд для курения благовоний».

Кадило, с. 1. Благовонное вещество, фимиам, курящийся ладан... 2. Церковный сосуд для курения благовоний, кадило, кадильница. (1072): *И взявшие первое Бориса в древянѣ ражѣ... понесоша предъидущемъ черноризцемъ, сѣтицъ держаше в рукахъ и по нихъ дѣяconi с кадиломъ*. Лавр. лет., 182. *Приежъ сщеникъ кадило и влож(и) фимианъ, кадит жениха с невестою и всѣхъ тамо стоящихъ*. Требник, 32. XVI в. *Кадило серебряное лощатое с чеп(ъ)ю*. Кн. пер. Псков. печ. м., 55 об. 1639 г. *И ведемъ кацѣю еже есть ручное кадило, и фимианъ и кадитъ святыя иконы*, АИ IV, 3. 1652. Семантические задачи иллюстрации реалий особо сложны. Нужно показать равное употребление (Лавр. лет.), предмет по материалу (Кн. пер. Псков. печ. м.), устройству, назначению, предмет в действии (т. е. с глаголом), в ряду сопологающихся (или противопологающихся) имен. Эти задачи могут быть выполнены для данного значения с помощью трехпяти цитат, особенно для опорного слова. Чем-то в окончательном варианте словарной статьи приходится жертвовать (объем словаря!), но тем не менее включение цитаты АИ IV, связывающей *кадило* со словом *кацѣя*, считаем необходимым.

Кадильница, ж. Кадильница, Кадило. *Леонтей ведемъ кадильницѣю на чача кадити по всеи церкви*. Ж. Леонт. Рост., 312. XVI в. ~ XII в. *Приготовляется кацѣя, еже есть ручная кадильница и фимианъ, единымъ стѣ диаконовъ* (Чин. избр. и поставл. в епископы). РИБ VI, 447. 1423 г. *Вы же се сътворите: возьмѣте сами себѣ кадельницы... и вложите огонь и фимианъ*. Хроногр. 1512 г., 77.

Кацѣя (Кацѣя), ж. Жаровня, из которой берут благовония и горящий уголь для кадила; ручная кадильница. (1146): *И цркъвъ... всю облупиша... и кадельничѣ двѣ и кацѣи* [вар. *кацѣя, кацѣя*]. Ипат. лет., 334. *И ведемъ кацѣю, еже есть ручное кадило и фимианъ и кадитъ святыя иконы*. АИ IV, 3. 1652. В КДРС есть еще цитата: *Приготавливается кацѣя, еже есть ручная кадильница и фимианъ, единымъ стѣ диаконовъ* (Чин. избр. и поставл. в епископы) РИБ VI, 447. 1423 г.

В данной статье мы остановились лишь на трех вопросах, связанных с особенностями документирования слов и значений в словарях исторического жанра (можно было бы осветить способы подачи фразеологического материала, устойчивых сочетаний, иллюстрирования слов и форм, находящихся на разной ступени лексикализации, и многие другие нелегкие, но определенным образом разрешаемые в практике составления Словаря русского языка XI—XVII вв. вопросы).

Но и три затронутых вопроса показывают, что иллюстрирование, а точнее документирование, — отнюдь не хаотичный процесс произвольного от-

бора цитат из Картотеки. Составитель словаря исторического жанра обязан обеспечить точность цитирования (ежегодно группа сверяет с рукописными выборками и изданиями до 20 тыс. цитат), такое библиографирование цитаты предпочтительно по новейшему изданию, которое сделает ее доступной для читателя. Работа составителя словаря бывает связана и с поиском доброкачественного и более полного контекста, известного до сих пор лишь в кратком, а подчас и искаженном варианте. Данные СлРЯ XI—XVII вв. помогают исправить ошибки некоторых старых изданий, например, цитата из Гр. Дв. I, 215. 1577 г. дана со следующим примечанием: *На своей воде за двадцать сажень курмы намъ нѣ бити* [в изд.: *курмыномъ нѣ бити*]. Ср. в СлРЯ XI—XVII вв. *курмы бити годъ угодно*. АИ II, 105, 1607 г. *Курма ветлая*. (Отв. Пор. с.) Арх. Он. 1687 г. Сам объем и характер цитирования, конечно, зависят от интерпретируемого слова, его языковой и историко-культурной значимости (словарные статьи для опорных слов больших корневых групп разрабатываются несколько подробнее), хотя, конечно, общий порядок цитирования и объем определяются задачами словаря и его объемом и, разумеется, совершенствуются и отрабатываются с учетом пожеланий читателя и предложений рецензентов и членов редколлегии. Автор далек от мысли идеализировать словарь, однако, по истечении двух десятков лет работы в области исторической лексикографии все менее склонен разделять точку зрения Р. Р. Гельгардта, что любой исторический словарь «не приспособлен для демонстрации системной упорядоченности элементов лексемного уровня, пребывающих в отношениях контактов и оппозиций»¹⁶.

¹⁶ Р. Р. Г е л ь г а р д т, Теоретические принципы разработки исторического словаря русского языка (по поводу «Проекта словаря русского языка XVIII века), ВЯ, 1978, 6, стр. 31. Хотя нужно отдать должное: в целом это тонкий высокопрофессиональный обмен мнениями с авторами «Проекта по теоретическим проблемам исторической лексикографии», что в жанре рецензии встречается не так уж часто.

ГЕЛЬГАРДТ Р. Р.

ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА «СЛОВАРЯ-СПРАВОЧНИКА „СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“»

Публикации словарей нередко предшествует разработка проспекта или проекта, намечающего задачи будущего труда и приемы лексикографического препарирования тех фактов, которые должны привлекаться при составлении словника, а также при отборе и организации материала, входящего в состав словарных статей. Предварительно установленные принципы создания лексикона реализуются сначала в так называемых «пробных статьях», призванных стать моделью, на которую должны ориентироваться лексикографы в своей дальнейшей деятельности.

Вышедшую в 1960 г. статью Б. Л. Богородского, Б. А. Ларина, Д. С. Лихачева «О словаре-комментарии „Слова о полку Игореве“»¹ можно назвать скорее всего постановкой проблемы и изложением некоторых идей, связанных с лексикографической методикой.

История лексикографии убеждает, что расхождения между замыслом и исполнением обычно бывают небольшими и не изменяющими жанровой характеристики лексикона. По-иному сложились отношения между предварительно намеченным содержанием предстоящей лексикографической разработки «Слова о полку Игореве» и практикой составления словаря.

Сначала он был задуман только как комментарий, рассчитанный как будто не столько на специалистов-филологов, сколько на читателей, желающих ознакомиться с этим памятником древнерусской литературы не по его переводам, а по тексту первого издания с некоторыми изменениями и поправками, внесенными в него составителем Словаря (В. Л. Виноградовой) и редакторами (Д. С. Лихачевым, Б. А. Лариным, Б. Л. Богородским и О. В. Твороговым). Комментированию, истолкованию должно было подлежать все, что непонятно нашим современникам из-за их неосведомленности в области древней истории, незнания реалий старинного быта, давно исчезнувших явлений духовной культуры и проч. и что может в наше время осмыслиться неправильно, неточно вследствие исторических изменений языка, а также сдвигов в сфере истории культуры с неизбежными их отражениями на лексемном уровне структуры языка. Такая установка предполагала, что будущий лексикограф станет руководствоваться дифференциальным принципом формирования словника.

Изменения ориентации на определенный адресат, перестройка программы лексикографического труда и его жанрового профиля стали очевидными после публикации уже в 1965 г. первого выпуска Словаря². Вместо «Словаря-комментария», перед которым ставились сравнительно узкие задачи, был создан «Словарь-справочник», нацеленный на удовле-

¹ См.: «Труды Отдела древнерусской литературы», XVI, М.— Л., 1960.

² «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», составитель В. Л. Виноградова, 1, М.— Л., 1965; 2, Л., 1967; 3, Л., 1969; 4, Л., 1973; 5, Л., 1978. Первый выпуск вышел под редакцией Б. А. Ларина, Б. Л. Богородского и Д. С. Лихачева; в редколлегия последующих выпусков входят Б. Л. Богородский, Д. С. Лихачев и О. В. Творогов.

творение потребностей исследователей «Слова» — литературоведов и лингвистов, а также переводчиков, вообще тех, кто углубленно изучает данный литературный текст в разных аспектах, что осуществимо лишь при осмыслении его в широкой перспективе истории языка, истории литературы, истории материальной и духовной культуры народа. «Словарь-справочник» предлагает в распоряжение филологов полный словесный и фразеологический репертуар, составляющий текст изучаемого литературного памятника, но с преимущественным вниманием к тем лексическим единицам, «которые более всего затруднительны исследователю», (вып. 1, п. 8 «Общих положений»), что и отражено на объеме разных словарных статей.

Отказ от избирательного (дифференциального) принципа подбора фактов, полнота их экспозиции предохраняют от опасности субъективизма, недопустимого в лексикографической практике, исключают те проявления «личного вкуса и инстинктивных оценок», о которых писал Э. Зоммер в статье, приложенной к «Словарю языка де Севинье»³. Между тем, прошлый опыт разработки лексиконов показывает, как силен был интерес лексикографов к фактам «экстраординарным», таким, которые «не вступают в согласие с общим употреблением»⁴. Семантические интерпретации распространялись на лексемы архаичные, ставшие непонятными, а грамматические ремарками сопровождалась лишь те формы, которые не соответствовали нормам или узусу литературного языка, современного для лексикографа⁵. Принцип «языковой исключительности» выдвигал и Я. Грот, считавший, что огромный труд по составлению полных словарей не окупается сравнительно скромными возможностями их использования в научных целях⁶. Л. В. Щерба, хотя и в другой связи, также писал о «дифференциальном словаре всех тех особенностей текстов, которые противоречат современному употреблению» и к которым проявляют интерес лица, «абсолютно владеющие русским литературным языком»⁷. Но словарь языка писателя, по убеждению Л. В. Щербы, непременно должен быть «истерпывающим»⁸.

Изменение названия («Словарь-справочник» вместо «Словарь-комментарий») само по себе мало что дает для жанровой характеристики интересующего нас лексикона⁹. Напомним, что Л. В. Щерба предлагал различать и противопоставлять друг другу словари академические (нормативные) и словари-справочники. К академическим словарям, по его мнению, обращаются, когда «спрашивается о том, можно ли в том или другом случае употреблять то или другое уже известное слово»,

³ E. S o m m e r, *Lexique de la langue de Madame de Sévigné avec une introduction grammaticale...*, I, Paris, 1886, стр. LXXXIV.

⁴ Ср.: Г. Р. Д е р ж а в и н, *Сочинения с объяснительными примечаниями* Я. К. Грота, IX, 1883, стр. 335—336.

⁵ Ср.: T. L o r i n, *Vocabulaire pour les oeuvres de La Fontaine ou explication et définition des mots, locutions, formes grammaticales...*, Paris, 1852; ср. еще: L. T h u a s n e, F. Villon. *Oeuvres. Edition critique avec notices et glossaire*, I—III, Paris, 1923.

⁶ Г. Р. Д е р ж а в и н, указ. соч., IX, см. словарь. К тому же типу следует отнести «Словарь к сочинениям и переводам Д. И. Фонвизина», изданный К. Петровым, СПб., 1904.

⁷ Л. В. Щ е р б а, *Опыт общей теории лексикографии*, в кн.: «Избранные работы по языкознанию и фонетике», I, Л., 1958, стр. 64.

⁸ Там же, стр. 58. Такое же требование предъявляется и Ф. П. Филиным (см. его статью «О словаре языка В. И. Ленина», ВЯ, 1974, 6).

⁹ Иногда в заглавии лексикографического труда объединяются указания на содержащийся в нем справочный и пояснительный, истолковывающий материал. Ср.: П. Гильдебрандт, *Справочный и объяснительный словарь к Новому завету*, I—VI, СПб., 1882—1885. Здесь даны истолкования «темных мест», тех частей текста, которые «возбуждают недоумения» (I, стр. VIII); его же: «Справочный и объяснительный словарь к Псалтырю», СПб., 1898, и др.

а в справочный словарь «заглядывают исключительно с целью узнать смысл того или другого слова» (разрядка наша. — Г. Р.)¹⁰. Но существенные различия между этими двумя видами лексиконов не позволяют игнорировать такой общий признак, как одинаковая их принадлежность к своего рода справочным пособиям, что легко установить из только что цитированного определения.

Не осуществилось и намерение сопровождать вербальное истолкование упоминаемых в «Слове о полку Игореве» реалий иконографическими средствами по образцу, например, «Petit Larousse illustrée» (разные годы изданий) или энциклопедического словаря издателя Павленкова (СПб., 1899). Впрочем, большой потребности в наглядных изображениях не возникает, потому что слова-названия предметов древнего быта встречаются в «Слове» редко [типа: *вежа* — ...1. Кибитка, шатер кочевников (вып. 1, стр. 93) или *ожерелие* в разных значениях (см. вып. 4, стр. 25—26)]. В других же случаях «изобразительные иллюстрации» предметов материальной культуры вообще оказываются вряд ли осуществимыми [ср. *оксамить* — «шелковая ткань с ворсом из серебряных или золотых нитей» (вып. 4, стр. 27) и некот. др.]

В композиции лексикона как справочного пособия, которое призвано служить основой для дальнейшего многостороннего исследования древнего памятника, немалое место должен был бы занимать единый перечень привлеченных литературных текстов, архивных материалов, фольклорных сборников и научных трудов. Общий библиографический указатель демонстрировал бы степень полноты использованных источников и позволял бы судить об их качестве и научной ценности: ведь из обширной литературы, посвященной «Слову», отбиралось лишь то, что сохраняет научную ценность и остается в пределах академических норм¹¹. Но указатели «источников Словаря» помещены в каждом отдельном выпуске, причем эти сведения иногда нуждаются в корректировании и унификации. Так, «Послание Ивана Грозного» (М.—Л., 1951) находим в первом выпуске Словаря (стр. 194), хотя в пятом выпуске тот же источник назван «впервые использованным» (стр. 262). «Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора» Н. М. Васнецова включены в библиографию, приложенную ко второму выпуску (стр. 209), а тот же труд в третьем выпуске рекомендован как использованный в нем «впервые» (стр. 180). Или в библиографии упомянута работа Вс. Миллера (вып. 4, стр. 233), а ссылки на А. Мазона и Б. Унбегауна остаются только в пределах словарных статей.

Желательно было бы, чтобы одни и те же источники были представлены в разных выпусках «Словаря». Однако некоторые материалы картотеки «Словаря русских народных говоров» и «Словаря древнерусского языка XI—XIV вв.», а также «Словаря русского языка XI—XVII вв.» стали входить в данный лексикон только со второго выпуска (см. «От редакции», стр. 3), причем два последних названия оказались почему-то исключенными из перечня источников. Упомянута картотека Института русского языка АН СССР в связи с привлекаемыми «Материалами для словаря Мещовского уезда Калужской губернии» Косогорова (вып. 4, стр. 231). Но обойдена молчаньем картотека «Псковского областного словаря», несмотря на то, что на нее есть ссылка, например, при глаголе *разлучиться* (вып. 5, стр. 6). Лишь с четвертого выпуска появилась осо-

¹⁰ Л. В. Щерб а, указ. соч., стр. 55.

¹¹ Библиографические указатели не противопоставлены жанру лексикона, объектом которого являются все литературные произведения писателя или отдельные литературные тексты. Ср.: C. L. B r o a d, V. M. B r o a d, Dictionary to the plays and novels of Bernard Shaw..., London, 1929.

бая рубрика «Переводы» и начали приводиться «примеры переводов наиболее спорных и трудных слов и выражений „Слова о полку Игореве“ со времени открытия памятника до наших дней» (стр. 3).

Нуждается в обосновании и выборочный прием привлечения фактов из словарей русского языка и из иноязычных лексиконов. Так, при глаголе *развезать* в переносном значении, *разуметь* в 1-м значении есть ссылки на Словарь Даля, но их нет при глаголах *разлучиться*, *побѣчи*. Отсутствуют сведения из Словаря Даля при словах *поганый*, *ратай*, хотя они едва ли были бы менее необходимыми, чем при слове *рана* в значении «нравственное поражение, причиненная чем скорбь, боль душевная, сердечная» (вып. 5, стр. 14), и ряд др. Сопоставления русск. *вежа* с польск. *wieża*, чеш. *vež* и ссылки на С. Ливде («Słownik języka polskiego», Lwow, 1854—1860) и на «Příruční slovník jazyka českého» (Praha, 1935—1954) оказываются единичными и случайными, так как, например, при *година* нет польск. *godzina*, при *гнездо* — польск. *gniazdo*, при *ратай* — *rataj* («пахарь») и мн. др.

«„Словарь“ стремится открывать новые исследовательские перспективы, а не подытожить старые исследования», — читаем мы в неоднократно цитируемых «Общих положениях» (вып. 1, стр. 3). Точнее было бы сказать, что «Словарь» призван содействовать филологам в открытии ими новых перспектив на путях исследования «Слова о полку Игореве», причем новизна идей и фактов, конечно, выявляется лишь при строгом учете всего ценного, что уже сделано в данной области.

Обращаясь к единичным приемам техники организации словарных статей, можно заметить, что, например, ссылки на польское и чешское соответствие русскому *вежа* как будто уместнее было бы дать не после разновидности второго значения «подвижная башня для штурма города», а после значения *вежа* — «2. Башня» (вып. 1, стр. 94). Не исключена вероятность осмысления слова *ожерелие* в значении «3. Часть одежды, покрывающая плечи, оплечье», а не только как «1. Часть одежды, облегающая горло; воротник» (вып. 4, стр. 25), тем более, что при 3-ем значении есть ссылка на исследование А. В. Арциховского в сопровождении той же цитаты из «Слова», которая приведена для иллюстрации первого значения, но с обстоятельным реальным комментированием: «Круглый или квадратный глубокий вырез ворота обшивался золотом и драгоценными камнями, образовавшими по краю широкую кайму, получившую название „оплечья“ или „ожерелья“» (там же, стр. 26).

Дискуссионным остается вопрос о включении в словарную статью лексических значений и оттенков значений, не отраженных в интересующем нас памятнике и не содействующих интерпретации изучаемого текста. Читатель помнит, что составители не намеревались дублировать «общий словарь древнерусского языка» (вып. 1, стр. 3) и предупреждали о том, что они не приводят материалы, «необходимые для изучения того или иного слова, встретившегося в „Слове о полку Игореве“, с лексикографической точки зрения вообще, вне зависимости от „Слова о полку Игореве“» (там же). Но в таком случае было бы затруднительным обосновать необходимость приводить значение «2. Естественная влага || Сукровица || Моча» при существительном *вода* — «1. Пространство реки, моря, озера», потому что эта информация вряд ли содействует раскрытию семантики слова *вода* в цитируемых фрагментах: «А Игорь князь поскочи горностаемъ къ тростию, и бѣлымъ гоголемъ на воду...»; также «Игорь рече: „О Донче! не мало ти величїя, делѣявшу князя на вльнахъ... стрежаше ё гоголемъ на водѣ, чапцами на струяхъ, чръвядьми на ветрѣхъ“». Или прилагательное-эпитет *буй-буй* в сочетаниях «...буй Рюриче и Давыде!», «...буйго Святславича!», «...буй Романе, и Мстиславе!»

истолковывается как «сильный-ме», «отважный-ме», известные же в языке значения «2. Дерзкий, неистовый, буйный» не были бы решительно противопоказаны осмыслению этого слова в данных конкретных условиях его употребления, чего нельзя сказать о приведенном здесь же значении «4. Глупый» (вып. 1, стр. 75—76). Кажется маловероятной полезность для предстоящего «стилистического анализа памятника» (п. 27 «Общих положений») знания будущими его исследователями значения слова *речь* не только в смысле: «|| Перен. Звуки, издаваемые птицами (...галиции свою рѣчь говоряхуть» (вып. 5, стр. 40) но и «12. Вещь, во мн. ч. — имущество» и «13. Глагол как часть речи» (там же, стр. 44). Быть может, когда-нибудь и возникнет потребность при осмыслении слова *пуцати* [в тексте: «Тогда пуцашеть... соколовъ на стадо лебедѣи...» (вып. 4, стр. 225)] обратиться к значению *пуцати* — «8. Отращивать (о волосах)» (вып. 4, стр. 227), но пока что нелегко представить себе, как такие с первого взгляда избыточные сведения будут служить достижению исследовательских целей, поставленных перед «Словарем-справочником». Сомнения не возникали бы, если бы предлагаемые факты лексики позволяли судить о выборе и предпочтении из синонимического ряда одних средств выражения другим или если бы они (факты лексики) позволяли «установить, пользуется ли автор по преимуществу основными значениями слова или вторичными, отвлеченными или конкретными и т. п.» (вып. 1, п. 27 «Общих положений»). Сложность поставленной проблемы состоит в том, что одно фонетическое слово могло обозначать несколько разных денотатов при развитом полисемантизме, присущем лексике в древний период истории языка, вследствие чего филиация значений слов установима лишь путем дополнительных и специальных разысканий, во многом уже проведенных составителями Словаря русского языка XI—XVII вв. Конечно, «невозможно заранее предусмотреть — что именно понадобится будущему исследователю „Слова“» (п. 27 «Общих положений»). И филологи с благодарностью примут этот монументальный лексикографический труд. Что же касается кажущейся избыточности представленного в нем материала, то обилие фактов исследователи всегда предпочтут их недостатку.

В заключение этой полемической части нашей статьи остановимся еще на одном вопросе, также допускающем различные трактовки. Например, явлениями о р ф о г р а ф и и составители «Словаря-справочника» отнесли написание *ишио*, которое может быть интерпретировано всего лишь как фонетическая передача диалектного произношения *ш* долгого твердого (там же, п. 39). Хотя об орфографии применительно к памятникам древней литературы говорят многие филологи¹², но думается, что более прочную позицию занимают ученые, по мнению которых в эпоху средневековья грамотность сводилась к знанию алфавита и к владению техникой письма, а кодекс правил написания (собственно орфография) складывался позднее — тогда, когда началось формирование общелитературного языка, т. е. в национальный период истории народа.

Типологическая группировка словарей, различение их видов требует учета не только отличий, характеризующих каждый данный лексикографический труд, но и включенности одинаковых компонентов в разные

¹² См., в частности, об орфографии псковских рукописей XIV—XVI вв.: Н. М. Каринский, Мусия-Пушкинская рукопись Слова о полку Игореве как памятник псковской письменности XV—XVI вв., ЖМНП, Новая серия, LXVI, 1916, декабрь, ср. также: L. Melleiro, Lexique de Ronsard précédé d'une étude sur son vocabulaire, son orthographe et sa syntaxe, Paris, 1895; но ср. высказывания Д. С. Лихачева о «фонетическом приеме письма в Древней Руси» в его кн.: «Слово о полку Игореве» и культура его времени, Л., 1978, стр. 247; однако здесь же признается существование «орфографических норм XII—XVI вв.» (там же, стр. 245).

лексиконы. Черты конвергентные могут быть представлены в значительном количестве, что несколько сглаживает границы между «жанрово-лексикографическими формами». Попытки же установить в пределах типов словарей их разновидности будут успешными лишь при учете градации их общих элементов. Более простой оказывается типовая группировка словарей, предложенная Л. В. Щербой в «Опыте общей теории лексикографии» и основанная на «ряде теоретических противопоставлений», которые в сущности сводятся к постулированию бинарно-опозиционных отношений между словарными типами. Исторические словари противопоставляются неисторическим, толковые — переводным, «обычные» — идеологическим, тезаурусы — обычным, общие — энциклопедическим, академические противопоставляются словарям-справочникам¹³. Но оппозиционные отношения не исключают наличия некоторых общих черт, прежде всего — наличия адресованной читателям справочной информации. Вот почему, как уже было сказано, сами по себе названия «Словарь-справочник», «Словарь-комментарий» немного дают для характеристики их жанровой специфики хотя бы по той причине, что комментарии также входят в «справочный аппарат», к которому обращаются за ответом на неясные вопросы.

Жанровое своеобразие лексиконов как своего рода справочных пособий создается, в частности, и содержанием включаемых в них комментариев. К ним допустимо причислять также цитаты из текстов, привлекаемые для уяснения смысла слов в актах их употребления.

Между прочим, синтаксическая законченность цитируемых сегментов текста в принципе не всегда обеспечивает полноту показа значения и употребления слова (см. вып. 1, п. 14 «Общих положений»), так как может возникнуть потребность обращаться к сверхфазовому единству. Например, в «Словаре-справочнике „Слова о полку Игореве“» существенное *вѣтръ* сопровождается, в частности, такой иллюстрацией: «А ты, буи Романе, и Мстиславе! храбрая мысль носить ваю умъ на дѣло. Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяеши, хотя птицю въ буиствѣ одолѣти». Текст этот, выходящий за пределы одного предложения, демонстрирует образность художественного высказывания, в котором слово *вѣтръ* выступает одним из конструктивных микрокомпонентов, что прежде всего служит целям литературоведческой характеристики.

Частичное сходство «Словаря-справочника» с лексиконами «одножанровыми» и более или менее простыми по их жанровым признакам установимо лишь путем выделения отдельных конструктивных элементов из целого их комплекса, составляющего сложную структуру рассматриваемого словарного пособия (п. 3 «Общих положений»).

Хотя «слов, требующих реального комментария», оказывается сравнительно немного в памятнике, который подвергся лексикографической обработке, вследствие чего реальные комментарии занимают в «Словаре» относительно мало места (п. 36 «Общих положений»), однако именно этот материал вместе с результатами многосторонней лингвистической экспертизы единиц текста весьма активно участвует в создании жанровой специфики данного справочно-лексикографического труда.

Лингвистическая информация, номинальные определения, охватывающие лексическую семантику, соединяются в «Словаре-справочнике» с реальными определениями, обращенными к денотатам, к предметам неязыковой действительности, о которых идет речь, а приемы методики и техники, принятые в лингвистических словарях, контактируют с прин-

¹³ Л. В. Щ е р б а, указ. соч.

типами построения, применяемыми в словарях энциклопедических. Реальные комментарии нередко оформляются как цитаты из ряда исследований по древнерусской истории, культуре и быту. Филолог-специалист и рядовой читатель получают критически проверенные сведения о древнерусских городах (М. Н. Тихомиров) и собственных именах (Н. М. Тупиков), включая географические названия, об оружии (М. М. Денисова, М. Э. Портнов, Е. Н. Денисов) и ремеслах (Б. А. Рыбаков), о черной металлургии и металлообработке в Древней Руси (Б. А. Колчин), о бытовавших в России тканях (В. Клейн) и одежде (А. В. Арциховский), о старинных знаменах (Л. Яковлев), музыкальных инструментах (Н. Ф. Финдейзен), славянской мифологии (Н. Костомаров) и др. В словарные статьи вошли многие идеи и факты, отобранные из работ Д. С. Лихачева по древнерусской литературе и прежде всего — из его исследований «Слова»¹⁴. Реальные комментарии к «Слову о полку Игореве» Н. В. Шарлеманя также стали частью словарной композиции. Эти и некоторые другие черты сближают «Словарь-справочник» с энциклопедиями, посвященными тому или иному писателю¹⁵, не столько по приемам подачи материала¹⁶, сколько по лингвистической информации.

К другому виду комментирования отнесем истолкования значений слов и фразеологизмов, характеристики словоформ с помощью грамматических ремарок. А сведения по этимологии иноязычной лексики оказываются уместными и полезными в той мере, в какой этимологическое значение слова может способствовать уяснению его реального (актуального) значения. Обращаясь к богатой истории лексикографии, заметим, что есть словари языка литературных произведений с настолько обширным этимологическим материалом, что он придает словарному труду черты жанровой специфики¹⁷ и отражается на его композиции. Например, словарь П. Фишера «Goethe Wortschatz...» состоит из двух частей — исконной лексики («Deutsches Wörterbuch») и иноязычных по происхождению слов («Fremdwörterbuch») ¹⁸.

Обстоятельные истолкования даны словам и фразеологизмам, «более всего затруднительным исследователю „Слова“» (п. 8 «Общих положений»), причем излагаются идеи разных ученых-филологов по поводу «темных мест» в этом памятнике и в связи с теми его элементами, которые допускают различные трактовки. Рассмотрены и некоторые случаи написания слов с вероятным отражением особенностей местного диалекта, как в слове *пардушъ*, при котором цитируется следующее высказывание А. С. Орлова: «„Пардушъ“ — правильное производство от „пардусъ“, и в „Слове о полку Игореве“ ожидалось бы чтение „пардусе гнездо“ (поправка Потебни). Возможно видеть здесь псковскую шепелявость („въжнещение“, псковская запись XIV в.), в результате чего произошло и смешение на письме *ш* и *ж*» (вып. 4, стр. 56). Не была бы излишней и ссылка на Н. М. Каринского, который в статье «Мусин-Пуш-

¹⁴ См.: «Библиография работ Д. С. Лихачева по „Слову о полку Игореве“», в кн.: Д. С. Лихачев, «Слово о полку Игореве» и культура его времени, Л., 1978.

¹⁵ L. Hayward, The Dickens encyclopaedia. An alphabetical dictionary, London, 1924; G. A. Scartazzini, Enciclopedia dantesca. Dizionario critico e ragionato di quanto concerne la vita e le opere di Dante Alighieri, 1—3, Milano, 1896—1905; «Enciclopedia dantesca», Roma, 1970—1976.

¹⁶ В энциклопедиях приняты не цитаты из научных трудов, а сводки знаний о предметах, явлениях, которые получают определенные названия.

¹⁷ E. Ekwall, Shakespeare's vocabulary, its etymological elements, Upsala, 1903; а также: H. B. Richardson, An etymological vocabulary to the «Libro de buen amor» of Juan Ruiz, arcipreste de Hita, New Haven — London, 1930.

¹⁸ P. Fischer, Goethe Wortschatz. Ein sprachgeschichtliches Wörterbuch zu Goethes sämtlichen Werken, Leipzig, 1929.

кинская рукопись „Слова о полку Игореве“ как памятник псковской письменности XV—XVI вв.» отметил это же явление в ряду других показателей псковского происхождения «рукописи».

Реконструкция значений слов и фразеологических единиц, являющаяся результатом тщательной экспертизы, направлена на то, чтобы исключить семантическую модернизацию старинного текста. Это должно обеспечить точное его интерпретирование, так как литературно-художественный памятник, написанный в отдаленном прошлом, с течением времени становится недоступным для непосредственного восприятия («ein verschlossenes Buch») вследствие сдвигов в языке и проецирования произведения словесного искусства в иные условия культурно-исторической действительности. Так возникает острая необходимость в пояснительном словаре («ein erläuterndes Wörterbuch») ¹⁹. И «Словарь-справочник» В. Л. Виноградовой с не меньшим основанием, чем, например, «Словарь языка Пушкина», может быть назван «ключом к правильному пониманию текста» ²⁰.

Примеры функционирования лексем в разных контекстах не могут подменять собой истолкование значения лексемы и смыслов, которые она получает в актах манифестирования. Лексикографы, вероятно, с недоверием отнесутся к идее Шмидта, признававшего, что было бы наиболее разумным и естественным (*rationel and naturel*) обходиться по возможности без толкований слов, предоставив комментирующую роль хорошо подобранным фрагментам текста, чтобы «материал говорил сам за себя» ²¹.

Напрасно было бы отрицать причастность «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“» к трудам с исторической ориентацией хотя бы в той мере, в какой данный лексикон, не дублируя материалы Словаря русского языка XI—XVII вв., отражает состояние языка, его формы стилистики и поэтики, бытовавшие в далеком прошлом. Закономерно возникает ассоциация со словарями историческими не потому, что в рассматриваемом лексикографическом труде отражена динамика форм языкового выражения, а хотя бы только потому, что он экспонирует лексику и фразеологию древнего литературного памятника. Составление таких словарей издавна признавалось актуальной задачей ²² лингвистики. Отмечалась и большая их роль как средства, содействующего разработке истории языка («...pour l'histoire chronologique de la langue...») ²³.

Принимая предупреждение о том, что «Словарь-справочник» «ни в коем случае не может служить образцом для составления словарей произведений и писателей...» (вып. 1, п. 3 «Общих положений»), историк лексикографии не без серьезных колебаний сможет присоединиться к мнению, согласно которому данный лексикон не представляет собою «тип словаря произведения или писателя» (там же). Против такой характеристики свидетельствует сам факт лексикографической разработки словесного

¹⁹ «Schiller Lexikon. Erläuterndes Wörterbuch zu Schillers Dichterwerke», I—II, Berlin, 1869; J. Foster, A Shakespeare wordbook, being a glossary of archaic forms and varied usages of words employed by Shakespeare, London, 1909.

²⁰ См. Предисловие к «Словарю языка Пушкина», I, М., 1956, стр. 6; G. A. Pierce, The Dickens dictionary. A key to the plots and characters in the tales of Charles Dickens, New York, 1965.

²¹ A. Schmidt, Shakespeare Lexikon. A complete dictionary, I—II, Berlin — London, 1886.

²² Е. Ф. Будде, Опыт грамматики языка А. С. Пушкина, I, СПб., 1901 (Предисловие, стр. IX).

²³ См.: H. de Regnier, Lexique de la langue de La Rochefoucauld avec une introduction grammaticale, Paris, 1883.

репертуара одного произведения, что и отражено в названии «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“», хотя по ряду других признаков он отличается от лексиконов, которые охватывают все произведения того или иного автора, и от словарей, показывающих языковой материал одного литературно-художественного текста ²⁴.

По наличию собственных имен и географических названий в составе вокабул наш лексикон можно сблизить со словарями, в которых представлен аналогичный материал ²⁵. Утверждают, что собственные имена персонажей литературных произведений должны занять законное место в лексиконе как справочном пособии: известны случаи, когда сами писатели забывали имена созданных ими героев, и это позволяет предполагать, что справки об именах действующих лиц способны удовлетворить потребность также и читательской аудитории ²⁶. Такой лексический материал в составе словаря, как полагают, призван служить «популяризации произведений писателя», содействовать пониманию их «в самой широкой читательской среде» ²⁷. Однако не нужно доказывать, что словари такого типа никогда не были жанром массовой литературы, вследствие чего их «популяризаторскую» роль нельзя преувеличивать.

Когда обсуждался проект «Словаря языка Пушкина», В. Томашевский настаивал на том, чтобы незамедлительно началось составление словарей других поэтов и писателей — предшественников Пушкина, его современников и наследников. Необходимость такой обширной лексикографической деятельности мотивировалась тем, что «изолированный словарь» не позволяет давать оценки и делать сравнительные характеристики, без которых научный труд не будет иметь своего полного значения ²⁸.

Это методологическое требование отчасти реализовано в «Словаре-справочнике „Слова о полку Игореве“». Здесь подобраны многочисленные параллели-цитаты из памятников, близких к «Слову» в жанровом и хронологическом отношении, прежде всего — из светских, литературных, а во вторую очередь — из церковных, «нелитературных». Так создается возможность рассматривать компоненты текста изучаемого произведения древнерусской литературы в перспективе современной для него языковой действительности и более широко — в проекции на стилистический и поэтический опыт, сложившийся в литературной практике донационального периода.

По признаку цитирования текстов, привлекаемых для сравнения, сопоставления и включенных в состав словарной статьи, наш лексикон несколько напоминает «Словарь языка Мольера в сопоставлении с языком

²⁴ Ср. В. Чистяков, Словарь комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова, Смоленск, 1939; Fr. Strehlke, Wörterbuch zu Goethe's Faust, Stuttgart [u. a.], 1891; E. Merker, Wörterbuch zu Goethe's Werther, Berlin, 1958; M. Fuchs, Lexique du Journal de Goncourt. Contribution à l'histoire de la langue française pendant la 2-de moitié du XIX siècle, Paris, 1912; J. Neudorff-Fürstenau, Wörterbuch zu Goethes «Götz von Berlichingen», Lfg. 1—2, Berlin, 1958—1963; см. также словарь «Les grands écrivains de la France», опубликованные в разные годы издательством Hachette (Paris).

²⁵ См.: P. Tombee, A dictionary of proper names and notable matters in the works of Dante, Oxford, 1898; F. G. Stockes, A dictionary of the characters and proper names in the works of Shakespeare..., London, 1924. Этот литературоведческий словарь является дополнением лингвистического словаря языка Шекспира, составленного Шмидтом (A. Schmidt, указ. соч.). Имена собственные в композиции словаря литературных произведений иногда составляют особый раздел (см. «Словарь автобиографической трилогии М. Горького. Имена собственные», Л., 1975).

²⁶ С. L. Broad, указ. соч.

²⁷ Ср. также: G. A. Pierce, указ. соч.

²⁸ См.: «Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения», Л., 1925, стр. 87.

писателей его времени...»²⁹. Его составитель также применял метод сравнений, сопровождая факты языка писателя аналогичным материалом, извлеченным из текстов современных для него авторов, прежде всего драматургов — П. Корнеля, Л. Расина, Ф. Кино (F. Quinault), Ф. Пуассона, Э. Бурсо и др. Не были обойдены и произведения поэтов, историков, публицистов (М. Л. Сент-Аман, Ж. Б. Боссюэ и др.). Использованы и словари французского языка, начиная с 1530 г. до конца XVII в., что также сближает этот лексикон со «Словарем-справочником „Слова о полку Игореве“»: и здесь в словарные статьи включены некоторые критические проверенные сведения из лексикографических работ других ученых (Срезневского, Востокова, Тимченко, Миклошича, Гринченко и ряда др.)³⁰.

«Если правильно судить о вещах, — писал А. Франс, — то словарь — это книга по преимуществу. Все другие книги заключены в ней: нужно лишь их оттуда извлечь»³¹. Но такая характеристика лексиконов приложима только к тезаурусу, включающему в себя все, что когда-либо было в речевом обиходе — устной практике и в письменной литературе». Филолог же, изучающий древний литературный памятник, не сможет удовлетвориться подготовительной работой, какой является словарь одного произведения литературы, даже если в нем предлагается весьма обстоятельная информация о семантике слов и устойчивых словосочетаний, о стилистических приемах и поэтических формах, об обширном комплексе фактов истории, этнографии, о литературной деятельности в тот исторический период, с которым связан исследуемый объект.

Роль словаря как орудия или инструмента, с помощью которого создаются научные исследования, бывает различной в зависимости от целей, которые заставляют ученых обращаться к лексикографическим источникам. Роль эта весьма велика, если словарь языка писателей и поэтов служит для разработки исторической лексикологии, истории литературного языка, истории языка художественной литературы. Значительно меньшую роль играют словари как источники многостороннего (комплексно-филологического) исследования произведения литературного искусства: сегментация текста, неизбежная в лексиконе, не позволяет филологу раскрывать глубинные, подтекстовые смыслы, заложенные в произведении литературы и являющиеся функцией текста. Возникает потребность в непосредственном обращении к эстетическому объекту *in corpore*. Перед филологом, не соблюдающим это методическое требование, возникнут едва ли преодолимые препятствия на пути познания «идейного содержания» и жанровой формы «Слова о полку Игореве» (п. 1 «Общих положений»).

Сложность структуры «Словаря-справочника», разнородность включенного в него материала есть прямое следствие «специфических трудностей изучения „Слова о полку Игореве“: отсутствия рукописей „Слова“, краткости его текста, обилия в нем „темных мест“, особого положения самого памятника среди других литературных произведений древней Руси, обилия необоснованных толкований в литературе о „Слове“ и т. д.» (там же, п. 3). Следовательно, объект, подвергшийся лексикографической обработке, предопределил собой жанровые особенности лексикона, его

²⁹ C h. -L. L i v e t, *Lexique de la langue de Molière comparée à celle des écrivains de son temps avec des commentaires de philologie historique et grammaticale*, I—III, Paris, 1895—1897.

³⁰ Тенденция к рассмотрению языка писателя в перспективе современной для него литературной речи заметна и в «*Lexique de la langue de La Rochefaucauld*», а также: M. C h. M a r t y - L a v e a u, *Lexique de la langue de Racine avec une introduction grammaticale*, Paris, 1889.

³¹ А. Ф р а н с, *Книги и люди*, М.—Л., 1923, стр. 67—68.

содержание, набор привлекаемых фактов, способствующих решению проблем, которые продолжают стоять перед исследователями данного литературного произведения. Жанрово-лексикографическая форма этого труда нетрадиционна. Анализ же его содержания убеждает, что составитель соблюдал требование, которое давно выдвигал Х. Касарес, предлагавший лексикографам «отрешиться от личных вкусов и предрассудков», препятствующих «беспристрастному, строгому и тщательному определению... лексических фактов»³².

По оригинальности исполнения, богатству и разнообразию сведений, способствующих истолкованию и пониманию древнего литературного памятника, «Словарь-справочник» В. Л. Виноградовой займет особое и весьма почетное место в отечественной лексикографии.

³² Х. К а с а р е с, Введение в современную лексикографию, М., 1958, стр. 160.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МАЛКОВА О. В.

ИМЕЛО ЛИ МЕСТО ВТОРИЧНОЕ СМЯГЧЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ПЕРЕД [е], [и] В ДИАЛЕКТАХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА?

К числу наиболее характерных особенностей современного украинского языка, выделяющих его из среды близкородственных восточнославянских языков, принадлежит своеобразное явление из области фонетики, называемое украинской диспалатализацией (депалатализацией) согласных. Речь идет о твердом произношении простых (не удвоенных)

согласных перед [е], [и]: [бер^иг], [весел^ио], [деп'л], [тонк^ие], [дим], [книжк^иа], [сито], [риб^иа], [сил^иа], [кисл^ио] ¹. Твердым произношением согласных перед [е], [и] украинский язык отличается и от соседнего с ним польского языка. Вне пределов восточнославянской языковой территории твердое произношение согласных перед этими гласными наблюдается в южнославянских и западнославянских языках, однако ни в одном из них оно не проведено столь последовательно, как в украинском. В украинском языке оно наблюдается почти регулярно в позиции перед [е], [и] и имеет место на всей украинской языковой территории, за исключением периферийных, пограничных диалектов.

В науке не установлено, когда возникло твердое произношение согласных перед [е], [и] в украинских диалектах, не определено и содержание процессов, приведших к существующему языковому состоянию. В том числе не известна иерархия и взаимная связь этих процессов, в частности, существовала ли связь между процессами диспалатализации согласных перед [е] и перед [и], или это были самостоятельные явления, обусловленные различными причинами и протекавшие не одновременно; явилось ли совпадение [и] и [ы] результатом диспалатализации предшествующих согласных, или наоборот, совпадение [и] и [ы] предшествовало диспалатализации согласных. Существует две традиции в понимании основных фаз развития твердости согласных перед [е] и перед [и] в украинских диалек-

¹ В примерах воспроизводится транскрипция источника, из которого они заимствованы (знак ударения опущен): М. А. Ж о в т о б р ю х, Б. М. К у л и я, Курс сучасної української літературної мови, І, Київ, 1972, стр. 115, 130. В дальнейшем изложении знаки [і], [и], [ы] имеют следующее значение: если речь идет о звуках восточнославянского языка-основы и древнерусского языка начала исторического периода, знаки [и], [ы] обозначают (соответственно) рефлексy общеславянских [и], [ы] (то есть буквы имеют то звуковое значение, которое они имели в древнерусском письме); если речь идет о звуках современного украинского языка, [і] обозначает звук переднего ряда верхнего подъема — украинский рефлекс общеславянских [ѣ] и [ē] (в новых закрытых слогах), [и] обозначает украинский рефлекс общеславянских [и], [ы] — звук, артикуляционная характеристика которого у различных исследователей различна (то есть буквы і, и имеют в этом случае то звуковое значение, которое они имеют в украинской графике).

тах. Согласно одной из них, все древнерусские диалекты, и украинские в том числе, пережили вторичное смягчение согласных (смягчение общеславянских полумягких согласных до полной мягкости перед гласными переднего ряда), но позднее мягкость согласных перед [ѣ], [и] в украинских диалектах была утрачена. При этом полагают, что диспалатализация согласных в украинских диалектах развивалась одновременно перед [ѣ] и перед [и]. Согласно другой традиции, в украинских диалектах, как и в позднем общеславянском языке, согласные перед гласными переднего ряда имели слабую приспособительную артикуляцию (позиционную минимальную полумягкость), которая перед [ѣ] и перед [и] была позднее утрачена, в то время как перед другими гласными переднего ряда полумягкость согласных преобразовалась в полную мягкость. Так как полумягкие согласные в позднем общеславянском языке были позиционными вариантами твердых, сторонники данной гипотезы рассматривают твердое произношение согласных перед [ѣ], [и] как древнее явление, унаследованное украинским языком от общеславянской эпохи.

Поскольку известные науке факты допускают столь различное освещение, очевидно, что фактическая база для решения проблемы является недостаточной. При ознакомлении с состоянием проблемы обращает на себя внимание прежде всего то, что, пытаясь определить твердость и мягкость согласных перед гласными в предшествующие исторические эпохи, исследователи опирались почти исключительно на языковые явления, которые дают в распоряжение ученого говоры современных восточнославянских языков, и не учитывали орфографию памятников письменности. Такое положение не случайно: среди историков восточнославянских языков существует мнение, что древнерусская орфография не отражает процесса смягчения или отверждения согласных перед гласными, что решение данной проблемы бесполезно искать в памятниках письменности². Поэтому в литературе имеются лишь скудные сведения об отражении твердости и мягкости согласных перед гласными в орфографии древнерусских памятников.

Автор считает изложенное мнение ошибочным. Твердость и мягкость согласных перед гласными можно достаточно надежно определять по отражению в рукописях ассимиляционного смягчения и отверждения в предшествующих им группах согласных. Можно смело утверждать, что в говоре писца согласные перед гласными переднего ряда (в том числе перед [ѣ], [и]) были мягкими, если писец в предшествующих им группах согласных пишет букву ъ, а в группах согласных, за которыми следовали гласные заднего ряда, пишет букву ѣ, например, *шестьи* 121г — *каѣ/вы* 85в-г, *пѣсомъ* 65а — *пѣси* 65а, *ѡверъзи* 66а, *ѡверъзе* — *ѡверъзѣи* 121а (примеры извлечены из рукописи, о которой будет сказано ниже). Правильность интерпретации можно контролировать следующим образом: отдельно учитываются случаи, когда перед гласными переднего ряда находились исконно смягченные согласные, и случаи, когда перед ними находились согласные, восходившие к общеславянским полумягким согласным. Если ассимиляционное воздействие тех и других на предшествующие согласные одинаково, можно думать, что по признаку мягкости в говоре писца не различались согласные, восходившие к общеславянским мягким и полумягким: *прѣдъ ними* 21г, *прѣдъ лицемъ* 35а ([н] — согласный искон-

² См., например: О. Н. Синявский, *Фонетична контрoверса, «Записки исторично-філологічного відділу УАН», XIII—XIV, Київ, 1927, стр. 275; T. L e h g-S p i a w i ń s k i, Stosunki pokrewieństwa języków ruskich, «Studia i szkice wybrane», Warszawa, 1957, стр. 291; О. П. Безпалько, М. К. Бойчук, М. А. Жовтобрюх, С. П. Самійленко, І. Й. Тараненко, *Історична граматика української мови, Київ, 1962, стр. 170.**

но смягченный, а [л] — согласный вторичного смягчения). Случаи не соответствующего этимологии употребления букв ъ и ь (вставка ъ, ь в исконные группы согласных, смещение их на месте слабых редуцированных) и ранее разрозненно приводились историками восточнославянских языков при характеристике твердости и мягкости в группах согласных, но древнерусские рукописи не подвергались целенаправленному и систематическому изучению с точки зрения отражения в них твердости и мягкости согласных перед гласными.

Попытаемся определить твердость и мягкость согласных перед гласными в одном из южных диалектов древнерусского языка второй половины XIII в. Автор статьи опирается на материал, извлеченный из Галицкого евангелия 1266—1301 гг. (ГПБ, Ф. п. I. 64), созданного на украинской языковой территории³. С этой целью анализируются орфографические явления трех типов: вставка букв ъ и ь в исконные группы согласных (тип *шестьи*), не оправданное этимологией употребление букв ъ и ь в новых группах согласных, возникших после падения редуцированных (тип *пъсомъ — пьси*), употребление букв ъ и ь после *р* в сочетаниях типа **tort* (тип *тверъзи — ѡверъзи*). Правильное, соответствующее этимологии употребление букв ъ и ь не используется, поскольку убедительная интерпретация этих примеров может быть дана лишь на фоне общих норм употребления букв ъ и ь в рукописи (наличие ъ или ь может быть обусловлено орфографической традицией или быть следствием сохранения редуцированных в говоре писца).

Прежде чем обратиться к анализу фактического материала, рассмотрим содержание проблемы подробнее. По мнению большинства славистов, современное состояние категории твердости и мягкости согласных в славянских языках лучше всего объясняется, если исходить из того, что в позднем общеславянском языке на фонетическом уровне по признаку твердости и мягкости выделялись четыре группы согласных: 1) согласные, которые были только твердыми — [t], [k], [x]. Они встречались только перед гласными заднего ряда, так как перед гласными переднего ряда в предшествующие эпохи пережили переходное смягчение в шипящие и свистящие; 2) согласные, которые были только мягкими — [j], шипящие и аффрикаты, возникшие в результате переходного смягчения заднеязычных, а также и переднеязычных в сочетаниях с [j]; 3) согласные, которые были твердыми и полумягкими — [b], [ɲ], [m], [v], [d], [t]. Перед гласными переднего ряда они имели слабую приспособительную артикуляцию, произносились полумягко, но смягчение было минимальным; 4) согласные, которые были твердыми, полумягкими и мягкими — [p], [l], [n], [z], [c]. Полумягкими перечисленные согласные были в положении перед гласными переднего ряда. Мягкие согласные [p], [l], [n] возникли из соответствующих твердых в сочетаниях с [j], а мягкие [z], [c] появились в результате второй и третьей палатализаций заднеязычных. Бесспорные факты относительно существования двух степеней мягкости согласных (полумягкость и полная мягкость) в общеславянском языке имеются для [ɲ] и [l]: в сербском языке твердый и полумягкий типы дали один рефлекс — твердый согласный, в русском и польском языках один рефлекс имеют мягкий и полумягкий типы⁴.

³ В рукописи наблюдается новый ѣ галицко-волынского типа (употребление ѣ на месте общеславянского [e] в слове, за которым следовал слабый редуцированный [ь]), а также ряд других особенностей, характерных для памятников, написанных на украинской языковой территории. См.: А. И. Соболевский, Очерки из истории русского языка, Киев, 1884, стр. 20—26; І. С в я ц і ц к и й, Нариси з історії української мови, Львів, 1920, стр. 41, 45—46.

⁴ А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 71—72.

Противопоставленность согласных по твердости и мягкости в позднем общеславянском языке была узкой. Имелось только пять пар твердых и мягких согласных. Мягкие согласные употреблялись сравнительно редко. Они появлялись преимущественно на стыках корня (основы) и суффикса (окончания). Весьма важное отличие от современных восточнославянских языков заключалось в том, что твердость и мягкость согласного в корне или основе была его постоянным качеством: внутри морфем отсутствовало чередование твердых и мягких согласных (ср. *вода* — *воде*, *гора* — *горе*). Согласные, которые были мягкими в общеславянском языке, называют исконно смягченными.

Восточнославянский язык-основа унаследовал от позднего общеславянского языка перечисленные четыре группы согласных. В восточнославянском языке-основе исконно смягченные согласные употреблялись перед гласными [и], [е], [ѣ], [ѣ], [ѣ], [а], [у], [о], не употреблялись перед [ѣ], [ы], [о]. Группы согласных были немногочисленны. Единого мнения о реализации твердости и мягкости согласных перед согласными в восточнославянском языке-основе не выработано⁵. В тех диалектах древнерусского языка, которые позднее вошли в состав русского языка, произошло функциональное отождествление полумягких согласных с исконно смягченными (вторичное смягчение согласных). В результате вторичного смягчения согласных появились мягкие согласные [б], [п], [м], [в], [д], [т], увеличилось количество словоформ, где употреблялись мягкие согласные [р], [л], [н], [з], [с]. В результате вторичного смягчения согласных возникло чередование твердых и мягких согласных в одной и той же морфеме.

Развитие вторичного смягчения согласных в диалектах южной зоны древнерусского языка представляет серьезные трудности для историков восточнославянских языков. Впервые этот вопрос обстоятельно был исследован А. А. Шахматовым в начале века. На протяжении своей научной деятельности он неоднократно возвращался к нему⁶. Разработанная им гипотеза до сих пор является отправной точкой для тех, кто изучает данную проблему. А. А. Шахматов считал, что вторичное смягчение согласных перед гласными переднего ряда произошло в восточнославянском языке-основе в доисторическую эпоху, охватило все восточнославянские диалекты, но позднее южными диалектами мягкость согласных перед [е], [и] была утрачена. В пользу изложенной гипотезы А. А. Шахматов привел ряд доказательств, которые в дальнейшем оспаривались, но единой точки зрения выработать не удалось. С точкой зрения А. А. Шахматова в существенных моментах совпали точки зрения А. Е. Крымского, Н. Н. Дурново, Т. Лер-Сплавинского, Л. Э. Калынынь, С. Б. Беринштейна, В. В. Иванова и ряда других ученых⁷.

⁵ Подробно вопросы, связанные с развитием категории твердости и мягкости согласных в славянских языках, рассматриваются в работах: Л. Э. Калынынь, Развитие категории твердости и мягкости согласных в русском языке, «Уч. зап. Ин-та славяноведения», XIII, М., 1956; е е ж е, Корреляция твердых и мягких согласных фонем в украинском языке, «Уч. зап. Ин-та славяноведения», XXIII, М., 1962; е е ж е, Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках, М., 1961; В. В. Иванов, Историческая грамматика русского языка, М., 1964.

⁶ А. А. Schachmatov, Wie im Kleinrussischen die Palatalisation der Consonanten vor e und i verloren ging, AfslPh, XXV, 2, Berlin, 1903, стр. 223; А. А. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского языка, «Энциклопедия славянской филологии», 11, Пг., 1915, стр. 125—127; е г о ж е, Краткий очерк истории малорусского (украинского) языка, в кн.: «Украинский народ в его прошлом и настоящем», II, Пг., 1916, стр. 693.

⁷ А. Е. Крымский, Украинская грамматика, I, 1, М., 1907, стр. 192; Н. Н. Дурново, Очерк истории русского языка, М.—Л., 1924, стр. 144; Т. Lehr-Splawinski, указ. соч., стр. 291—293; С. Б. Беринштейн, Очерк сравнительной грамматики славянских языков, М., 1961, стр. 238—241; В. В. Иванов, указ. соч., стр. 171 и сл.

Многочисленных сторонников имеет и другая гипотеза, по которой согласные перед [e], [i] в большинстве украинских диалектов никогда не были мягкими. Сторонники этой гипотезы подчеркивали, что твердость согласных перед [e], [i] в украинском языке легче объяснить, если отправным пунктом диспалатализации согласных считать общеславянские полумягкие согласные; трудно объяснить сначала общее смягчение согласных, затем их отверждение перед [e], [i] в сравнительно короткий срок. Эту гипотезу признавали и развивали В. А. Богородицкий, Ф. П. Филин, М. А. Жовтобрюх и многие другие исследователи⁸. В рамках этой традиции выделяется точка зрения Ф. П. Филина⁹ обстоятельностью изложения и широтой постановки проблемы. По мнению Ф. П. Филина, в различных славянских диалектных зонах рано началось сближение гласных [ы] — [и], [ь] — [ѣ] в сторону одного «среднего» гласного. Это имело место в южнославянской диалектной зоне, в чешском и словацком языках. Этот процесс охватил и южные диалекты древнерусского языка. Широкое распространение совпадения [ы] и [и] свидетельствует, по мнению Ф. П. Филина, о древности этого явления. Позднее на юге восточнославянской диалектной территории это изменение совместились с отверждением гласных перед [e], [i]. Тенденция к совпадению [ы] и [и], по-видимому, способствовала отверждению согласных перед [e], [i]. Процесс протекал длительно, приблизительно в XI—XIII вв. Есть основания полагать, что правы сторонники обеих гипотез, справедливых для двух различных групп говоров южной зоны древнерусского языка.

В ходе дискуссии обсуждались следующие явления из области истории украинского языка и других восточнославянских языков.

1. Во всех восточнославянских языках, в том числе и в украинском, перед [a] — рефлексом общеславянского [ę] — существуют или существовали мягкие согласные, например, [t'ажко], [м'ясо]. Некогда имевшая место мягкость губных перед [ę] оставила след в украинском языке в виде самостоятельной артикуляции: после губных представлены [j], [н'] или [л'], например, [mjасo], [mn'асo], [здоровл'а]. А. А. Шахматов видел в этом факте доказательство того, что вторичное смягчение согласных произошло раньше, чем [ę] изменился в [a], иначе бы полумягкость согласного перед [a] была утрачена. Проявление носовых произошло в доисторическую эпоху, поэтому к доисторической эпохе А. А. Шахматов относил и вто-

⁸ В. А. Богородицкий, *Общий курс русской грамматики*, М. — Л., 1935, стр. 287—288; О. Н. Савченко, *Деякі звукові особливості староруських діалектів*, «Українська мова в школі», 1954, 6, стр. 15—16; М. Ф. Накопечний, *До вивчення процесу становлення й розвитку фонетичної системи української мови*, «Питання історичного розвитку української мови», Харків, 1962, стр. 135—144; Ф. П. Медведєв, *Нариси з української історичної граматики*, Харків, 1964, стр. 102—104; W. K u g a z k i e w i c z, *Ukraińska dyspalatalizacja w gwarach podlaskich*, «Z polskich studiów slawistycznych», 2 — Językoznawstwo, Warszawa, 1963, стр. 23—37; М. А. Жовтобрюх, *Диспалатализация согласных перед [e], [i] в украинском языке*, в сб.: «Вопросы филологии», М., 1974, стр. 22—30.

⁹ Ф. П. Филин, *Происхождение русского, украинского и белорусского языков*, Л., 1972, стр. 178—184, 307—312. Здесь имеется достаточно полная библиография работ по данной проблеме. См. также: Л. Э. Каминьш, *Корреляция твердых и мягких согласных фонем в украинском языке*, стр. 64; М. А. Жовтобрюх, *указ. соч.*, стр. 22—23; О. Н. Сидявский, *указ. соч.*, стр. 264—276. Библиографические сведения, а также характеристику рефлексов по диалектам украинского языка и в других славянских языках см. в работах: А. М. Залеский, *Про конвергенцію давніх *ы, *і в південно-західних говорах української мови*, «Праці XIII республіканської діалектологічної наради», Київ, 1970; P. Z w o ł i Ń s k i, *Stosunek fonemu y do i w historii języków słowiańskich*, «Z polskich studiów slawistycznych. Prace językownawcze i etnogenetyczne na IV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie. 1958», Warszawa, 1958; Z. S t i e b e r, *Jak brzmiało prasłowiańskie *y?*, «Z polskich studiów slawistycznych», 2 — Językoznawstwo, Warszawa, 1963; A. Z a r ę b a, *O tylnej artykulacji y w polszczyźnie*, JP, XLVIII, 4, 1968.

ричное смягчение согласных. Этот аргумент А. А. Шахматова критиковали и противники, и сторонники его гипотезы. Оппоненты указывали, что имеются древнерусские памятники XI—XII вв., орфография которых дает основание предполагать, что в историческое время существовали древнерусские говоры, писцы которых различали по признаку мягкости согласные, восходящие к общеславянским исконно смягченным согласным, и согласные, восходящие к общеславянским полумягким согласным. В таких памятниках исконная мягкость согласных [л], [н], реже [р], [с], [з] передается с помощью крюков, паерков или йотированных букв *и*, *я*, например, в Архангельском евангелии: *съ н'имь* 168, *къ нѣмоу* 117, *избавлениа* 168, *римлянин'а* 137. При употреблении крюков и паерков мягкость согласных обозначается более последовательно, чем при использовании йотированных букв, в этом случае она зафиксирована не только перед [а], [е], но и перед всеми остальными гласными¹⁰. Следует, однако, подчеркнуть, что исконная мягкость согласных в указанных памятниках обозначается весьма непоследовательно: в лучшем случае она обозначена приблизительно в половине написаний. Кроме того, иногда крюки ставятся после согласных, не имевших исконной мягкости, а случаи употребления йотированных букв после согласных, не имевших исконной мягкости, довольно многочисленны. Очевидно, что опубликованные в печати сведения относительно различения писцами рукописей XI—XII вв. исконной мягкости и полумягкости согласных не являются достаточно надежной основой для определенных выводов, на что и обращалось уже внимание в научной литературе¹¹.

Гипотеза А. А. Шахматова относительно вторичного смягчения полумягких согласных до прояснения носовых оказалась уязвимой и с другой точки зрения. Исследователи отмечали, что в результате прояснения носового [е] возник, возможно, не звук заднего ряда [а], а особый звук переднего ряда [ä], перед которым согласные сохранили полумягкость. В эпоху вторичного смягчения согласных перед рефлексом [е] были закономерно получены мягкие согласные¹².

2. В украинском языке согласные тверды перед [е] — рефлексом сильного [ь], но мягки там, где некогда был слабый редуцированный, например, [с'it'], [дѣн'] (в соответствии с древнерусскими *стѣть*, *дѣнь*). По мнению А. А. Шахматова, это свидетельствует о том, что диспалатализация согласных перед [е] имела место сравнительно поздно, после падения редуцированных. Оппоненты возражали: то, что согласные были мягкими перед [ь], не доказывает, что они были мягкими перед [е]. Звук [ь] был иного происхождения, чем [е], он развился из индоевропейского [i]. Согласные перед [е] из [ь] в сильной позиции могли быть вовлечены в процесс отвердения согласных позднее, в результате выравнивания произношения по основному типу¹³.

¹⁰ Список известных в науке орфограмм, где обозначена исконная мягкость согласных в памятниках письменности, приводится в работе: Л. Э. К а л а н и н ь, Развитие категории твердости и мягкости согласных..., стр. 138 и сл. Первым заметил обсуждаемые особенности в орфографии рукописей XI—XII вв. Л. Л. Васильев, см. его статью «С каким звуком могла ассоциироваться буква „нейотированный юс малый“ (А) в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников?», РФВ, 69, 1, 1913, стр. 181—206. См. также: Н. Н. Д у р н о в о, указ. соч., стр. 144—150.

¹¹ Ср.: Л. А. Булаховский, Питание походжения української мови, Київ, 1956, стр. 62—63.

¹² Л. Л. Васильев, указ. соч., стр. 193; Л. Э. К а л а н и н ь, Развитие категории твердости и мягкости согласных..., стр. 137.

¹³ О. Н. С и н и а в с ь к и й, указ. соч., стр. 270; К. Н. М и ч н о в, До проблеми про диспалаталізацію приголосних перед е, и в українській мові, «Зап. історично-філологічного відділу УАН», IX, Київ, 1926, стр. 247, 250.

3. В северноукраинских диалектах рефлексам $[\bar{e}]$ в новых закрытых слогах являются $[i]$, $[\bar{i}e]$, если далее следовали мягкие согласные, например, $[p'ic]$, $[p'ieč]$; если же далее шли твердые согласные, рефлексы иные — $[y]$, $[\bar{y}o]$, $[\bar{y}u]$ и т. д. Эти же рефлексы представлены в северноукраинских диалектах на месте $[\bar{o}]$ в новых закрытых слогах. Разница, однако, состоит в том, что перед рефлексам $[\bar{e}]$ согласные мягки, а перед рефлексам $[\bar{o}]$ они тверды, например, $[\bar{v}uol]$, $[\bar{p}rin'juc]$, $[\bar{p}rin'juc]$, $[\bar{p}rin'juc]$ (в соответствии с древнерусскими *воль*, *принесь*). А. А. Шахматов, а за ним и другие исследователи считали, что сохранившаяся мягкость согласных перед рефлексам $[\bar{e}]$ доказывает мягкость согласных перед $[e]$ в предшествующие эпохи. Оппоненты возражали: долгое произношение гласных делает их более закрытыми, это и могло быть причиной возникновения мягкости перед $[\bar{e}]$ ¹⁴.

4. В украинском языке во 2-м лице мн. числа повелительного наклонения типа *беріть*, *несіть* на конце представлен мягкий согласный. А. А. Шахматов считал, что формы восходят к *берѣте*, *несѣте*, что гласный $[e]$ до начала диспалатализации подвергся редукции, поэтому мягкость предшествующего согласного сохранилась. А. Е. Крымский, поддерживавший гипотезу А. А. Шахматова, писал, что в юго-восточных говорах украинского языка утрата конечного $[e]$ в названных формах по памятникам письменности датируется XVI в. К этому времени А. Е. Крымский и относил процесс диспалатализации согласных перед $[e]$ в юго-восточных говорах. Для юго-западных говоров он считал возможной более раннюю датировку — приблизительно XIV в. ¹⁵ Оппоненты возражали: хронология форм типа *ходить*, *беріть* не установлена, кроме того, повелительное наклонение встречается в говорах и с мягким, и с твердым согласным на конце. При этом в говорах, имеющих инфинитив типа *ходити*, *носити*, *брати* и форму 3-го лица мн. числа на твердый согласный, в повелительном наклонении представлен твердый согласный; в говорах же, где инфинитив типа *ходить*, *нести*, *брати*, а формы 3-го лица мн. числа имеют мягкий согласный, там в повелительном наклонении выступает мягкий согласный. Появление мягкого $[t']$ в повелительном наклонении в ряде украинских говоров эти ученые объясняли поздней аналогией с формами 3-го лица мн. числа и инфинитива, содержащими мягкий $[t']$ ¹⁶. Указывалось также, что фонетические явления на конце слов не всегда обладают доказательной силой.

5. В украинском языке общеславянские исконно смягченные и полумягкие сонанты $[r]$, $[l]$, $[n]$ перед $[e]$, $[i]$ имеют один рефлекс: и те и другие тверды. Общая судьба мягких и полумягких сонантов, по мнению А. А. Шахматова, объясняется тем, что в эпоху, предшествующую диспалатализации, они уже не различались по признаку мягкости, совпадали в мягком варианте. В сербском и чешском языках, в истории которых также наблюдалась диспалатализация согласных перед $[e]$, $[i]$, исконно смягченные и полумягкие сонанты имеют разные рефлексy, например, в сербских словах *жyга жyга*, *пoлe* сохранена мягкость. Оппоненты ссылались на существование в диалектах украинского языка разной степени твердости и мягкости согласных и указывали на возможность постепенного выравнивания по диалектам рефлексов общеславянских полумягких и исконно смягченных сонантов.

¹⁴ К. Н і м ч и н о в, указ. соч., стр. 246—253.

¹⁵ А. Е. К р ы м с к и й, указ. соч., стр. 194—195.

¹⁶ О. Н. С и н я в с к и й, указ. соч., стр. 273; К. Н і м ч и н о в, указ. соч., стр. 248.

6. В украинском языке выступают два разных рефлекса общеславянского [е] после шипящих: на месте [е] имеется [о], если далее следовал звуковой комплекс согласный + гласный заднего ряда; на месте [е] имеется рефлекс [е], если далее шел звуковой комплекс согласный + гласный переднего ряда. При этом, если за согласным следовали [е] или [и], имеется рефлекс — [е], это доказывает, что некогда перед этими гласными согласные были мягкими. Например: *шести, джерело, пшениця, щетина, шостий, жона, пино, чорний*. Таково в общих чертах состояние изучения проблемы в настоящее время.

В Галицком евангелии 1266—1301 гг. имеется большое количество орфограмм, отражающих ассимилятивное смягчение и отвердение в группах согласных. Рассмотрим имеющийся материал.

1. Исконные группы согласных. В исконных группах согласных употребление ѣ или ѣ регулируется в рукописи следующим правилом: если за группой согласных идут буквы и, е, ѣ, ѣ, а, ю, в группу согласных вставляется ѣ; если за группой согласных следуют ы, о, ѣ, а, оу, в группу согласных вставляется ѣ. При классификации материала ниже учитывается буква гласного, следующего за группой согласных.

а) За группой согласных следует и, передающая рефлекс общеславянского [и]: *ѣтъви* 121в, 122б, *ѣтъ/ви* 58в, *дѣвигоути* 60а, *дѣ/вигоути* 72б-в, не *дѣвижиса* 77г, не *дѣ/вижи* 83а, в основе *ѣздѣви(ж)* = 7 раз в строке и 1 раз на переносе: 15в, 121а, 151б, 151г, 152г, 152г, 161б, *ѣздѣ/-вижеть* 36г, *подѣвигоутъса* 52б, *подѣ/вигоути* 125в, *подѣ/вижетьса* 105а, *седѣми* 49в, 125а, *седѣ/ми* 44а, *седѣмидесять* кратно 46б, *седѣми кратно* 46б (ср. приводимый ниже пример *седѣмь/кратно* 46б), *седѣмишды* 101в, ср. *семижды* 87г, *седѣмьжды* 101в (приводится еще раз ниже), *седѣмицею* 46б, *зѣ/мию* 151г, *нѣ/ризавъ* 146б, *нѣ/риношаюу* 98б, *нѣ/ритъча* 58в, *вычисти* 132г, *шестьи* 121г, *неприказъ/ни* 29б.

В приведенных примерах губные и переднеязычные согласные перед [и] восходят к общеславянским полумягким согласным. Как видим, рефлекс общеславянских полумягких согласных [в], [м], [р], [н], [т] перед рефлексом общеславянского [и] оказывали смягчающее влияние на предшествующие согласные.

б) За группой согласных следуют е или ѣ, передающие рефлекс общеславянских [е] или [ѣ] в сильной позиции: *оскъверьнатьса* 141в, *скъ/вернать* 36а, *дѣвѣри* 169б, *дѣвѣри* 95а, *дѣвѣ/ри* 8г, 116а-б, *дѣверемъ* 5б, *дѣвѣ/режъ* 172б, *спѣ/летъше* 147г, *кѣсѣ/летъ* 158а.

В приведенных примерах [в], [л] перед [е] восходят к общеславянским полумягким согласным. В одном случае группа состоит из трех согласных (буква ѣ вставлена после буквы первого согласного): *осъ/кеерьнатьса* 140г. Как видим, смягчающее воздействие гласного распространяется на всю группу из трех согласных.

в) За группой согласных следует ѣ, передающая рефлекс [ѣ] и [ѣ] в слабой позиции (есть случаи, где буква ѣ на месте слабого редуцированного пропущена): *листьвѣ* 48г, 52в, 100б, 105б, 122в, 124в, *листь/вѣ* 47г, надежные формы слова *цѣтьвѣ* 8г, 27б, 27б, 28а, 28б, 35а, 36в, 40г, 45г, 45г, 45г, 82в, 86б, 116б, 124а, 148б, 155в, *ѣ царствѣи* 73а, *пришестъвѣ* 52б, *пришестъ/вѣ* 127б *очѣствѣи* 68в, 68в *небѣствѣю* 119а, *жертвѣникомъ* 50г (ѣ пропущена), *сѣдѣмъ* 37г, 48а, а, 49в, 65б, 65б, 93б, 95г, 95г, 125а, *седѣмъ* 48а, 93а, 102в, *сѣдѣ/мъ* 93а, ср. *сѣмъ* 102г, *сѣдѣмъ* 102в, *седѣмь/кратно* 46б, *седѣмьшды* 101в, *нѣсѣ/мъ* 36в, 77г, 155г, *непразднымъ* 104г (буква ѣ в соответствии со слабым редуцированным пропущена), *непраздъ/нымъ* 124а, *гѣхидънѣсти* 51в, 156б, *ѣствѣ/рьмиса* (вм. *оустрь-миса*) 80 в, *огъ/нѣ* 136г. В приведенных примерах губные и переднеязыч-

ные согласные [в], [м], [д], [р], [н] перед рефlekсами общеславянских [i] и [ь] в слабой позиции восходят к общеславянским полумягким согласным.

г) За группой согласных следует *ъ* *запъ/рѣти* 167а, 168а, *во вѣрѣма* 89б, *пы/рѣд нимъ* 96г, *извѣльче* 140а. Согласные [р], [л] перед [ѣ] в этих примерах восходят к общеславянским полумягким согласным. В одном случае буква *ъ* вставлена в группу из трех согласных (после буквы первого): *съ/трѣжахоуть* 144в.

д) За группой согласных следует *а*, передающая рефлекс общеславянского [e]: *стъкъ/ланица* 81б.

е) За группой согласных следуют *а*, *о*, *оу*: *объ/лацѣхъ* 134г, *събъ/лажмлетъ* 97в, *вѣскъ/ладають* 60а, *позъ/наша* 62а, *гедъ/ва* 85б, *постъ/радахъ* 147в, *розъга* 23г, *жезъ/ла* 82в, *скъ/ровенъ* 89б, *съблавъ/номъ* 45г-46а, *нишъ/товъ* 17г, *прѣмудъ/ростью* 160б, *тѣ/ворю* 132г, *затъ/ворить* 94г, *стѣ/вори* 6б, 132в, *оустъ/роить* 96б, *растеръ/ноуть* 31г, *оустѣ/ноухъ* 74г, *присъ/тоупльшемъ* 134в, *съпоудо/мъ* 80а, *постъ/лоушаеши* 121б, *пасъ/хоу* 107г, 112а, *прикоств/ноуса* 41а, *одесъ/ноу* 165в, *дѣ/роуеши* 127б. Буква *ъ* употреблена внутри суффикса -*ьск-*: *понетъ/къ/кому* 161а, *жречъ/къ/камъ* 113в, *жречъ/къ/ка* 113г. За *ъ* следуют буквы двух согласных: *съквоъ* 71а, 74б, 79г, 80в, 82в, 98г, *съ/трахъ* 5б, *съ/тражеши* 78б, *съ/трана* 104а, 166в. Буква *ъ* употреблена внутри суффикса -*ство*: *свѣдитѣльствъ/ва* 134в, *свѣдитѣльствъ/воуесть* 7в, *свѣдитѣльствъ/воуежъ* 4б, *послоушьствъ/воующа* 15г, 143а, *послѣдъствъ/воующимъ* 170а, *свѣдитѣльствъ/твоують* 134в, *четверовластвъ/твоующую* 161а.

ж) За группой согласных следует *ъ*: *сънѣха* 84б, *сънѣ/хоу* 84б.

з) За группой согласных следует *ы*: *кызъ/вы* 85в-г.

Нами перечислено 157 примеров, где соблюдается сформулированное выше правило: буква *ъ* употребляется в тех группах согласных, за которыми следуют буквы гласных заднего ряда, а буква *ь* употребляется в тех группах согласных, за которыми следуют буквы гласных переднего ряда. При этом перед комплексами букв согласного + *е*, *и* буква *ъ* вставлена 39 раз.

Имеется 11 отклонений от этого правила: семь раз написана буква *ъ* в группах согласных, хотя далее следуют буквы *А*, *и*, *ѣ*, *е*; четыре раза написана буква *ь*, хотя далее следуют *а*, *о*, *ы*. В ряде примеров буква *ъ*, а не *ь* использована писцом, по-видимому, вследствие отождествления писцом фрагментов слова с приставкой или суффиксом: *отъ/ра/Асанѣжъ* 77в, *съпирю* 143в, *оустѣ/нѣтъ* 143в, *съпѣхше* 160б, *лови/тѣ/въ* 69б, *жатѣ/въ* 15г. Два примера, возможно, являются описками: *исѣхъ/нетъ* 136г, *бѣ/ствомъ* 99а (= *богатѣствомъ*). Два раза буква *ъ* употреблена в суффиксе -*ьск-*: *члѣвь/къ/ми* 76в, *фарисиисъ/ка* 82а. Эти примеры должны рассматриваться особо, так как в украинских диалектах был пережит процесс смягчения [с] в составе данного суффикса вследствие прогрессивной ассимиляции, ср. современное укр. *людський*, *сільський* с мягким согласным. Имеется еще один пример — *сѣдѣмаго* 125а.

2. Новые группы согласных. В новых группах согласных, возникших после падения редуцированных, отмечено 76 случаев смешения *ъ* и *ь* (употребление *ъ* в соответствии с этимологическим [ь] и, наоборот, употребления *ь* в соответствии с этимологическим [ъ]). Случаи смешения *ъ* и *ь* описываются следующим правилом: в новой группе согласных вместо буквы *ъ* может быть употреблена буква *ь*, если за группой согласных следуют *и*, *е*, *ѣ*, *ѣ*, *А*, *ю*, *и*, наоборот, вместо буквы *ъ* может быть употреблена буква *ъ*, если за новой группой согласных следуют *а*, *о*, *оу*, *ы*, *ъ*. Ниже при классификации материала также учитывается буква гласного, следующего за группой согласных.

а) За новой группой согласных следует *и*, передающая рефлекс обще-

славянского [и]: *къ/нижнѣ* 28в, *къ нимѣ* 62в, *прѣдѣ нимѣ*, *ними* 21б, 21г, 62б... 11 раз, *прѣдѣ лицѣмѣ* 35а, *пѣтищѣ* 82б, 83в, 87г, 155а, *пѣ/тищѣ* 75в, *црѣкѣ/ви* 4в, 108г. В местоимении 3-го лица и в основе *книг-* [и] восходит к общеславянскому исконно смягченному согласному, в остальных основах согласные [л], [т], [в] восходят к общеславянским полумягким согласным. Как видим, рефлексy общеславянских полумягких согласных в позиции перед [и] оказывают на предшествующие согласные такое же смягчающее воздействие, как и рефлексy общеславянских исконно смягченных согласных. Можно думать поэтому, что и те и другие были мягкими.

б) За новой группой согласных следует *е*, передающая рефлекс общеславянского [ѣ], [ь]: *црѣкѣе* 27в, *сѣ/вершенѣ* 55в, *сѣ/берѣте* 17а, *къ/немоу* 36б, 122г. В местоимении [и] был исконно смягченным, остальные согласные восходят к общеславянским полумягким согласным.

в) За новой группой согласных следует *ѣ*: *дѣ/ѣ* 33б, 106а, *пѣ/тищѣ* 75в, 126г. Согласные перед *ѣ* относятся к числу согласных вторичного смягчения.

г) За новой группой согласных следует *ю*: *посѣ/лю* 160 в-г; [и] является исконно смягченным. Ср. также *мерѣшю* 145в (перед пишущим).

д) За новой группой согласных следуют *а*, *о*, *оу*: *пѣ/сомѣ* 65а, 155г, ср. *пѣси* 65а, 67а, 78б, 155г, *расѣ/пѣноути* 143в, *изѣ/бѣ/ранѣми* 145б, *собѣ/рашасѣ* 140г, *посѣ/ланоу* 131а, *неразоумѣ/наки* 170 г, *дѣ/ѣ/на* 101в, 123в,

равѣ/на 109а, *славѣ/наго* 156б, *подобѣ/но* 35а, *прѣ/бѣ/ноте* 153в, *правѣ/ѣ/наго* 81г, *ловѣ/наго* 108а, 131б, *гѣ/бѣ/бѣ/моу/наки* 154а, *болѣ/на* 111в, 129а, *кадилѣ/наго* 165в, *несмыслѣ/наки* 170г, *тѣ/ѣ/ѣ/ѣ/но* 77г, *доволѣ/но* 131г, *сѣ/ѣ/ѣ/но* 21г, *правѣ/доу* 145б; в суффиксе *-ствѣ* 8 раз: *лоукаѣ/ство* 124г, *дѣ/ѣ/ства* (= *дѣ/ѣ/ства*) 163б, *лицѣ/мѣ/рѣ/ство* 102б, *прѣ/зорѣ/ство* 64г, *послѣ/ѣ/ѣ/ствоу-ють* 169г, *послѣ/ѣ/ѣ/ствоу-ую* 170а, *послѣ/ѣ/ѣ/ѣ/ствоу-ую* 170а, *наслѣ/ѣ/ѣ/ствоу* 85в.

е) За новой группой согласных следует *ы*: *темѣ/ны* 81б, *равѣ/ны* 47а, *правѣ/ѣ/ныхѣ* 73в, *стадѣ/ныхѣ* 133б, *распоустѣ/ныхѣ* 98а, *правѣ/ды* 84в, ср. *правѣ/дѣ* 126в.

Случаев смещения *ѣ* и *ь*, которые не описываются сформулированным выше правилом, немного: *ѣ/радѣ/нѣ* 77в, 174в, *сѣ/ѣ* 121а, 167г, ср. *зде* 9а, *сѣ/ѣ* 36а... 20 раз, *пропѣ/ни* 152а, *сѣ/ѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 121 г. При этом в форме сравнительной степени согласный [и] был исконно смягченным.

3. Предлоги-приставки на *-а-*. Как известно, предлоги-приставки на *-а-* в позднем общеславянском на конце редуцированного не имели. В рассматриваемой рукописи в конце предлогов-приставок на *-а-* буква редуцированного обычно не пишется. Однако есть небольшое количество случаев постановки *ѣ* и *ь*. Случаи употребления *ѣ* мы рассматривать не будем, поскольку употребление *ѣ*, очевидно, является результатом влияния орфографии других предлогов и приставок, имевших на конце этимологический редуцированный [ѣ]. Случаи же употребления буквы *ь* на конце предлогов и приставок на *-а-* представляют особый интерес. Рассмотрим их. За предлогом или приставкой следует согласный, восходящий к общеславянскому исконно смягченному: *изѣ/него* 61а, 69а, *исѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 9б, *исѣ/ѣ/ѣ* 155 г. За приставкой следует согласный вторичного смягчения: *и/зѣ/ѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 136г, *ра/зѣ/ѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 118в, *исѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 89г, *изѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 40в, *ѣ/ѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 94б, *ѣ/ѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 21а, *ѣ/ѣ/ѣ/ѣ/ѣ* 67г. Как видим, на конце предлогов и приставок буква *ь* равно пишется и в том случае, если за предлогом и приставкой следуют комплексы согласный + *е*, *и*, где согласный является исконно смягченным, и в том случае, где согласный перед *е*, *и* является вторично смягченным.

4. Сочетания типа **ьrt*. Рассмотрим только орфограммы, отражающие сочетания типа **ьrt* в положении перед переднеязычными, так как только в этом положении после *р* употребляются буквы обоих редуцированных — *ъ* и *ь*. Полагают, что в позднем общеславянском языке и в восточнославянском языке-основе [р] в сочетаниях типа **ьrt* был полумягким вследствие ассимиляционного воздействия предшествующего [ь]. В дальнейшем, параллельно с вторичным смягчением согласных перед гласными переднего ряда в восточнославянских языках, произошло смягчение и [р] в составе этих сочетаний. Имеются разногласия относительно условий вторичного смягчения [р] в составе данных сочетаний. Одни исследователи полагают, что оно имело место только перед губными, заднеязычными и мягкими переднеязычными, в то время как перед твердыми переднеязычными полумягкость [р] была утрачена до начала вторичного смягчения согласных вследствие ассимилятивного влияния на [р] стоящих за ним твердых переднеязычных. Другие ученые считают, что вторичное смягчение согласного [р] в составе данных сочетаний осуществлялось в любом положении, в том числе и перед твердыми переднеязычными, но перед последними мягкость была утрачена рано¹⁷.

В исследованной рукописи в составе сочетаний типа **ьrt* перед губными и заднеязычными обычно пишется *ь*, поэтому ниже эти материалы нами не используются.

В рукописи имеется более 100 орфограмм, отражающих сочетания типа **ьrt* (где за [р] идет переднеязычный). Употребление букв *ъ* или *ь* после *р* регулируется следующим правилом: после *р* вставляется буква *ъ*, если после следующей за ним буквы согласного стоят *и, о, а, ou*, *ъ* (последняя в соответствии с [ъ] в слабой позиции); после *р* вставляется буква *ь*, если за следующей за ним буквой согласного идут *ѣ, е, а, и* (последняя в соответствии с общеславянским [i] и [i] в слабой позиции), *ь* (в соответствии с [ь] в слабой позиции). Судя по орфографии исследованной рукописи, в говоре писца не различались по мягкости [з], восходящий к общеславянскому исконно смягченному [з], и [з], восходящий к общеславянскому полумягкому, так как их ассимиляционное воздействие на [р] одинаково: и в том, и в другом случае после *р* пишется *ь* (см. ниже).

Приведем сначала примеры, где *ъ* и *ь* пишутся после *р* в одном и том же корне, а затем остальные написания. В корне *-въръз-* (с предшествующими приставками) после *р* 16 раз написана *ъ* перед буквенными комплексами: *з, с, + и, а, о, ou*, *ъ*: *ѡверъзѣи* 121а, *ѡверъзѣть* 17в, 165а, *ѡверъзостѣсѣ* 3а, 43б, *сѣ ѡверъзостѣ* 19а, *ѡверъзошѣ(сѣ)* 148г, 158г, 161г, *ѡверъзошѣ же сѣ* 166б, *ѡверъзоуть* 92в, *ѡверъзѣ* 28а, 50а, *ѡверъзѣ* 100а, *ѡверъста* 3г, *разверъзѣ* 162 г. Перед *и, е* в этом корне буквенный комплекс *ерь* написан 23 раза: *ѡверъзи* 66г, 95а, 127г, *разверъзѣсѣ* 118в, *ѡверъзе* 19а, 19в, 19г, 21г, 171б, *ѡверъзе* 19б, *ѡверъзе* 19б, 19г, *ѡверъзѣсѣ* 174а, *ѡверъзѣсѣ* 67б, *ѡверъзѣтѣсѣ* 31г, г, 79а, 79б, 79б, 174б, *ѡверъзѣтѣсѣ* 79а-б, *ѡверъзѣтѣсѣ* 55б, *ѡверъсти* 17г. В формах повелительного наклонения 16 раз: *веръзи* 28г, 29а, 46а, 153г, *веръзѣсѣ* 48г, 68а, 162б, *ѡверъзѣсѣ* 100в, 122г, 174а, *ѡверъзѣсѣ* 100г, *ou/веръзи* (вм. *ѡверъзи*) 50а, *ѡверъзѣтѣ* 128в, *ѡверъзѣтѣ* 173а, *ѡверъзѣтѣ* 60г (так в рукописи).

В корне *пърст-* имеется *ерь* перед *ъ, а, о* (в соответствии с [ъ] в сильной позиции) всего 9 раз, *ерь* имеется 2 раза перед *и, ѣ*: *пърстѣ* 5г, 172г,

¹⁷ Подробно данный вопрос рассматривается в работе: В. Н. Сидоров, Из истории звуков русского языка, М., 1966, стр. 38—97.

перѣста 5в, 172в, *пе/рѣста* 78б, *перѣстомъ* 60а, 81в, 153в, *пе/рѣстомъ* 125в, *о перѣсти бжѣи* (местный падеж) 79г, *перѣстѣнь* 106г.

В других основах имеются следующие случаи употребления *ъ* после *р* перед твердым согласным: *дерѣзати* 41б, 83а, 100а, 134а, *де/рѣзати* 41а, *дерѣзати* 138в, *дерѣзаноуѣ* 146а, но: *дерѣзати* 100а, *растерѣ/завѣ* 80б, *растерѣ/за* 134г, *расте/рѣза* 109б, *протерѣ/захоу же са* 69б, *въстерѣзахоу* 75а, но: *растерѣ/за* 141а, *оумерѣла* 59г, *оумерѣлъ* 120в, *мерѣзость* 51г, 99в, 124а, *верѣтоградѣ* 140в, *жерѣнь/вахѣ* 127б, но: *зерѣноу* 39г, *аще зерѣн(о)* 163в (не дописано в конце чтения). Случай употребления *ъ* перед комплексом буква согласного + *и*, *а*, *ь*, *ѣ*: *перѣси* 26а, 104б, 145в, 173г, *перѣ/си* 115в, *осѣ/кверѣнати* 140г, *осѣкверѣнати* 141в, *въ верѣтѣ* (*т-н* соединены в лигатуру) 146в, *черѣ/тѣ* 87в, *тверѣ/дѣ* 108г, *оутверѣдите* 146г, *оутверѣдиса* 75в, *ѡ терѣнка* 142а, *ѡ терѣ/нка* 30в, 147г, *въ терѣнки* 38а, 58а, *берѣниге* 18г.

Всего нами перечислено 106 орфограмм. В формах повелительного наклонения *верѣи*, *верѣте* (и с приставками) [з] восходит к общеславянскому исконно смягченному согласному¹⁸, в других случаях — следующие за [р] согласные восходят к полумягким согласным. В рукописи не имеется случаев употребления *ъ* после *р* перед буквенными комплексами согласный + *е*, *и*.

Описанное в работе распределение букв *ъ* и *ь* в группах согласных представлено в табл. 1, 2, 3.

Таблица 1

За исконной группой согласных следуют:	Употреблена	
	ъ	ь
1. Буквы а) <i>е</i> , <i>и</i> , <i>ь</i> = [ъ] (тип <i>спѣ/летѣше</i> , <i>вѣтѣи</i> , <i>чистѣи</i>)	3	43
б) <i>ѣ</i> , <i>а</i> , <i>ь</i> = [ъ], [ĭ] тип <i>вѣрѣмѣ</i> , <i>листвѣкѣ</i>)	5	63
2. Буквы <i>а</i> , <i>о</i> , <i>оу</i> , <i>и</i> , <i>ь</i> (тип <i>повѣ/наша</i>)	51	4

Таблица 2

За новой группой согласных следуют:	Употреблена	
	вместо ъ	вместо ь
1. Буквы а) <i>е</i> , <i>и</i> (тип <i>пѣтиць</i> , <i>сѣ/вершенѣ</i>)	3	26
б) <i>ѣ</i> , <i>ю</i> (тип <i>посѣ/лю</i>)	2	4
В том числе второй согласный восходит		
а) к исконно смягченному (подтип <i>посѣ/лю</i>)	2	17
б) к полумягкому согласному (подтип <i>пѣтиць</i>)	3	13
2. Буквы <i>а</i> , <i>о</i> , <i>оу</i> , <i>и</i> (тип <i>темѣни</i> , <i>шѣбѣ/ранини</i>)	39	1 (?)

Как видим, смягчающее воздействие [и] на предшествующую группу согласных отражено в рукописи 79 раз (считаем здесь и ниже также употребление *ь* в предлогах-приставках на -з-), а смягчающее воздействие [е] на предшествующую группу согласных зафиксировано 36 раз. Из этого числа приблизительно в 30 случаях перед [е], [и] находятся [н], [л], [з], восходящие к общеславянским исконно смягченным согласным (напри-

¹⁸ См.: Л. Э. К а л н и н ъ, Развитие категории твердости и мягкости согласных..., стр. 133.

Таблица 3

За сочетанием типа * <i>brt</i> следуют:	Употреблена	
	ъ	ь
1. Буквы а, е, и = [и] (тип <i>шверъи</i>)	—	43
б) ѣ, а, и = [ĭ], [ĕ], ъ = [ъ], [ĭ], (тип <i>перъ-стѣнь, теръньи</i>)	—	16
2. Буквы а, о, оу, ѣ, и (тип <i>дъръаи</i>)	43	4

мер, *прѣдъ ними* 21б, 21г) и приблизительно в 80 случаях перед [е], [и] находятся согласные, восходящие к общеславянским полумягким согласным (например, *пѣтиць* 82б). Таким образом, и те и другие оказывают одинаковое ассимиляционное воздействие на предшествующие согласные. Можно считать поэтому, что в говоре писца перед [е], [и] были мягкими и согласные вторичного смягчения, и согласные исконно смягченные.

Поскольку перед [е], [и] отражается ассимиляционное смягчение в новых группах согласных, возникших после падения редуцированных (например, *къ/нижникъ* 28в, *съ/берѣте* 17а), значит, мягкое произношение согласных перед [е], [и] в данном говоре существовало и после падения редуцированных, не менее одного-полутора веков. Как известно, общее падение редуцированных в диалектах южной зоны древнерусского языка датируют второй половиной XII в.¹⁹ Галицкое евангелие создано спустя приблизительно 100—150 лет.

Далее, историками украинского языка высказывалось мнение, что отверждение согласных перед [е], [и] осуществлялось неравномерно: сначала в процесс были вовлечены губные согласные, позднее — переднеязычные. Орфография Галицкого евангелия 1266—1301 гг. отражает мягкость и тех и других перед [е], [и].

Изложенные факты орфографии Галицкого евангелия 1266—1301 гг. могут быть интерпретированы однозначно: среди диалектов южной зоны древнерусского языка во второй половине XIII в. был хотя бы один диалект, который пережил в предшествующие эпохи вторичное смягчение согласных перед [е], [и]. Весьма вероятно, что в древнейший исторический период существовали такие южные древнерусские диалекты, которые не знали вторичного смягчения согласных.

¹⁹ Хронология падения редуцированных в диалектах южной зоны древнерусского языка была установлена А. А. Шахматовым, при этом учитывались материалы Добрилова евангелия 1164 г. (ГБЛ, ф. 256, № 103) (см. А. А. Шахматов, *Очерк древнейшего периода...*, стр. 216). Подробнее об этом: О. В. Малкова, *К истории редуцированных гласных ѣ и ѥ в южных говорах древнерусского языка* (по материалам рукописи 1164 г.), ИАН СЛЯ, 1966, 3, стр. 240—246.

ГРИНБАУМ Н. С.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК. К ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

На первом этапе проведенного нами исследования древнегреческого литературного языка¹ было сочтено целесообразным придерживаться периодизации, принятой для истории древнегреческой литературы. В ходе исследования, однако, эта периодизация подверглась уточнению. Введен дополнительно «микенский и послемикенский период» в соответствии с новой ситуацией, вызванной обнаружением крито-микенских текстов XIV—XII вв. до н. э. Поскольку по той же причине период VIII—V вв. перестал считаться для греческого языка архаическим, было предложено именовать этот этап становления литературного языка «ионийским». Хотя время римского господства сыграло некоторую роль в развитии греческого литературного языка, она не оказалась столь значительной, чтобы выделять специально «римский» период в его истории. Более удачным представляется поэтому сохранить для времени I—V вв. н. э. название «позднеэллинистического» в отличие от «раннеэллинистического» (IV—I вв. до н. э.), т. е. придерживаться расширительного понимания термина «эллинистический период».

Уточнены также хронологические рамки выделенных периодов. Признано целесообразным считать началом ионийского периода VIII и концом V в. до н. э., началом аттического периода VI и концом IV в. до н. э., началом позднеэллинистического периода I и концом V в. н. э. После внесенных уточнений периодизация древнегреческого литературного языка выглядит следующим образом: I. Микенский и послемикенский период (XIV—IX вв. до н. э.)²; II. Ионийский период (VIII—V вв. до н. э.); III. Аттический период (VI—IV вв. до н. э.); IV. Эллинистический период (ранний и поздний, IV в. до н. э. — V в. н. э.).

Впервые предпосылки формирования литературного языка создались на греческом материке в микенскую эпоху (II тыс. до н. э.) в раннерабовладельческом государстве³. Гибель микенской цивилизации приостановила процесс дальнейшего развития этих предпосылок.

Древнегреческий литературный язык образовался лишь на следующем этапе истории в рабовладельческом обществе, возникшем на малоазийском побережье в Ионии VIII—VII вв. до н. э. Рост экономического потенциала, усиление торговых связей, становление городов-государств, соприкосновение с восточной цивилизацией создали благоприятные условия для подъема греческой культуры.

¹ См.: ВЯ, 1979, 3; 1980, 1; 1980, 3; 1980, 5; ср.: ВЯ, 1977, 6; 1978, 4.

² Н. Н. Пикус определяет период XI—IX вв. в истории Греции как «предполисный» (см.: «История древней Греции», М., 1972, стр. 3), М. Лежен — в истории греческого языка как «протоалфавитный» (см.: M. Lejeune, *Phonétique historique du mycénien et du grec ancien*, Paris, 1972, стр. 21).

³ Подробная характеристика микенской эпохи содержится в кн.: Т. В. Блаватская, *Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура*, М., 1976; J. Chadwick, *The Mycenaean world*, Cambridge, 1976.

Дальнейшее развитие древнегреческого литературного языка было связано с центральной частью материковой Греции — Атикой. В VI—V вв. резко возросло экономическое и политическое значение ее главного города — Афин, возглавивших сопротивление греков персидскому нашествию. Афины превратились в крупный рабовладельческий полис, обеспечив рост благосостояния и общественной активности своих граждан.

Выдвижение Македонии и завоевание Александром в IV в. до н. э. Ближнего Востока привел к образованию греко-македонской рабовладельческой державы. Центр тяжести экономической и политической жизни переместился с материка в Сирию, Пергам, Египет и другие страны Востока. Развитие греческого литературного языка продолжалось здесь в новых и своеобразных условиях.

Итак, само возникновение древнегреческого литературного языка и вся его последующая история определялись, прежде всего, факторами внешнего порядка и, главным образом, социально-экономическими и общественно-политическими условиями⁴. Лишь при достижении ими относительно высокого уровня развивалась и культура во всех ее проявлениях, появились письменность и литература, росла грамотность населения. Для древней Греции создание этих условий было связано с появлением рабовладельческого строя, образованием и подъемом классового рабовладельческого государства. При этом не имел принципиального значения сам тип государственного устройства, будь то дворцовый тип — микенской, полисный — классической или монархический — эллинистической эпохи, хотя каждый из них накладывал свой отпечаток на особенности литературного языка.

Однако как только изменялись к худшему внешние или внутренние условия развития в той или иной области древней Греции, наступал экономический спад, потеря независимости, обострение социальных конфликтов, происходило соответственно снижение уровня культуры, а вместе с ним ограничение функциональной роли литературного языка и изменение его характера. Этими обстоятельствами было предопределено появление ряда разновидностей в его единой в целом системе. Ионийская разновидность потеряла свои позиции после того, как Иония к концу VI в. до н. э. лишилась политической самостоятельности, аттическая разновидность уступила место эллинистической после подчинения Атики в IV в. до н. э. македонским правителям. В первом случае возникновение новой разновидности литературного языка было связано с развитием однопатристического государства (и тут и там — полисный), во втором оно было обусловлено заменой полисного типа государственного устройства эллинистическим. При этом в обоих случаях классовая сущность рабовладельческого государства оставалась неизменной.

Вместе с тем в силу преемственности культурного наследия литературный язык передавал частично своей очередной разновидности, возникавшей на новом месте и при более подходящих условиях, накопленное веками языковое богатство. Это обстоятельство значительно облегчило развитие сначала ионийской разновидности, питавшейся истоками микенской культуры⁵, затем аттической, опиравшейся на достижения ионийского

⁴ «Условия существования литературного языка и его стилистическая стратификация, — отмечает В. Н. Ярцева, — определяются уровнем развития общества, пользующегося данным языком» (в кн.: «Типология германских литературных языков», М., 1976, стр. 46).

⁵ Т. В. Блаватская обращает внимание на большое значение греческой цивилизации II тыс. до н. э. для дальнейшего развития греческой культуры (см.: укав. соч., стр. 166).

этапа, и, наконец, эллинистической, аккумулировавшей в себе исторический опыт всех предшествующих ступеней.

Географические и демографические условия древней Греции и ее периферии, разделенных на множество относительно самостоятельных районов, были одной из причин диалектной дробности греческого языка. Этот фактор оказал сдерживающее влияние на формирование единого греческого литературного языка. Особой пестротой в диалектном отношении отличались западная и северо-западная части Греции, остававшиеся фактически на всем протяжении ее истории вне общего активного языкотворческого процесса⁶. И. М. Тронский указывает, что «основное направление линии диалектного развития в раннегреческом обществе шло по пути дифференциации, все большего нагнетания диалектных различий»⁷. Вместе с тем изучение языковых отношений микенского периода позволяет сделать вывод, что и на раннем этапе развития Греции при благоприятных внешних условиях могли возникать конвергентные процессы более или менее широкого диапазона и различной продолжительности. Противоборство этих двух тенденций — дифференциации диалектов, с одной, и их концентрации, с другой стороны, — становится с тех пор постоянной чертой греческих диалектных отношений⁸. Возникновение древнегреческого литературного языка и его разновидностей было связано прежде всего с преобладанием второй тенденции.

Микенский — первый обозримый период греческой истории, позволяющий предположить формирование наддиалектов: делового, в том числе документального — с одной стороны, и поэтического — с другой⁹. Эти наддиалекты образовались, насколько удастся установить, на базе трех древнейших диалектных групп: ахейской (включая аркадско-кипрскую), протоэолийской и протоионийской. Каждая из них состояла, естественно, из определенного числа местных наречий. В послемикенский период (XI—IX вв. до н. э.) мы находим аркадско-кипрскую группу на Пелопоннесе и на Кипре, эолийскую в северо-восточной части Греции, аттический диалект в Аттике и ионийский в Ионии. Северо-западные диалекты закрепляются в старых границах, а дорийский продвигается на юг и завоевывает новые позиции. От предыдущего периода сохраняются частично деловой и особенно поэтический наддиалект. Образование древнегреческого литературного языка произошло на базе ионийского наддиалекта, возвысившегося в VIII—VII вв. до н. э. над многочисленными местными говорами на территории Малой Азии. Аттическая разновидность возникла на основе аттического диалекта, представлявшего собой наднаречное образование, сложившееся в Аттике в VII—VI вв. до н. э.¹⁰. Эллинистическая разновидность базировалась на последнем наддиалектном образовании древней Греции — общем языке (койне), в основе которого лежали аттический и ионийский диалекты.

Три основные разновидности древнегреческого литературного языка отличались, таким образом, характером диалектной базы — ионийской в первом, аттической во втором и аттико-ионийской в третьем случае. При этом лишь аттическая разновидность была непосредственно связана с

⁶ Ср.: N. G. L. Hammond, *Dzieje Grecji*, Warszawa, 1977, стр. 117.

⁷ См.: И. М. Тронский, *Вопросы языкового развития в античном обществе*, Л., 1973, стр. 37.

⁸ Ср.: E. Risch, *Il problema dell'unità linguistica greca*, в кн.: «Le Protolingue. Atti del IV Convegno internazionale di linguisti», Milano, 1965, стр. 107.

⁹ См. более подробно нашу статью «Древнегреческая диалектология и проблема „микенского“», ВЯ, 1974, 3.

¹⁰ Это могла быть первоначально обобщенная наднаречная норма, обслуживавшая более высокие сферы общения; ср.: А. В. Десницкая, *Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка*, Л., 1970, стр. 9—10.

материковой Грецией, остальные образовались в основном за ее пределами, первая на малоазийском побережье, третья — в восточном ареале средиземноморского бассейна ¹¹.

Разновидности различались и по длительности формирования. Первой потребовалось для этого около пяти столетий, второй оказалось достаточно трех, третьей — и того меньше.

Аттическая разновидность стала наиболее значимой для истории греческого литературного языка. Она впитала в себя за короткий срок лучшие черты предыдущей разновидности, развила их и обогатила. Аттический период был наиболее ярким в истории древней Греции и представлял собой время расцвета рабовладельческой демократии. Пятый век стал в Афинах временем наивысшей грамотности населения и его причастности к достижениям греческой культуры. В остальных регионах, т. е. за пределами собственно Греции, охват населения греческим литературным языком был намного ниже, к тому же греки составляли здесь, как правило, меньшинство. Тем не менее, именно вне материковой Греции древнегреческий литературный язык достиг в эпоху эллинизма наибольшего распространения.

Следует иметь в виду, что число общих языков в Греции было намного больше, чем представленных в литературном языке в качестве его диалектной базы. Во-первых, к ним относились общие языки, легшие в основу жанровых языков художественной литературы. Во-вторых, это были общие языки, сложившиеся в той или иной области Греции (как, например, северо-западное, ахейско-эолийское и другие койне), не поднявшиеся выше уровня делового письменного языка. В-третьих, к ним принадлежали общие языки местного значения, служившие средством общения внутри небольших районов и не получившие письменной фиксации. Итак, далеко не все общие языки вошли в сферу древнегреческого литературного языка и лишь немногие стали его основой ¹². Этой роли удостоились те из них, которые обладали наибольшей степенью обобщенности на территории, где вследствие определенных исторических условий происходил значительный подъем экономической, политической и общественной жизни. В древней Греции общими языками, ставшими базой основных разновидностей литературного языка, оказались наднаречные и наддиалектные образования городского (Аттика), регионального (Иония) и межрегионального (восточное Средиземноморье) масштаба.

Рассматривая ход развития древнегреческого литературного языка, нельзя забывать, что хотя формирование его основных разновидностей определялось регионами и диалектами, сыгравшими наиболее активную роль в историческом процессе, оно проходило не без участия остальных греческих областей и диалектов. Вклад последних в историю литературного языка был в целом несомненно менее существенным, однако и он должен учитываться при воссоздании общей картины сложного языкового творчества на греческом ареале. В этом плане привлекают внимание, прежде всего, Аркадия и ее диалект; эолийский диалект и о. Лесбос; такие области, как Беотия, Спарта и южная Италия ¹³. Наибольший интерес представляет, однако, колонизованный греками в VIII в. до н. э. остров Сицилия. Здесь на базе местного дорийского наречия сложился в VI—V вв. до н. э. сицилийский вариант литературного языка. Он поднялся

¹¹ Привлекает в этой связи внимание сделанное А. Меёе наблюдение, что за исключением трагедии все остальные жанры греческой литературы были созданы в колониях в VII—V вв. до н. э. (см.: A. Meillet, *Aperçu d'une histoire de la langue grecque*, Paris, 1965, стр. 143).

¹² Ср.: E. Schwyzer, *Griechische Grammatik*, I, 1, München, 1934, стр. 101.

¹³ Ср.: T. Sinko, *Literatura grecka*, I, 1, Kraków, 1931, стр. 406.

до определенного уровня развития главным образом благодаря политическому и культурному расцвету города Сиракузы¹⁴. Литературный язык Сицилии — еще одна, т. е. четвертая разновидность древнегреческого литературного языка. Вместе с тем она представляется нам не основной, поскольку не оказала существенного влияния на формирование основной линии греческого литературного языка и находилась в стороне от его исторического пути.

Начиная с древнейших времен, происходит постепенный процесс выбывания из числа активно действовавших в литературном языке диалектов и диалектных групп: сначала ахейской группы в послемикенский период, затем аркадско-кипрской — в ионийский, эолийской — в аттический и дорийской — в эллинистический. На исторической арене удержалась аттико-ионийская группа с некоторым переносом аттического диалекта. Исследователи отмечают при этом интересное обстоятельство. Аттико-ионийское диалектное единство, предполагаемое для архаического периода греческой истории как исходное для этой диалектной группы (оно распалось в историческое время на две самостоятельные ветви — аттическую и ионийскую), вновь возвращается к концу античности, хотя и на другом уровне, к своему первоначальному состоянию в виде эллинистического койне¹⁵.

Эллинистический этап развития древнегреческого литературного языка явился самым продолжительным, охватив период в 800—900 лет, т. е. столько же, сколько предшествовавшие ему разновидности, вместе взятые. В течение нескольких столетий койне вытеснило из употребления остальные греческие диалекты. Несколько усилился процесс фонетико-морфологических изменений, упростивших некоторые элементы структуры, но не нарушивших системы языка в целом. Обновилась и лексика прежде всего за счет собственных ресурсов, а также в результате заимствований из других языков, главным образом, из латинского¹⁶.

Тенденция древнегреческого литературного языка к выравниванию диалектной базы за счет основного компонента не смогла полностью проявить себя вплоть до конца эллинистического периода, так как этому препятствовали, с одной стороны, многовековая поэтическая традиция художественной литературы, с другой, движение аттицистов¹⁷. Литературный язык не достигает диалектной однородности, хотя в качественном отношении оба его основных компонента — аттико-ионийская основа койне и аттическая основа художественной прозы — были весьма близки один к другому.

В то время как литературный язык переходил на протяжении своей истории от одной разновидности к другой, меняя каждый раз диалектную (точнее, наддиалектную) основу, язык художественной литературы, особенно язык поэтических жанров, выделялся своим консерватизмом, сохраняя в течение столетий первоначальный диалектный колорит.

Древнегреческий литературный язык представлял собой на всех этапах развития в основном один и тот же языковой тип, существовавший в устной и письменной форме¹⁸. Он охватывал своим влиянием ряд сфер

¹⁴ Ср.: T. J. Dunbabin, *The Western Greeks*, Oxford, 1948, стр. 48.

¹⁵ Ср.: A. Meillet, указ. соч., стр. 306.

¹⁶ Ср.: A. Debrunner, A. Scherer, *Geschichte der griechischen Sprache*, II, Berlin, 1969, стр. 85—87.

¹⁷ См. капитальное исследование В. Шмидта: W. Schmid, *Der Attizismus in seinen Hauptvertretern*, I—IV, Stuttgart, 1887—1897.

¹⁸ Представляется неудачной попытка выделять в качестве литературного языка, выступавшего только в устной разновидности, греческий литературный язык эпохи Гомера (см.: «Общее языкознание», М., 1970, стр. 545), поскольку речь может

общения образованного и грамотного населения древней Греции в раннем, развитом и позднем рабовладельческом государстве. За его пределами оставалась обиходно-разговорная речь малограмотной и неграмотной части греческого общества.

Ионийская, аттическая и, тем более, дорийская (сицилийская) разновидности литературного языка имели лишь региональное значение. Ионийская разновидность охватывала в основном территорию Малой Азии, аттическая — Аттику и союзы с ней районы, дорийская — Сицилию и южную Италию. Наибольшего распространения достигла эллинистическая разновидность литературного языка, проникая постепенно во все части материковой Греции и в ряд стран восточного Средиземноморья, но прошло немало времени, пока она укрепились и на западной периферии греческого мира.

На каждом этапе развития древнегреческий литературный язык обогащался новыми подразделениями. В ионийский период возник ряд жанровых языков художественной литературы, таких, как эпос и лирика, получил дальнейшее развитие деловой язык, началось складывание языка литературной прозы. В аттический период продолжалось развитие старых и началось образование новых жанровых языков литературы (трагедии, комедии), расширилась сфера делового языка (надписи), языка философии, истории, возник язык публицистики. В эпоху эллинизма развивался деловой язык (папирусы), язык художественной литературы, науки, техники и религиозной прозы.

Появление новых подразделений древнегреческого литературного языка сопровождалось расширением диапазона его стиливого разнообразия. Стилиевые особенности характерны, прежде всего, для языка художественной литературы. В области поэтического творчества они связаны с различием основных литературных жанров — эпического, лирического и драматического. При этом внутри лирического четко выделяются стили хоровой и сольной лирики, внутри драматического — стили трагедии и комедии. Стилиевое разнообразие связано здесь в определенной степени и с диалектным колоритом того или иного поэтического жанра, поскольку каждый из них создавался на своей собственной более или менее древней диалектной базе, хотя, естественно, им не исчерпывалось. Литературные стили художественной прозы связаны со становлением философской мысли, исторического повествования, риторической практики и научных размышлений. Они более однообразны в диалектном плане и свидетельствуют о возросших духовных и культурных потребностях греческого общества.

Привлекают также внимание стилиевые различия делового языка, обслуживавшего административные, политические, хозяйственные, культовые и другие запросы населения. Сюда относятся в частности, стили законодательных актов, межгосударственных сношений, храмовых предписаний, деловых документов и частной переписки. В отличие от литературной художественной прозы, некоторые из них находились ближе к народно-разговорной речи (например, частная переписка) и отражали многообразные виды деятельности государственных и местных органов власти в различных областях Греции¹⁹. Примечательно, что уже первые надписи на греческом языке — крито-микенские тексты II тыс. до н. э. — дают нам представление о стиле документальной прозы²⁰, обслуживавшей хозяй-

идти в этом случае лишь о языке поэтического, точнее, эпического жанра греческой художественной литературы.

¹⁹ Ср.: E. Schwyzer, указ. соч., стр. 99.

²⁰ Как отмечает И. М. Троицкий, документальный стиль крито-микенских текстов письменно засвидетельствован в Греции на несколько столетий раньше, чем эпический (см.: ВЯ, 1971, 5, стр. 109).

ственно-канцелярские нужды микенских дворцов, стиле, с которым мы встречаемся позднее в папирусных документах эллинистического периода.

Древнегреческий литературный язык был языком обработанным, обладал своими нормами и правилами, которым обязаны были следовать те, кто им пользовался. Эта обработанность и регламентация были, естественно, различны в эпической поэме и в сольной песне. Стиль высокой поэзии существенно отличался, в свою очередь, от стиля делового соглашения. Регламентация проявлялась в фонетико-орфографическом плане, в морфологии и синтаксисе. Весьма существенным и важным был, конечно, лексический отбор. Вместе с диалектной характеристикой это был решающий показатель того или другого литературного стиля²¹.

Общая тенденция развития древнегреческого литературного языка состояла как в стремлении к унификации диалектных различий, так и в обновлении его лексических ресурсов. Наряду с существенными расхождениями внутри самой эллинистической прозы имели место, однако, и серьезные различия между прозаическим и поэтическим языком и, в частности, языком дактилической поэзии, все еще придерживавшимися гомеровских традиций. Античность не достигла и не могла достичь единства и всеобщности нормы литературного языка. Этому мешали не только большое социальное неравенство и глубокая пропасть между господствовавшим и угнетенным классами рабовладельческого государства, но и существенные противоречия внутри самого правящего класса, оказывавшего постоянное влияние на развитие культуры, литературы, искусства и образования, а следовательно, и на функционирование литературного языка в греческом обществе.

Попытаемся выделить общие и специфические черты древнегреческого литературного языка. К его важнейшим общим особенностям следует, по-видимому, отнести: тесную связь с процессом исторического развития греческого общества, подъемом или снижением экономического, политического и культурного потенциала греческого государства²²; определяющее значение социально-политических условий для расширения или сужения его функциональных возможностей; существенную роль в создании основных ценностей древнегреческой культуры; преемственность в сохранении языкового богатства, созданного на протяжении многих веков греческим народом; наличие развитой письменности, равно как и письменного и устного вариантов литературного языка; обработанность и нормированность языкового материала; наддиалектный или наднаречный характер языковой базы; известную степень поливалентности и др.

Среди специфических черт древнегреческого литературного языка можно выделить следующие: возникновение и развитие в недрах греческого рабовладельческого государства²³; системное единство и структурную целостность на протяжении многовековой истории; наличие в его единой системе четырех разновидностей или исторических этапов; смену диалектной базы на каждом из основных этапов его формирования; многодиалектность языка художественной литературы; создание на каждом этапе исторического развития новых жанровых языков художественной литературы; своеобразие дифференциационного и концентриационного процессов в условиях древней Греции; возникновение аттицизма и его роль как об-

²¹ Ср.: A. Meillet, указ. соч., стр. 133.

²² Ср.: М. М. Г у х м а н, К типологии германских литературных языков, в кн.: «Типология германских литературных языков», стр. 6.

²³ В. В. Виноградов писал: «... едва ли можно из истории литературных языков и их периодизации исключить своеобразие социально-исторических и культурно-общественных условий развития соответствующих народов» (в его кн. «Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития», М., 1967, стр. 36—37).

пественного и культурно-языкового течения эллинистической эпохи в последовавшем резком отрыве литературного языка от устной народной речи; относительно большое для раннего этапа общественного развития разнообразие литературных стилей и др.

Нельзя также забывать, что древнегреческий литературный язык был достоянием в основном класса рабовладельцев — граждан государства. Он был недоступен в самой Греции целым социальным группам не-граждан, немущим слоям городского населения, сельским жителям, женщинам и, конечно, рабам²⁴. Ни на одном этапе своего развития он не охватывал народно-разговорную речь населения, обслуживая лишь его привилегированную часть, не исключал параллельного функционирования региональных койне и местных диалектов. Древнегреческий литературный язык был чужд народным массам покоренных греко-македонскими завоевателями стран за пределами Греции в эпоху эллинизма. Ни в один из периодов своего существования он не распространял своего влияния на весь ареал Греции, оставаясь в конечном итоге всегда ограниченным территориально и демографически.

Таким образом, древнегреческий литературный язык представлял собой несомненную историческую реальность; обладал совокупностью общих черт, необходимых для признания его литературным, и отличался определенным своеобразием, связанным с историческими условиями своего формирования и существования, выполняемыми функциями, структурными и диалектными особенностями.

Древнегреческий литературный язык является первым литературным языком Европы, достигшим самостоятельно значительного уровня развития без ощутимого влияния других языков. Подобно тому, как греческая культура знаменовала собой важный этап в становлении европейской культуры, греческий литературный язык стал знаменательным явлением в истории формирования языков мировой цивилизации²⁵. Он позволяет проследить и проанализировать предпосылки и условия становления и исторического развития одного из важнейших атрибутов древнегреческой культуры на протяжении двух тысячелетий. Его изучение вносит определенную лепту в разработку общей теории формирования литературных языков, способствует уточнению его специфических, во многом уникальных и неповторимых черт²⁶.

²⁴ Ф. П. Филин, несомненно, прав, отмечая, что донациональные литературные языки были достоянием сравнительно узких слоев населения классово расчлененного общества (см. его статью «О свойствах и границах литературного языка», ВЯ, 1975, 6, стр. 8).

²⁵ Р. А. Будагов с полным основанием называет литературный язык одним из величайших завоеваний человеческой культуры (см. его кн. «Борьба идей и направлений в языковедении нашего времени», М., 1978, стр. 168).

²⁶ Ср.: «... кроме современных языков сохранилось много мертвых литературных языков, не менее оригинальных и неповторимых, которые непременно надо учитывать при построении общей теории литературного языка» (Ф. П. Филин, Что такое литературный язык, ВЯ, 1979, 3, стр. 7).

ГЮББЕНЕТ И. В.

К ВОПРОСУ О «ГЛОБАЛЬНОМ» ВЕРТИКАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Уже давно считается вполне обоснованным и не вызывающим никаких сомнений тот факт, что каждый писатель в меру таланта, способности видеть мир отражает в своих произведениях более или менее полно современную ему действительность.

Однако есть авторы, творчество которых настолько слито с той эпохой, которую они изображают, настолько является частью самой этой эпохи, что чем большее количество лет отделяет читателя от изображаемого периода, тем труднее становится для него по достоинству оценить и, нередко, просто понять произведения таких авторов. Часто поэтому приходится встречать как в отечественной, так и в зарубежной литературной критике такого рода определения: «писатель, творчество которого может быть оценено, воспринято, наконец, понято лишь в контексте определенной эпохи». Обычно эти слова не относятся к всемирно известным авторам, которые одинаково доступны для всех времен и народов и творчество которых каждое новое поколение открывает для себя по-новому. Так характеризуют в большинстве случаев авторов, чьи произведения находятся как бы на периферии национальных литератур. Но, не получив мировой известности, будучи иногда (и не всегда заслуженно) забыты последующими поколениями, эти произведения тем не менее весьма интересны как для рядовых читателей, так и для специалистов-филологов. Последние никак не могут оставлять без внимания такие явления, поскольку восприятие творчества писателя в контексте создавшей его эпохи — очень важная социолингвистическая и культурно-антропологическая проблема.

Понять такие произведения можно только при условии, если оказывается доступной вся совокупность, вся система моральных, этических и эстетических ценностей, характеризующая период их создания, период, нашедший в этих произведениях такое полное отражение.

Выбор нами в качестве примера произведений английского писателя Г. Х. Манроу (псевдоним «Саки») вполне определяется изложенными соображениями. Он как никто другой воплотил в своем творчестве дух «эдвардианской эпохи» (годы царствования короля Эдуарда VII, 1901—1910), т. е. фактически период от начала века до первой мировой войны. Этот короткий по времени период получил тем не менее яркое освещение в произведениях многих авторов как начала века, так и последующих лет. Объяснение этому можно, вероятно, найти не только в том, что это — период крушения «викторианской» морали, идеалов и принципов, но скорее, наоборот, в том, что именно в это время достигает своего апогея «золотой век» английской аристократии и крупной буржуазии. Неслучайно поэтому этот период «the golden years» или «the golden sunset». Слово *sunset* «закат» здесь как нельзя более уместно, потому что «золотой век» оказался в сущности преддверием упадка, утраты Великобританией ее прежних позиций, заката ее могущества как великой державы.

Попытка анализа произведений Манроу с точки зрения уже введенного и обоснованного ранее понятия «вертикального контекста»¹ приводит исследователя к заключению, что само это понятие, как и проблема понимания текста художественного произведения, с которой оно непосредственно связано, нуждается в дальнейшей разработке и детализации. Очевидно, что полнота восприятия достигается в данном случае не только за счет понимания читателем содержащихся в тексте цитат, литературных аллюзий и т. д. Перед исследователем того «г л о б а л ь н о г о» вертикального контекста, на фоне которого только и может адекватно восприниматься творчество Манроу, стоит, таким образом, задача впервые сколько-нибудь отчетливо перечислить, обобщить те свойства, особенности, ценности, которые характеризовали жизнь английского общества того времени. Только при условии такого рода «инвентаризации» читателю может быть дан ключ к пониманию блестящей сатиры писателя, в отдельных чертах сохраняющей свою остроту и по сей день.

В такой «инвентарный список» должно будет, вероятно, войти все, что составляло как внешние формы, так и само содержание жизни представителей определенного класса в начале века, начиная от места жительства, образа жизни и кончая их моральными, этическими и эстетическими воззрениями. Остановимся, например, на их «habitat», без которого, как писал впоследствии Голсуорси, «не мыслим ни один Форсайт». Форсайты по сравнению с персонажами Манроу занимали менее высокое положение в социальной иерархии, поскольку они принадлежали к новому классу, «the new rich», в конце прошлого — начале нынешнего века успешно утверждавшемуся на тех позициях, которые он завоевывал в течение всего XIX в. Но и тех и других в первую очередь объединяло их отношение к собственности. В этой связи следует заметить, что роль топонимики в вертикальном контексте, точнее, ее социальный аспект, до сих пор нельзя считать достаточно изученной. Дело в том, что упоминание географических названий в произведениях английской литературы часто оказывается для читателя-иностранца лишеным какого-либо значения. Факт, что тот или иной персонаж живет именно в том, а не в другом городе, в том, а не в другом районе Лондона и т. п., ничего не говорит неподготовленному читателю, не обладающему необходимым фоновым знанием, тогда как в английской действительности как в период, описываемый Манроу, так и в известной степени в настоящее время такого рода информация оказывается очень важной для понимания социального происхождения и общественного положения персонажа, например:

«His mother lived in Bethnal Green, which was not altogether his fault; one can discourage too much history in one's family, but one cannot always prevent geography. And, after all, the Bethnal Green habit has this virtue — that it is seldom transmitted to the next generation. Adrian lived in a roomlet which came under the auspicious constellation of W»² (76 Short Stories, стр. 108).

В данном случае противопоставление *Bethnal Green* и *the auspicious constellation of W* при наличии у читателя соответствующего фонового знания характеризует социальные претензии персонажа более наглядно, чем это могли бы сделать несколько страниц описания. Социальное «восхождение» персонажа, его подъем по общественной лестнице знаменуются здесь его

¹ О. С. А х м а н о в а, И. В. Г ю б б е н е т, «Вертикальный контекст» как филологическая проблема, ВЯ, 1977, 3.

² Цитируемый текст и остальные примеры из произведений Сакэ взяты из следующих изданий: S a k i, Selected and introduced by J. W. Lambert, London, 1963; 76 Short stories comprising Reginald, The Chronicles of Clovis, The toys of peace by Saki, London, 1966; S a k i (H. H. M u n r o), Beasts and super-beasts, London, 1950.

передвижением из далеко не фешенебельного Бетнел Грин в Вест Энд — средоточие респектабельности, богатства и моды.

Персонажи Манроу не только живут в определенных районах Лондона, они занимаются делами и развлекаются только в специально отведенные для этого часы, организуют свою жизнь в строгом соответствии с правилами этикета и даже реагируют на события их личной и общественной жизни только в определенной, раз навсегда установленной форме. Соблюдение условностей вплоть до неуклонного выполнения ритуала ежедневных действий чрезвычайно важно в этом обществе, следование во всех проявлениях жизни раз заведенному порядку составляет смысл существования этих людей. Их реакция на происшествия, самые неожиданные и драматические, нередко противоречит тому, что казалось бы естественным проявлением чувств по данному поводу:

«As a matter of fact Laura died on Monday.

„How dreadfully upsetting“, Amanda complained to her uncle-in-law, Sir Lulworth Quayne. „I've asked quite a lot of people down for golf and fishing, and the rhododendrons are just looking their best“» (Beasts and super beasts, стр. 16).

Сам факт смерти близкой родственницы не вызывает никаких эмоций, но «to die at the wrong moment» — это проступок, который трудно извинить. Такая реакция кажется настолько абсурдной, что может вызвать у читателя сомнения относительно достоверности изображаемого и привести его к заключению, что это не что иное, как очередной взлет фантазии автора. В таких случаях приходят на помощь данные мемуарной литературы, как нельзя более убедительно свидетельствуя о реальной возможности, допустимости такой на первый взгляд гротескной ситуации. Смерть не должна нарушать раз навсегда заведенный порядок вещей, неотъемлемой частью которого являются рыбная ловля и игра в гольф в особо отведенное для этих развлечений время, точно так же, как известие об объявлении войны никак не должно прервать сезон охоты на куропаток:

«...the news that the Archduke Frances Ferdinand had been assassinated reached us... One of the neighbouring houses, I think Inverewe, had been rented by Lord Cunliffe, Governor of the Bank of England. One would have supposed that at such a crisis he would have returned to London, but that would have been unthinkable in August»³.

Следует особо отметить, что роль мемуарной литературы, всякого рода записок, дневников, писем является исключительно важной для понимания произведений художественной литературы, относящейся к определенным периодам. Такие источники как бы формируют фон, на котором изображаемые в том или ином произведении события приобретают особую яркость, выразительность, усиливают эффект соучастия читателя в происходящем. Заслуживающим особого сожаления представляется то, что программа филологического факультета МГУ не включает основательного курса истории, хотя бы только страны изучаемого языка. Утверждение о том, что филология представляет собой нерасторжимое единство языковедения и литературоведения, теперь уже не подлежит сомнению. Настало время самым серьезным образом поставить вопрос о роли истории в курсе филологии. Сведения по истории, получаемые студентами из курсов истории литературы, явно недостаточны, чтобы обеспечить уровень восприятия художественного текста, предполагаемый у студента-филолога, не говоря уже о воспитании у него историзма мышления. Встречая в процессе чтения исторические реалии, студенты часто оказываются не в состоянии правильно осмыслить и оценить их, поскольку эти реалии не соотносятся в их пред-

³ K. Clark, Another part of the wood, London, 1974, стр. 40.

ставлении с каким-то конкретным историческим периодом, всей обстановкой и самим духом эпохи. Причем этот недостаток знаний едва ли восполняется за счет пространных комментариев к отдельным изданиям. Вопрос о самих таких комментариях, о научно обоснованном и систематическом подходе к их составлению представляется еще далеко не разрешенным.

Создание полного «инвентаря», отражающего все стороны и обстоятельства жизни определенной части английского общества, к которой принадлежат персонажи Манроу, — задача сложная и осуществимая лишь в пределах обширного и подробного исследования. Представляется возможным, однако, в целях разъяснения основных принципов «глобального» вертикального контекста, кратко охарактеризовать один из его аспектов, а именно отношения между различными классами английского общества в начале нынешнего века, как они предстают перед нами на страницах произведений Манроу.

Основная масса персонажей Манроу — это представители так называемого «upper middle class», чье происхождение, воспитание, образование формирует из них как бы особую породу людей, противопоставляющих себя всему остальному человечеству, поскольку «они» — это «не мы»: «они» не кончали ту же школу, что и «мы», «они» не носят в положенных случаях шляпу и перчатки, не любят животных, плохо ездят верхом, имеют вульгарное произношение и т. д. Между этими людьми и всем остальным миром лежит пропасть. Их суждения об этом мире и том, что в нем происходит, не находятся, как правило, в соответствии с нормами абстрактной морали, для них важно только одно — «наше», т. е. то, что принято в «нашем» кругу и «не наше» — где-то там существует сфера других отношений и понятий, с которыми «мы» не имеем ничего общего.

Особой остроты это противопоставление двух миров достигает у Манроу в изображении отношений между господами и прислугой. Вещественным символом этого различия является пресловутая «baize door». Это не просто «дверь, обитая сукном», но демаркационная линия, разделяющая дом в первую очередь, конечно, чисто «территориально»:

«But it can still be a disconcerting experience to push through the baize doors, studded with brass nails, that divided the servants from the family, and pass from carpets, big rooms, light, comfort and air to dark corridors, linoleum, poky rooms, and ghostly smell of stale cabbage»⁴.

По другую сторону «обитой сукном двери» существовала тоже особая группа людей, представляющая собой строгую иерархию, в которой каждый занимал свое вполне определенное место, неукоснительно выполняя свои обязанности, с такой же последовательностью и методичностью, с какой по ту сторону выполняли свои светские обязанности господа. В одном из рассказов Манроу родственник хозяев дома, желая помочь им избавиться от надоевшей гостьи, угрожает ей преследованиями со стороны яковы маниакально настроенного дворецкого:

«„But he can kill me at any moment“, protested Jane. „Not at any moment, he's busy with the silver all the afternoon“» (Selected stories, стр. 67).

Опасность, как мы видим, угрожает гостье только в те часы, когда дворецкий свободен от своих обязанностей: нормален он или нет, ничто не может нарушить установленный распорядок.

Что касается отношения к домашней прислуге со стороны господ, то главным в нем было отнюдь не высокомерие «высших» по отношению к «низшим»: напротив, всякий, кто повел бы себя таким образом, рисковал бы утратить достоинство истинного «джентльмена» или «леди», только

⁴ M. Girouard, *Life in the English country house. A social and architectural history*, London, 1978, стр. 285.

выскачки могли позволить себе подобное. Речь здесь идет совсем об ином, о той пропасти, которая разделяла людей «разной породы». Господам и в голову бы не пришло унижить прислугу («Servants must be treated with the utmost courtesy. They are doing skilled work which you could not possibly do yourself without long training»)⁵, но в такой же мере неприемлемыми показались бы им и какие-либо иные формы отношений с прислугой, помимо использования их услуг. Весь мир человеческих переживаний, судеб людей, живших с ними в течение подчас многих лет, был им абсолютно чужд. То, что любая из этих cooks, parlour-maids, kitchen-maids имела свой дом, семью, заботы, интересы и, как это ни странно звучит, свое собственное имя, ни в коей мере не интересовало господ:

«„What I mean is“, said Mrs. Riversedge, „that when I get maids with unsuitable names, I call them Jane; they soon get used to it“».

Это высказывание из одного из рассказов Манроу могло бы звучать преувеличением, имеющим целью создание комического эффекта. Однако такой порядок вещей был общепринятым в описываемый период.

Аналогичное явление мы наблюдаем в романах П. Дж. Вудхауса, где Берти Вустер с изумлением узнает, что у Дживаа есть еще и имя, факт, никогда не приходивший в голову «молодому хозяину».

Такая аналогия никак не может считаться случайным совпадением, поскольку идиллический мир П. Дж. Вудхауса — это в сущности тот же самый мир, в котором живут и герои Манроу, со всеми его особенностями и закономерностями.

Таким образом, сделанные наблюдения приводят к выводу, что трудность восприятия литературно-художественного текста заключается в первую очередь в правильном понимании всего комплекса социальных, моральных, эстетических и других черт эпохи, причем того, как они отражены не только в произведениях данного автора, его современников, писателей, обращающихся к одному и тому же историческому периоду, но и в произведениях, написанных с промежутком в несколько десятков лет.

Если обратиться, например, к описанному выше противопоставлению определенных социальных групп, то сразу же обращает на себя внимание тот факт, что отношение к домашней прислуге как к особой породе людей находит выражение как у И. Во в сороковых, так и у М. Иннеса в шестидесятых годах нашего столетия.

Супружескую пару Джеллаби (the Jellabies), выведенную в качестве слуг, И. Во⁶ воспринимает как некие инородные, совершенно чуждые ему элементы, чьи понятия о морали, правила, нормы поведения вызывают у него неприязненное недоумение:

«The Jellabies eat continually, sleep with the windows shut, go to church every Sunday morning and to chapel in the evening, and entertain surreptitiously at my expense whenever I am out of the house».

«Спать с закрытыми окнами», казалось бы, на первый взгляд, малозначительный факт, ускользающий от внимания при поверхностном чтении и приводящий в недоумение внимательного читателя, оказывается на самом деле весьма знаменательным:

«Belief in the virtues of country air led to a passion for open windows, and for living, working, eating and sleeping in or above the garden, in loggias, outdoor rooms, sleeping porches or on bedroom balconies»⁷.

В такой как будто бы мелкой детали как в капле воды отражается вся совокупность различий между людьми «высшего сорта» с их правилами

⁵ A. Christie, Autobiography, London, 1978, стр. 29.

⁶ E. Waugh, Work suspended and Other pieces, London, 1943.

⁷ M. Giguard, указ. соч., стр. 314.

и укладом жизни и всей остальной массой, которой этот уклад недоступен и чужд.

В романе «The New Sonia Wayward»⁸ мы встречаем другую супружескую пару — Хенвайфов (the Hennwifes), чье поведение постоянно вызывает осуждение со стороны полковника Петтикейта, у которого они состоят в услужении, поскольку, по его мнению, оно явно не соответствует их общественному положению. Он отказывает им не только в праве выбирать домашних животных по своему вкусу, но и в способности иметь ощущения, переживания, интересы, составляющие привилегию господ:

«Ambrose was Mrs. Hennwife's Pekinese — and a creature to Petticate's mind, even more objectionable than Mrs. Gotlop's Boswell. For at least Boswell, however disgusting in himself, held what might be called a legitimate place in society, since his mistress belonged to a class in whom the proprietorship of small and expensive dogs was customary and allowed. Indoor servants may properly, perhaps, keep a cat. But a kitchen dog is an anomaly».

Могло бы показаться, что М. Иннес, писавший в 60-х годах, должен был бы изображать иной, изменившийся, преображенный мир по сравнению с тем, что мы находим у Манроу. В этом новом мире Петтикейт и ему подобные должны были бы выглядеть просто карикатурно. В известной степени так оно и есть. Но в то же время, чтобы такой персонаж со всеми его особенностями мог быть понят читателем, он должен быть у з н а в а е м, чего можно достичь только при условии восприятия его как порождения того же самого мира, который породил Кловиса Сангрейла и Берти Вустера, Дживза, Джеллаби и других.

Несомненно, что полное понимание текста художественного произведения возможно, таким образом, лишь при условии охвата в с е х моральных, этических, эстетических и других проявлений, характерных для эпохи создания данного произведения. Эти черты эпохи находят, в частности, свое наиболее яркое проявление с языковой точки зрения в выборе общего регистра речи, избираемого с целью создания общего колорита, который в свою очередь может сгущаться или модифицироваться в зависимости от того, что находится в центре внимания.

Таким образом, то, что мы предлагаем назвать «глобальным» вертикальным контекстом, никоим образом не может рассматриваться как результат простого сложения таких элементов, как аллюзии, цитаты и т. д. Скорее, его следовало бы представить себе в виде некоей всепроникающей сущности, которая, заполняя собой произведения художественного творчества, как бы высвечивает изнутри все эти элементы, придает им форму, определенные очертания, которые воспринимаются читателем. Без этого сами по себе цитаты, литературные аллюзии, реалии представляются лишь набором загадок, наподобие кроссворда, разгадывание которого часто может оказаться не по силам рядовому читателю и едва ли может принести удовлетворение и специалисту-филологу.

Итак, в качестве первоочередной задачи исследователя вертикального контекста следует поставить сопоставление и сравнительное изучение двух понятий: «вертикальный контекст» — «контекст эпохи», в результате чего мы могли бы подойти к разрешению вопроса о «глобальном» вертикальном контексте и методах его изучения.

⁸ M. I n n e s, The New Sonia Wayward, London, 1960.

ЗАБАВНИКОВ Б. Н.

О НЕАДЕКВАТНОСТИ «ИММАНЕНТНЫХ» ГРАММАТИК

Акад. В. В. Виноградов справедливо сетовал на то, что «объем и задачи грамматики не очерчены с достаточной ясностью»¹. Границы объекта грамматической науки устанавливались по-разному в различные периоды развития языкознания, неодинаково они трактуются и в настоящее время. Так, академическая «Грамматика русского языка» 1953 г. давала следующее определение: «Грамматикой называется наука о строе слова и строе предложения в отвлечении от конкретного материального значения слов и предложений, а также и самый строй слова и предложения, присущие данному языку»². Это определение было повторено в 50-х — 60-х годах во многих изданных в СССР вузовских учебниках, написанных в традиционном плане³.

По В. В. Виноградову, «наиболее рациональным делением грамматики (если не включать в нее фонетику) было бы деление на: 1) грамматическое учение о слове, 2) учение о словосочетании, 3) учение о предложении, 4) учение о сложном синтаксическом целом и о синтагмах как его составных частях»⁴.

Характерным для приведенного определения является исключение из числа грамматических объектов звуков языка (фонем) и слов (лексем), с одной стороны, и речевых произведений, больших, чем простое и сложное предложение, с другой стороны. Задачи грамматики сводятся к инвентаризации присущих слову и предложению форм и значений. Выход за пределы инвентаря грамматических форм и значений, да и вообще за пределы языковой системы как организованной совокупности средств, которые обретают реальность в текстах и коммуникативных актах, не предполагается. В лучшем случае допускается параллельное существование так называемой стилистической грамматики⁵, которая, тем не менее, уделяет недостаточное внимание коммуникативно-прагматическим факторам, позволяющим дать более адекватную оценку тем или иным грамматическим явлениям, в частности, временным формам и их значениям.

Таким образом, традиционная грамматика памерно сужает границы своего объекта, что создает непреодолимую пропасть между языковой системой (*la langue*) и речью (*la parole*). Статический подход определил каталогизацию фактов как бы на «домолекулярном» уровне. Статичность оказалась присущей и таким направлениям, как структурная грамматика, содержательная грамматика, функциональная грамматика и порожда-

¹ В. В. Виноградов, Русский язык. Грамматическое учение о слове, М., 1972, стр. 9.

² «Грамматика русского языка», I — Фонетика и морфология, М., 1953, стр. 8.

³ Е. И. Шендельс, Грамматика немецкого языка, 2-е изд., М., 1954, стр. 5; Е. В. Гулыга, М. Д. Натанзон, Грамматика немецкого языка, М., 1957, стр. 7; О. I. Moskalska ja, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, Moskau, 1971, стр. 41 и сл.

⁴ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 13.

⁵ Ср.: W. Schneider, Stilistische deutsche Grammatik, 3. Aufl., Freiburg, 1963.

ющая грамматика, которая открыто прокламировала динамический принцип⁶. Все эти направления грамматической мысли ориентируются на исследование форм слова и форм предложения «изнутри», без учета их собственно коммуникативной и прагматической стороны, не рассматривая их функционирование в тексте как воплощение авторской интенции.

Статический подход имманентных грамматик особенно наглядно выступает на материале анализа категории времени, которая как раз по своему содержанию прежде всего оказывается ориентационной⁷, т. е. локализирующей действие относительно времени протекания коммуникативного акта. Чаще всего грамматисты сосредотачивают свое внимание на составе и строении временной парадигмы (признание или непризнание статуса форм времени за будущим I и II, трактовка аналитических конструкций и т. п.), на установлении инвентаря основных и побочных значений временных форм⁸. При этом основные значения устанавливаются в итоге оппозиционного анализа и трактуются как категориальные, парадигматические, независимые от контекста. Побочные же значения выводятся из контекстуального фактора, модифицирующего определенным образом общее или основное значение формы, ее грамматическую функцию⁹. Введение, вслед за Л. Теньером, понятия транспозиции¹⁰ существенно дополнило традиционный парадигматический анализ требованием обращения к контексту. В еще большей степени коммуникативно-прагматический фактор начинает учитываться в концепциях функционально-семантического (или грамматико-лексического) поля¹¹. В рамках функционально-семантического подхода собственно морфологическая категория (время, лицо, наклонение, вид и т. д.) начинает рассматриваться как ядро (или центральная зона) обширного набора средств, выражающих однонаправленные значения (темпоральность, персональность, модальность, аспектуальность и т. д.). Но и этот подход оказывается в основном парадигматическим и направлен прежде всего на каталогизацию гомофункциональных единиц в системе языка. Их коммуникативно-интенциональный потенциал систематически не изучается, анализ замкнут системой языковых средств как таковой, тексты же и языковая коммуникация привлекаются лишь как материал исследования, а не его объект. Есть, следовательно, грамматика языковых средств, но нет грамматики речевой деятельности.

Возникновение лингвистики текста служит заполнению пробела между «системной» лингвистикой и теорией речевой деятельности. В ее рамках формируется грамматика текста как дисциплина о тектонических и семантических особенностях речевого целого¹². Но грамматика текста опять-таки изучает не столько текст в целом, сколько способы соединения в нем предложений (или высказываний), т. е. рассматривает его «изнутри», исходя из составляющих его единиц. Между тем текст, благодаря своему по-

⁶ См. оценки в работах: О. I. Moskalskaja, указ. соч.; W. Schmidt, Grundfragen der deutschen Grammatik, Berlin, 1966.

⁷ Ср.: А. В. Бондарко, Грамматическое значение и смысл, Л., 1978, стр. 122.

⁸ Ср.: W. Admoni, Der deutsche Sprachbau, Leningrad, 1972; О. I. Moskalskaja, указ. соч.; W. Schmidt, указ. соч.

⁹ Ср.: «Die deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie», 2, Leipzig, 1970, стр. 842, 846, 848, 850.

¹⁰ L. Tesnière, *Eléments de syntaxe structurale*, Paris, 1959.

¹¹ А. В. Бондарко, Л. Л. Булавин, Русский глагол, Л., 1967; А. В. Бондарко, Вид и время русского глагола (значение и употребление), М., 1971; его же, Грамматическая категория и контекст, Л., 1971; его же, Теория морфологических категорий, Л., 1976; его же, Грамматическое значение и смысл, Л., 1978; Е. В. Гулыга, Е. И. Шейдельс, Грамматико-лексические поля в современном немецком языке, М., 1969; Г. С. Щур, Теории поля в лингвистике, М., 1974.

¹² См.: W. Dressler, *Einführung in die Textlinguistik*, Tübingen, 1973.

ложению между системой конститутивных средств выражения языка и коммуникативной деятельностью¹³, должен рассматриваться и со стороны коммуникативного акта¹⁴.

Грамматика текста может считаться развертыванием «старой» грамматики, если ее объектом будет признано триединство «текст — предложение — слово»¹⁵, и, вероятно, более адекватным будет построение расширенного варианта грамматики по пути «сверху», от целого к его частям, что позволит лучше и полнее эксплицировать коммуникативно-прагматические функции не только предложений, но и морфологических фактов. Такие реализации уже имеют место в построении теории понятийных категорий, грамматико-лексических или функционально-семантических полей и т. п.¹⁶.

Расширенный вариант грамматики как раз и может квалифицироваться как коммуникативно-ориентированная грамматика. В противоположность другим, по существу имманентным теориям, она должна начинать с экспликации понятий коммуникативной деятельности, речевого действия и интенции, вычленив свой первый объект — текст¹⁷ — из коммуникативного акта.

Схематично принципы построения такой грамматики можно охарактеризовать следующим образом. Коммуникативно-ориентированная грамматика должна, во-первых, ориентироваться на иллокутивный акт и, во-вторых, ограничиваться относительно узкими областями средств выражения языка, которые рассматриваются в функциональной связи с иллокутивным актом. Эти связи должны стоять в центре внимания, их систематическая экспликация является главным предметом лингвистической прагматики¹⁸.

Задачей коммуникативно-ориентированной грамматики является систематическое и идеально исчерпывающее реконструирование конститутивных правил для средств выражения языка при осуществлении и речевых (или частичных речевых) актов¹⁹.

Коммуникативно-ориентированная грамматика и только грамматическая теория ее форм является адекватной грамматикой естественных языков как средства коммуникативной деятельности. В определенном смысле (а именно в отношении элиминации внутреннего теоретического противоречия грамматики Хомского) такая грамматическая теория является даже единственно возможной грамматикой для естественных языков.

Перед коммуникативно-ориентированной грамматикой стоит особая задача — рассматривать средства выражения языка в их отношении к речевому акту как к целому. Особенно важным является вопрос идеально исчерпывающего описания классов средств выражения языка в отношении их выразительности к осуществлению или в осуществлении речевых актов в различных типах и частичных речевых актов.

¹³ См.: И. П. Сусов, Семантические функции основных лингвистических объектов, в кн.: «Предложение и текст в семантическом аспекте», Калинин, 1978.

¹⁴ Такой подход представлен в книге: S. Schmidt, указ. соч.

¹⁵ См.: И. П. Сусов, Предложение как лингвистический феномен, «Сб. научных трудов МГПИИЯ им. М. Тареева», 112, М., 1977.

¹⁶ Ср.: А. В. Бондарко, Грамматическое значение и смысл, Л., 1978.

¹⁷ См.: Б. Н. Забавников, Методологические аспекты коммуникативно-ориентированной грамматики, ИАН ОЛЯ, 1980, 1, стр. 69.

¹⁸ Лингвистической прагматикой или прагмалингвистикой принято называть лингвистическую теорию, в основу которой положено языковое действие: См.: H. Steger, Soziolinguistik, в кн.: «Lexikon der germanistischen Linguistik», hrsg. von H. P. Althaus, H. Henne, H. E. Wiegand, Tübingen, 1973, стр. 246.

¹⁹ Под речевым актом здесь понимается конкретное высказывание в определенной речевой ситуации, под частичным речевым актом — часть такого высказывания.

Темпоральные средства надо рассматривать не только в отношении акта временной референции, который должен быть осуществлен при помощи средств выражения данного языка, но и в отношении их функций при детерминировании типов иллокутивных актов.

Особый интерес представляют в этом отношении перформативные глаголы, связывающие уровень норм языка с уровнем осуществления речевых актов. Д. Вундерлих представил эту область в анализе «эксплицитных перформативных формул»²⁰, но одновременно показал, что не все фразы, обозначающие говорение, могут быть реализованы так же, как перформативные выражения (например, высказывания, умалчивания и т. п.)²¹. Во-первых, употребление эксплицитной перформативной формулы не всегда устанавливает действительную коммуникативную функцию (тип иллокутивного акта) высказывания (ср. нем. *Ich rate dir, die Fresse zu halten!* «Я советую тебе заткнуться!» — в этом высказывании не содержится совета), и, во-вторых, в нормальной беседе такие формулы употребляются весьма редко. Поэтому невозможно связать конвенциональность речевых действий только с возможным употреблением таких формул²².

Другая область, в которой делаются попытки эксплицировать соотношение речевого акта и средств выражения, — явление «иллокутивной индикации» («иллокутивного признака»). Здесь исследуются средства выражения, которые детерминируют контекстуально тип иллокутивного акта или, как утверждает Д. Вундерлих, «коммуникативную функцию» выражения, не являясь при этом эксплицитными перформативными формулами. Эти средства мы находим прежде всего в частицах (например, *du kannst ja das Fenster schließen* «ты же можешь закрыть окно» (совет) или в предшествующих или последующих кратких фразах *schließt du das Fenster — ja oder nein!* «закроешь ты окно — да или нет!» (угроза)], грамматическая функция которых часто так туманна²³.

Следует обратить также внимание на следующее очень важное положение: при классификации средств выражения по их коммуникативно-функциональным результатам нарушается традиционная схема частей речи, причем некоторые из этих средств выполняют роль иллокутивных индикаторов, не являясь ими в таксономическом смысле. Немалую роль играют также значения категории времени, наклонений глаголов, модальных глаголов и, наконец, конвенционализированных интонационных образцов. Так, среди средств выражения в традиционной грамматике немецкого языка различают шесть временных форм, а именно имперфект, презенс, футурум I, с одной стороны, плюсквамперфект, перфект, футурум II — с другой²⁴. Первая группа причисляется к уровню незавершенности, вторая группа причисляется к уровню завершенности. Таким образом, «таблица шести временных форм»²⁵, которая образована по аналогии с латинской, никоим образом не соответствует отношениям в немецком языке, что можно легко показать на нескольких примерах: в предложении *Sie wird wohl ihre Arbeit noch schreiben* «Она, вероятно, пишет еще свою работу» форма футурума I, как видно, не является референцией будущего времени. Также и в предложении *Ich fahre in zwei Tagen*

²⁰ Ср.: D. Wunderlich, Zur Konventionalität von Sprechhandlungen, в кн.: «Linguistische Pragmatik», hrsg. D. Wunderlich, Frankfurt-am-Main, 1972, стр. 15 и сл.

²¹ Там же, стр. 16, примеч. 2.

²² Там же, стр. 17.

²³ Там же, стр. 18 и сл.

²⁴ См.: W. Admoni, указ. соч.; O. I. Moskalskaja, указ. соч.

²⁵ Ср.: L. Weisgerber, Grundzüge der inhaltsbezogenen Grammatik. Von den Kräften der deutschen Sprache, I, Düsseldorf, 1962, стр. 321 и сл.; W. Schmidt, указ. соч.

nach Leningrad «Я поеду через два дня в Ленинград» при помощи презенса от глагола *fahren* «ехать» не выражается настоящее время.

Показательным для таких систем временных форм²⁶ является возможность приписать морфемному классу временных форм одно значение, своего рода основную информацию, которая, собственно говоря, может уже определять истинное (функциональное) значение каждой формы²⁷. Это относится также и к попытке заменить неприемлемую схему традиционной грамматики подходящей «системой». Например, Г. Глинц использует «схему двух временных форм», которая основана на противопоставлении «прошедшее» — «непрошедшее»²⁸. Эта дихотомия приводит к ограничению презенса по сравнению с другими временными формами: презенс рассматривается как «немаркированная форма»²⁹.

«Основную информацию» презенса Глинц устанавливает следующим образом: «высказывание (или вопрос), основной глагол которых стоит в презенсе, не ограничено формой глагола в ее временном значении»³⁰. Не говоря уже о трудностях, связанных с переносом теории маркирования из области фонологии на область морфологии, следует обратить внимание на то, что на примере презенса отчетливо видна вся бесплодность попыток установления «основных информаций» для морфемных классов временных форм. Однако это относится и к другим временным формам: так, например, Глинц фактически не в состоянии установить «основные информаций» для морфемных классов временных форм футурума I и футурума II³¹. Он сам сомневается в том, может ли одна форма являться носителем нескольких информаций («в зависимости от ситуации») и можно ли вообще отличить «действительную» информацию от информации основных форм³².

Ошибочность этого мнения Г. Глинца можно показать на следующих примерах. В предложениях *Er wird das Buch lesen* «Он прочитает книгу» и *Er wird wohl das Buch noch lesen* «Он, вероятно, еще читает книгу» форма футурума I передает различную информацию. Также в предложениях *Er wird das Buch schon gelesen haben* «Он, вероятно, прочел уже книгу» и *Nachdem er das Buch gelesen haben wird, wird er die Prüfung ablegen*. «После того, как он прочтет эту книгу, он сдаст экзамен» форма футурума II является носителем различной информации.

Тем самым попытка установить основные информаций для морфемных классов временных форм является тщетной, а Глинц избегает в своих позднейших работах этого определения временных форм³³. Таким образом, вопрос о системе морфемных классов временных форм будет представлять нерешенную проблему до тех пор, пока не будут найдены более мелкие категориальные звенья для этих классов.

Общим для признаков временных форм в коммуникативно-ориентированной грамматике является то, что они не понимаются больше как корреляты «объективно-реальных ступеней временных форм»³⁴, которые не

²⁶ Ср.: D. Wunderlich, *Tempus und Zeitreferenz im Deutschen*, München, 1970, стр. 43; H. Gelhaus, *Zum Tempussystem der deutschen Hochsprache*, в кн.: H. Gelhaus et al., *Der Begriff Tempus — eine Ansichtssache?* Düsseldorf, 1969, стр. 6.

²⁷ H. Glinz, *Zum Tempus- und Modusystem des Deutschen*, в кн.: H. Gelhaus et al., *указ. соч.*, стр. 51.

²⁸ Ср.: H. Glinz, *Deutsche Grammatik*, I — Satz — Verb — Modus — Tempus, Frankfurt-am-Main, 1970, стр. 103.

²⁹ Ср.: H. Glinz, *указ. соч.*, стр. 155 и сл.

³⁰ H. Glinz, *Zum Tempus- und Modusystem des Deutschen*, в кн.: H. Gelhaus et al., стр. 53.

³¹ Там же, стр. 56.

³² Там же, стр. 51.

³³ Там же, стр. 50—58.

³⁴ Ср.: G. Helbig, *Probleme der deutschen Grammatik für Ausländer*, Leipzig, 1972, стр. 41.

идентифицируют «грамматические категории временных форм» (как это имеет место в традиционном понимании схемы шести временных форм) с «онтологическими категориями временных форм»³⁵. Напротив, они исходят из того, что «реализация» временных форм состоит в том, чтобы связать «время происходящего с моментом речевого акта, с моментом речи»³⁶.

Каким же образом можно определить более мелкие категории временных форм в коммуникативно-ориентированной грамматике на их различных ступенях? Видимо, эти категории по своему образованию и по своей природе должны быть гетерогенными, но в большинстве случаев служить цели определения отношения (в широком смысле) между говорящим и результатом коммуникативного акта. Они должны охватывать одновременно психологические, прагматические и семантические компоненты и учитывать влияние ситуативных факторов на «содержание времени».

С методической точки зрения коммуникативно-ориентированная грамматика представляет собой интеграцию теории речевого акта и теории средств выражения языка. Вместе с тем коммуникативно-ориентированная грамматика не может в этом смысле опираться на свободную интуицию лингвиста. Другими словами, совсем недостаточно создать нормативные правила осуществления речевых (частичных речевых) актов, а должна систематически учитываться и комплексность, множественность языковой структуры.

Решение проблемы множественности средств выражения (в каждом отдельном языке), по нашему мнению, вполне осуществимо потому, что реконструирование общепринятых правил средств выражения должно производиться не с помощью интуитивных суждений о субъективно конструируемых примерах, а на основании большого числа фактических данных.

В качестве альтернативы к имманентным грамматикам коммуникативно-ориентированная грамматика исходит из речевого действия³⁷, которое может быть описано систематически на уровне иллокутивного акта, т. е. на основании конституирования правил. И не математические или логические модели образуют фундамент теоретического описания, а нормативные правила, созданные при помощи материалистического метода, базирующегося на основе марксистско-ленинской теории действия³⁸.

Разложение речевого акта на его составные части открывает, в конечном счете, при учете принципиального изменения предмета языка, возможность исчерпывающего описания средств выражения языка (социолекта и т. д.), т. е. нормативных правил, которым следуют участники коммуникативной деятельности, когда они употребляют средства выражения языка при осуществлении речевых актов (частичных речевых актов). Подобная коммуникативно-ориентированная грамматика оперирует, таким образом, всегда и принципиально единицами, относящимися к коммуникативной деятельности.

Под коммуникативно-ориентированной грамматикой следует поэтому понимать такую грамматику, которая описывает и объясняет назначение грамматических форм языка, их функционирование в соответствии с речевой обстановкой, структурой речевого акта и интенциями говорящего³⁹.

³⁵ W. Schmidt, Ist das Perfekt ein Vergangenheitstempus?, «Deutsch als Fremdsprache», 1968, 5, стр. 199.

³⁶ Там же, стр. 13 и сл.; W. Admoni, указ. соч., стр. 184 и сл.

³⁷ См.: В. Н. Забавников, указ. соч., стр. 69 и сл.

³⁸ См.: В. Н. Забавников, указ. соч., стр. 71 и сл.; см. также: В. Н. Забавников, О некоторых элементах адекватного определения языкового знака в коммуникативно-ориентированной лингвистике, ФН, 1980, 3, стр. 46 и сл.

³⁹ В. Н. Забавников, Методологические аспекты коммуникативно-ориентированной грамматики, стр. 69.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

МУРЯСОВ Р.З.

К ТЕОРИИ ПАРАДИГМАТИКИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Понятия парадигматики и синтагматики в лингвистике связывают с именем Ф. де Соссюра. Парадигматика рассматривается как область закономерного варьирования единиц, которые могут встречаться в одной и той же позиции, в то время как синтагматика предполагает закономерное сцепление единиц в линейной последовательности в речи. Существуют два ряда соотносительных терминов: 1) парадигма — парадигматика — парадигматические отношения и 2) синтагма — синтагматика — синтагматические отношения. Правда, эти два ряда в известной мере асимметричны. Термин «синтагма» не характеризуется строгой терминологической общностью с соответствующими однокорневыми производными, с одной стороны, и невозможна корреляция «парадигма — синтагма» с другой. Общеизвестным можно считать поэтому соотносительное употребление терминов «парадигматика — синтагматика» и «парадигматические отношения — синтагматические отношения».

Если раньше существовала тенденция к отождествлению понятий «система» и «парадигма», с одной стороны, и понятий «речь» и «синтагматика», с другой, то в последние десятилетия оба вида отношений приписываются системе языка¹. «Язык одновременно является и парадигматикой элементарных единиц, и парадигматикой последовательностей (синтагм)», — пишет Ю. М. Скребнев².

В данной статье предпринимается попытка проанализировать случаи употребления терминологического ряда «парадигма — парадигматика — парадигматические отношения» в исследованиях некоторых отечественных и зарубежных лингвистов.

Генетически и с точки зрения своей бесспорности и общепризнанности основной сферой понятия «парадигма» является морфология. О. С. Ахманова приводит два определения парадигмы: «1) совокупность флексивных изменений, служащих образцом формообразования для данной части речи; 2) совокупность форм словоизменения данной лексической единицы, совокупность словоформ, составляющих данную лексику»³. Неко-

¹ См., например: В. Н. Ярцева, О соотношении языка и речи, сб. «Язык и речь. Тезисы докладов», М., 1962; В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1977, и др.

² Ю. М. Скребнев, Очерк теории стилистики, Горький, 1975, стр. 64.

³ О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1966.

торые лингвисты говорят о частных (например, «парадигма ед. ч.», «парадигма наст. вр. глагола») и полных парадигмах, представляющих собой сумму частных парадигм данного слова. Гр. 70 по составу входящих в парадигму форм у глаголов и прилагательных выделяет парадигмы суженные, расширенные и комплексные. Суженной называется парадигма, представленная только синтетическими формами для выражения основных категориальных значений слова; расширенная парадигма (например, глаголов) включает аналитические формы, для прилагательных — неатрибутивные (краткие) формы. Кроме того, особо выделяется неполная парадигма, в составе которой отсутствуют одна или несколько словоформ⁴.

Таким образом, в морфологии понятие парадигмы рассматривается прежде всего в связи с понятием грамматической категории, т. е. любая словоизменительная парадигма соотносится с грамматической категорией, которую можно охарактеризовать «как грамматическое значение, реализованное в противопоставленных членах»⁵.

В общей постановке вопроса понятие парадигматики в синтаксисе также восходит к идеям Ф. де Соссюра. Однако становление парадигматики в синтаксисе как одного из новейших лингвистических понятий было непосредственно стимулировано методом трансформационного анализа⁶. Многообразие точек зрения на синтаксическую парадигматику обусловлено прежде всего различными критериями выявления парадигматических свойств синтаксических структур, т. е. более широким или более лингвистически строгим пониманием парадигмы, ее объема и других параметров.

Наиболее расширительное толкование синтаксической парадигмы представлено в концепции Д. С. Уорта, который в качестве членов одной синтаксической парадигмы рассматривает всевозможные конструкции, так или иначе соотносимые с одной и той же внеязыковой ситуацией. Между некоторыми из таких конструкций трудно установить даже синонимические связи в более или менее строгом смысле, ср.: *Студенты читают книгу* — *Книга, которая читается студентами* — *Читающие книгу студенты* и т. п.⁷. Не случаен поэтому тот факт, что для описания парадигмы, объединяющей гетерогенные в формальном плане синтаксические структуры, Д. С. Уорт дает весьма сложную классификацию синтаксических парадигм. Он различает простые и комплексные парадигмы. Если простые парадигмы характеризуются наличием определенного структурного и семантического инварианта на уровне предложения (*Я писал* — *Я буду писать* — *Я пишу*; *Он профессор* — *Он был профессором* — *Он будет профессором*), то довольно сложную картину представляют собой комплексные парадигмы, имеющие иерархическое строение. Выделяется гипертагма, т. е. своего рода гиперпарадигма, например: *Студент читает книгу* — *Книга читается студентом* — *Книга, которая читается студентом* — *Читающий книгу студент* и т. п. Тагмы, в свою очередь, складываются из аллотагм: *Студент читает, читал, будет читать книгу* (изменение во времени), *Студент читает книгу, книги* (различия в числе) и т. д.

⁴ «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 367—368.

⁵ Е. И. Шендельс, Многозначность и синонимия в грамматике, М., 1970, стр. 5.

⁶ См. об этом: Ю. М. Костинский, Вопросы синтаксической парадигматики, ВЯ, 1969, 5, стр. 108.

⁷ D. S. Worth, The role of transformations in the definition of syntagmas in Russian and other Slavic languages, «American Contributions to the V International Congress of Slavists. Sofia, 1963», The Hague (preprint).

В. Г. Адмони включает в одну парадигму различные логико-грамматические типы предложений и словосочетания, находящиеся в отношении синонимической суппLEMENTности, например, членами одной парадигмы являются: *После того как приехал и Приехал*⁸, между которыми легко установить синонимические отношения — они обладают одними и теми же видо-временными характеристиками.

Т. П. Ломтев разрабатывает теорию парадигмы, исходя из синонимии на уровне предложения, обусловленной возможностями взаимозамены тех или иных лексических наполнителей модели предложения: *Командир вручил бойцу орден — Командир наградил бойца орденом — Командиром орден вручен бойцу* и т. п. В одну парадигму, названную парадигматической серией, Т. П. Ломтев включает также предложения, не имеющие ничего общего в смысле лексического наполнения, но грамматические отношения между которыми тождественны: *Петр любил Ивана — Федор презирает Сергея — Павел ненавидел Сергея* и т. д.⁹

Стремление к более строгому определению синтаксической парадигматики приводит к отказу от критерия синонимичности разнотипных моделей и к сохранению единства принципов выделения синтаксических и словозаместительных парадигм (работы Е. А. Седельникова, П. Адамца и В. Грабе).

Разработка теории синтаксической парадигматики в концепции Н. Ю. Шведовой связана с введением в теорию синтаксиса понятия формы предложения. Она пишет: «... структурная схема предложения средствами глагольного слова и специальных частиц способна видоизменяться для выражения разных объективно-модельных значений. Эти видоизменения представляют собою не что иное, как отдельные формы структурной схемы предложения...; вся же система форм предложения называется его парадигмой. Каждая форма предложения является членом его парадигмы»¹⁰. Основой парадигмы предложения для Н. Ю. Шведовой являются преобразования модально-временных признаков. Она подчеркивает, что парадигма предложения — это «совокупность всех регулярно существующих в системе языка видоизменений предложения, связанных с выражением категорий объективной модальности и синтаксического времени...»¹¹. В зависимости от характера модально-временных признаков количество членов парадигмы предложения может колебаться от одного до восьми. Выделяются полные парадигмы, включающие в себя весь возможный набор форм предложения; неполные, т. е. не имеющие по каким-либо причинам в своем составе те или иные формы предложения, и предложения, лишённые парадигмы, т. е. представленные одной формой¹².

Несколько иначе подходит к определению и характеристике синтаксических парадигм О. И. Москальская, хотя она также считает, что должен быть соблюден единый принцип выделения парадигмы на уровне морфологии и синтаксиса. Парадигма предложения определяется О. И. Москальской как «многомерная система грамматических форм пред-

⁸ В. Г. Адмони, Основы теории грамматики, М.—Л., 1964, стр. 12.

⁹ Т. П. Ломтев, Парадигматика предложения на основе конвертируемости отношений, сб. «Инвариантные синтаксические значения и структура предложения. Доклады на конференции по теоретическим проблемам синтаксиса», М., 1969; его же, Природа синтаксических явлений (к вопросу о предмете синтаксиса), ФН, 1961, 3, стр. 33—36.

¹⁰ Гр. 70, стр. 544.

¹¹ Н. Ю. Шведова, Парадигматика простого предложения в современном русском языке (опыт типологии), в кн.: «Русский язык. Грамматические исследования», М., 1967, стр. 10.

¹² Гр. 70, стр. 544.

ложения, противопоставленных по цели высказывания, по утвердительности/отрицательности, по модальности»¹³.

Понятие парадигмы и понятие модели предложения оказываются в концепции О. И. Москальской тесно взаимосвязанными и парадигма ставится в прямую зависимость от выделения того «синтаксического минимума» или обязательного структурного минимума предложения, который и может считаться его моделью¹⁴. Основными видами оппозиций, определяющими суть парадигмы предложения, О. И. Москальская считает оппозиции трех форм предложения по цели высказывания: повествовательное предложение — вопросительное предложение — побудительное предложение. Этот трехчленный парадигматический ряд может быть представлен в виде двух бинарных оппозиций: непобудительность — побудительность и повествовательность — вопросительность. Два вида оппозиций иерархически неравноценны, т. к. вторая оппозиция выявляется в составе одного из членов первой оппозиции — непобудительности. Указанные оппозиции О. И. Москальская называет грамматическими значениями, лежащими в основе грамматической категории предложения, которую можно определить как категорию цели высказывания¹⁵.

Если до сих пор речь шла о том, что синтаксическая парадигма рассматривается с точки зрения сохранения — несохранения тождества модели при наличии внутримодельных модификаций или соответственно выхода за рамки одной модели (в этом случае лингвисты имеют дело с межмодельными модификациями), то принципиально иной подход к теории синтаксической парадигматики связан с различением двух уровней членения предложения — синтаксического и логико-грамматического в терминологии В. З. Панфилова или конструктивно-синтаксического и коммуникативно-синтаксического в терминологии И. П. Распопова.

В. З. Панфилов рассматривает вопрос парадигматики предложения в связи с такими вопросами теории предложения, как уровни членения предложения, роль субъективной и объективной модальности в конструировании структуры предложения в зависимости от типологических особенностей языка, соотношение структуры слова с членением предложения в разных языках и др.¹⁶. Исходя из положения о том, что выделяются два уровня структуры предложения — синтаксический и логико-грамматический — В. З. Панфилов подчеркивает, что логико-грамматический уровень является не чисто логическим, но также и языковым, поскольку субъектно-предикатная структура выражаемой мысли фиксируется в предложении определенными формальными языковыми средствами. Используемый некоторыми лингвистами термин «актуальное, коммуникативное членение» В. З. Панфилов отвергает как неудачный и оперирует термином «логико-грамматическое членение», т. к. «логико-грамматическое членение предложения имеет место не только в процессе коммуникации,

¹³ О. И. Москальская, Проблемы системного описания синтаксиса, М., 1974, стр. 7 и сл.

¹⁴ О. И. Москальская, К модели описания предложения, сб. «Теория языка. Ангlistика. Кельтология», М., 1976, стр. 84.

¹⁵ О. И. Москальская, Проблемы системного описания синтаксиса, стр. 105.

¹⁶ См.: В. З. Панфилов, Грамматика и логика, М.—Л., 1963 (V. Z. Panfilov, Grammar and logic, The Hague—Paris, 1968); его же, Языковые универсалии и типология предложения, ВЯ, 1974, 5; его же, К вопросу о логико-грамматическом уровне языка, «Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 15, Hf. 3/4, 1962; его же, О структуре предложения, «Zeichen und System der Sprache», III, Berlin, 1966; его же, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971; его же, Философские проблемы языкознания, М., 1977, и ряд других работ автора.

но и во внутренней речи»¹⁷. В отличие от лингвистов, считающих обязательными для каждого предложения и его парадигматики лишь объективно-модальные значения¹⁸, В. З. Панфилов указывает, что субъективная модальность также составляет неотъемлемое свойство содержания предложения, и «предложения, передающие одно и то же конкретное содержание, но различающиеся по выражаемой в них субъективной модальности, образуют формально-грамматическую парадигму (разрядка наша. — М. Р.)»¹⁹. «Дифференциация предложений по характеру субъективной модальности, — пишет В. З. Панфилов, — есть дифференциация предложений по их форме, и различные виды этих предложений образуют формальный парадигматический ряд. Так, например, в русском языке такой парадигматический ряд образуют предложения: *Он пришел; Он, может быть, пришел; Он, конечно, пришел*. В первом из них выражается модальное значение простой достоверности, во втором — модальное значение проблематической достоверности, в последнем — модальное значение категорической достоверности»²⁰. Значимость объективной и субъективной модальности для структуры предложения зависит от типологических особенностей языка. В связи с этим В. З. Панфилов пишет: «... в языках различной типологии объективная и субъективная модальности, как и соответствующие уровни членения предложения (т. е. синтаксический и логико-грамматический уровни. — М. Р.), на которых они функционируют, играют различную роль в конституировании структуры предложения»²¹. Таким образом, наличие двух уровней членения предложения и, соответственно, двух видов модальности, а также сложное взаимопереплетение последних в разных языках должны учитываться при выявлении инвентаря моделей предложения, а следовательно, при характеристике его парадигматики.

И. П. Распопов различает два аспекта предложения — конструктивно-синтаксический и коммуникативно-синтаксический. С точки зрения конструктивного синтаксиса И. П. Распоповым выделяются: 1) парадигма по линии категории лица (*Кто-то постучал в дверь; Лодку уносит в море; Бельному не спалось* и т. п.); 2) парадигма по категории залога (*Отец встречает сына; Отец встречается с сыном* и т. д.). С точки зрения коммуникативного синтаксиса им различаются: 1) парадигма по линии целевого назначения (повествовательный, вопросительный и побудительный типы предложения); 2) парадигма по линии коммуникативной перспективы, которая является трехчленной: а) *Наступила осень* (без особого ударения); б) *Наступила 'осень* (с ударением); в) *Осень 'наступила* (с ударением сказуемого). Парадигма по линии целевого назначения складывается из комбинации двух частных парадигм, одна из которых конституируется повествовательными (вопросительными) и побудительными предложениями, другая — повествовательными и вопросительными предложениями. Парадигма «повествовательные и вопросительные предложения» является по своей формальной природе лексико-грамматической парадигмой, т. к. в вопросительном предложении могут быть использованы специальные лексические знаки выражения вопроса — вопросительные местоимения и вопросительные частицы (ср: *Мы сегодня пойдём*

¹⁷ В. З. Панфилов, Философские проблемы языкознания, стр. 121.

¹⁸ Ср.: Гр. 70, стр. 542.

¹⁹ В. З. Панфилов, Категория модальности и ее роль в конституировании структуры предложения и суждения, ВЯ, 1977, 4, стр. 42.

²⁰ В. З. Панфилов, О структуре предложения, стр. 248; е го ж е, Взаимоотношение языка и мышления, стр. 186, 189 и др.

²¹ В. З. Панфилов, Категория модальности..., стр. 45.

в театр — Кто сегодня пойдет в театр? — Когда мы пойдем в театр? — Пойдем ли мы сегодня в театр? — Разве мы пойдем сегодня в театр?)²².

Таким образом, различные подходы к теории синтаксической парадигматики обусловлены тем, что предложение является многомерной единицей. В одних случаях опорой парадигмы служат предикативные характеристики предложения, в других случаях в качестве такой опоры выступает критерий синонимичности структур, в третьих случаях стержень парадигмы предложения составляет противопоставление их по цели высказывания, а также (со)существование двух взаимосвязанных аспектов синтаксиса — конструктивного и коммуникативного (В. З. Панфилов, И. П. Распопов). В разных концепциях наблюдаются различные градации четкости и лингвистической строгости в подходе к самому понятию синтаксической парадигматики. Решающим является, однако, ответ на вопрос, является ли парадигма системой внутривидовых (внутримодельных) модификаций или она представляет собой совокупность межмодельных модификаций (О. И. Москальская).

Признание существования парадигматических отношений в лексике влечет за собой также признание ее системной структурированности. Почти общепринятой можно считать в настоящее время точку зрения, согласно которой в лексико-семантической системе языка существуют парадигматические классы. Спорным представляется, однако, на каком уровне внутреннего членения слов одного семантического разряда, например, части речи, можно говорить о парадигматических классах и соответственно о парадигматических отношениях между словами и их группами.

В концепции А. А. Уфимцевой парадигматические отношения в лексике появляются при рубрикации слов в пределах части речи, т. е. при выявлении второго ряда зависимостей типа «одушевленные — неодушевленные», «исчисляемые — неисчисляемые» и т. п. В качестве основной единицы лексико-семантической системы языка выступает лексико-семантический вариант. Под лексической парадигматикой А. А. Уфимцева понимает «область смысловых отношений лексических единиц, противопоставленных по их предметному значению в пределах тех или других семантических разрядов слов в системе языка»²³. Тут же А. А. Уфимцева квалифицирует отношения между частями речи как отношения парадигматические: «К основным типам парадигматических отношений слов относятся такие, которые наличествуют на трех разных уровнях, отличающихся друг от друга по широте охвата и по степени обобщенности словесных группировок»²⁴: 1) первый, высший уровень, составляют семантические классы слов, выражающие предметность, действие, признак и т. д., т. е. уровень частей речи; 2) уровень семантических категорий языка, например, имена конкретных предметов — имена абстрактных понятий, имена одушевленных — неодушевленных предметов, имена исчисляемых — неисчисляемых предметов и т. п.; 3) уровень лексико-семантических парадигм, например, синонимы, антонимы, лексико-семантические группы, понятийные поля и т. п. Не совсем ясно соотношение словосочетаний «парадигматические отношения слов», «лексико-семантические парадигмы», «семантические категории». Означает ли это, что части речи и семантические категории типа «одушевленность — неодушевленность», «лицо — неліцо» и т. п. не являются парадигмами или парадигматическими классами, но харак-

²² И. П. Распопов, Несколько замечаний о синтаксической парадигматике, ВЯ, 1969, 4, стр. 92—100.

²³ А. А. Уфимцева, Лексика в кн.: «Общее языковедение. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 436.

²⁴ Там же.

теризуются парадигматическими отношениями? Как видно из вышеизложенного, собственно лексико-семантические парадигмы существуют только на третьем уровне классификации существительных. Остается неясным, каким образом мы обнаруживаем парадигматические отношения трех уровней, если сами парадигмы представлены только на одном из уровней. В связи с этим возникает также вопрос о соотношении понятий парадигмы и класса. «Элементы языка, — пишет В. М. Солнцев, — несут в себе потенциальную способность образовывать классы или пары адигмы (разрядка наша. — М. Р.)». Далее он продолжает: «Парадигматические отношения можно назвать внутрикласными отношениями между элементами, составляющими один класс»²⁵. Таким образом, мы должны признать парадигмами все классы слов, включая части речи, поскольку последние также определяются как парадигматические классы²⁶, что позволяет постулировать иерархию парадигм, в которой часть речи составляет как бы гиперпарадигму.

Понятие лексико-семантической парадигмы настолько объемно и разплывчато, что оно охватывает, с одной стороны, практически необозримый класс слов, например, часть речи, и, с другой стороны, количественно минимальную лексико-семантическую парадигму образует антонимическая пара. Антонимическая пара рассматривается иногда как своего рода идеальная лексико-семантическая парадигма. «Поскольку основой лексико-семантической парадигмы является семантическая противопоставленность входящих в нее слов, — отмечает Э. М. Медникова, — парадигматический характер отношений наиболее наглядно проявляется в антонимии»²⁷. Оппозитивная противопоставленность семантических компонентов языковых единиц является, по Э. Бендиксу, признаком наличия между ними парадигматических отношений²⁸. Ф. Лаунсбери рассматривает в качестве парадигмы любое множество единиц, удовлетворяющее двум требованиям: 1) значение каждой единицы имеет общий признак со значениями всех остальных единиц данного множества и 2) значение каждой единицы отличается от значений других единиц одним или несколькими признаками. Так, термины родства, по его мнению, обладают подобного рода признаками²⁹.

Одним из существенных свойств парадигматических отношений в лексике является ее иерархическая организация. «Ступенчатость» и «инклюзивность» смыслового содержания обусловлены тем, что семы как понятийные абстрактные элементы не образуют гомогенной группы, при этом каждый более конкретный элемент включает в себя все более общие компоненты³⁰. Наличие в семантической структуре слова сем разных степеней обобщенности приводит к тому, что в лексике обнаруживаются классы слов разного в количественном и качественном отношении объема, базирующиеся на семах соответствующих ступеней обобщения. Это обстоятельство позволяет говорить об иерархии парадигм в лексико-семантической системе языка.

²⁵ В. М. Солнцев, *Язык как системно-структурное образование*, М., 1977, стр. 69.

²⁶ О. С. Ахманова, *Словарь лингвистических терминов*.

²⁷ Э. М. Медникова, *Проблемы и методы исследования словарного состава (на материале современного английского языка)*. АИД, М., 1972, стр. 11.

²⁸ E. H. B e n d i x, *Componential analysis of general vocabulary: The semantic structure of a set of verbs in English, Hindi, and Japanese*, Bloomington — The Hague, 1966, стр. 1.

²⁹ F. G. L o u n s b u r y, *The structural analysis of kinship semantics*, «Proceedings of the Ninth International Congress of Linguistics», The Hague, 1964, стр. 1073—1074.

³⁰ J. P o p e l a, *The functional structure of linguistic units and system of language*, TCLP, 2, 1966, стр. 71—80.

Постулируя существование иерархических отношений между семами, А. Греймас указывает на двоякую направленность этих отношений. Отношение частных сем к обобщенным семам он называет гипонимическим, в обратном случае имеет место гиперонимическое отношение³¹. Дж. Лайонз считает целесообразным пользоваться термином «гипонимия» для обозначения отношений включения (инклюзивности) в лексике. Гипонимические отношения, по мнению Дж. Лайонза, пронизывают всю структуру словарного состава в парадигматическом аспекте³². В одной из своих последних работ он дает более подробное изложение принципов гипонимической организации словарного состава. Наряду с важностью выявления различных типов оппозиций при изучении парадигматических отношений в словарном составе языка не менее важной задачей является выявление гипонимических отношений между лексемами с более частным, или подчиненным (*subordinate*), значением и лексемами с более общим (*superordinate*) значением, как это, например, имеет место в парах типа: *cow: animal, rose: flower, honesty: virtue* и т. п. Одна подчиняющая лексема может иметь несколько однопорядковых в иерархическом плане гипонимов, которые Дж. Лайонз называет когипонимами (*co-hyponyms*), например: *rose, tulip, daffodil* и т. д. являются по отношению друг к другу когипонимами³³. Дж. Лайонз отмечает, что отношения гипонимии свидетельствуют об иерархической структуре как всего словарного состава языка, так и его частных подсистем, полей. Гипонимические отношения могут быть выявлены только в пределах данной конкретной части речи. Иначе говоря, между словами разных частей речи гипонимические отношения невозможны. Так, в английском языке нет подчиняющего прилагательного для ряда *round, square, oblong* и т. п., но имеется существительное *shape* (ср.: *What shape was it, round or square?*), которое как бы указывает на общий смысл этих прилагательных. Подобного рода отношения между словами разных частей речи Дж. Лайонз называет квази-парадигматическими, и соответственно, квази-гипонимическими. По мнению некоторых лингвистов, гипонимия относится к семантическим универсалиям и могла бы стать одним из критериев лингвистической типологии³⁴.

Д. Н. Шмелев подчеркивает не только многоступенчатость, но и неоднородный характер парадигматических отношений в лексике. Прежде всего, «многие слова (взятые в одних и тех же значениях) являются одновременно членами не одной, а нескольких лексико-семантических парадигм..., в которых они противопоставлены другим словам по различным семантическим признакам. Например, в определении лексического значения слова *река* должно войти указание на то, что это „водоем“ — во-первых, определенных размеров, во-вторых, определенной формы, обусловленной характером течения воды, наконец, в-третьих, естественного происхождения... Так, по первому признаку слову *река* противостоят такие слова, как *речка, ручей*; по второму — такие, как *пролив, озеро, море, океан*, по третьему — такие, как *канал, пруд, водохранилище*»³⁵. Неоднородные парадигматические отношения возникают в тех случаях, когда «слова образуют особый парадигматический ряд, основанный на неравномерном распределении дифференциальных признаков. Например

³¹ A. Greimas, *Sémantique structurale. Recherche de methode*, Paris, 1966, стр. 23.

³² J. Lyons, *Structural semantics*, Oxford, 1963, стр. 69.

³³ J. Lyons, *Semantics*, 1, London — New York — Melbourne, 1977, стр. 291.

³⁴ С. Ульман, Семантические универсалии, сб. «Новое в лингвистике», 5, М., 1970, стр. 263; М. В. Никитин, Лексическое значение в слове и словосочетании, Владимир, 1974, стр. 56.

³⁵ Д. Н. Шмелев, Современный русский язык, М., 1977, стр. 190.

слово *лес* является более общим обозначением, чем *роща* и *бор*. Однако последние не покрывают всей сферы значения первого; они противопоставлены ему (и друг другу) одновременно по двум признакам: *бор* — это „большой густой хвойный лес“, а *роща* — „небольшой, обычно лиственный лес“³⁶. *Лес* выступает как „беспризнаковый“ член парадигматического ряда»³⁶. Д. Н. Шмелев указывает на своеобразие отношений между членами тематических групп. «Так, нельзя сказать, — пишет он, — что значения слов *береза* и *осина* реализуют противопоставление по тем или иным отдельным семантическим признакам... Значения этих слов имеют общую семантическую тему „дерево“, но все, что их отличает, отражает отличие самих предметов во всей совокупности их признаков, так сказать, „свойство быть березой“, и „свойство быть осиной“³⁷. К сожалению, не всегда возможно подобное разграничение членов тематических групп. Если в случаях с обозначениями частей тела, деревьев и т. д. выявляются противопоставления по комплексу, совокупности функциональных, физиологических и других признаков, то аналогичное противопоставление не всегда удается в области обозначений лица, в рамках которых вычленяются тематические ряды слов, характеризующих человека как сложный и многогранный социальный, интеллектуальный и т. п. феномен. Так, характеристика человека по профессии никак не противопоставляется и не исключает характеристики его по наклонностям, внутренним свойствам, возрасту, национальной принадлежности, родственным и прочим отношениям. Одно и то же лицо может сочетать в себе все перечисленные свойства: оно может быть учителем, мыслителем, курящим, пьющим, спортсменом, меланхоликом, диабетиком, пятидесятилетним, англичанином, родственником и т. п. В то же время мы не можем утверждать, что эти слова никак не могут быть противопоставлены друг другу. В противном случае это означало бы, что либо между этими словами нет ничего общего, либо они тождественны. Ни то, ни другое неверно. Общим для них признаком является их отнесенность к одному классу — классу обозначений лица, а отличаются они друг от друга индивидуальными лексическими значениями.

Авторы «*Studia grammatica. XV — Probleme der semantischen Analyse*» (Berlin, 1977) различают три вида парадигматических отношений: субординации, т. е. подчинения, тождества и противопоставления (Subordination, Identität und Polarität), и семемы, сгруппированные на основе этих отношений, называются соответственно парадигмами субординации, тождества и противопоставления. Из трех употребляемых в лингвистике как синонимы терминов «лексическая парадигма», «лексико-семантическая парадигма», «семантическая парадигма» в данном труде предпочтение отдается термину «семантическая парадигма», которая определяется как совокупность семем, объединенных по меньшей мере одним общим семантическим признаком. Различаются внутренние парадигматические отношения (innere paradigmatische Relationen), т. е. отношения между членами одной парадигмы, и внешние парадигматические связи (äussere paradigmatische Beziehungen), т. е. специфические связи между членами разных парадигм, базирующихся на разных принципах классификации, например, отношения между обозначениями деятеля и обозначениями соответствующих действий: *fräsen*—*Fräser*, *lehren*—*Lehrer*. В последнем случае понятие парадигмы выходит за рамки определенной части речи и здесь уместно было бы говорить о словообразовательных парадигмах в понимании некоторых лингвистов.

³⁶ Д. Н. Шмелев, указ соч., стр. 191.

³⁷ Там же, стр. 193.

Говоря о системности в лексике, нельзя не упомянуть о теории поля, представители которой также стремились доказать, что словарь языка не хаотическая совокупность, а определенным образом упорядоченное множество единиц. Весьма сложны взаимоотношения терминов «поле» и «лексическая, лексико-семантическая, семантическая парадигма». Иногда они рассматриваются как синонимы. Такое понимание поля характерно, например, для Э. Косериу. Он определяет лексическое поле (*champ lexical*) или словесное поле (*Wortfeld*) как лексическую парадигму или совокупность лексем, объединенных общей лексической ценностью (*valeur*) и противопоставленных друг другу благодаря минимальным различиям в лексическом содержании, например: *froid* «холодный», *tiede* «тепловатый», *chaude* «горячий» и т. п.³⁸

На основании анализа отдельных точек зрения на лексическую парадигму Г. С. Щур приходит к выводу о том, что введение термина «лексическая парадигма» не вносит ничего нового в понимание лексической системы и является просто заменой терминов «поле» и «система»³⁹. По-видимому, не всякую лексико-семантическую парадигму можно назвать полем, если признать наличие специфической конфигурации у последнего, а именно его членимость на центральную и периферийную субструктуры⁴⁰. Так, например, антонимические пары, т. е. так называемые бинарные парадигмы, не всегда обладают центром и периферией.

Как известно, теория поля в неогумбольдтианском выражении была подвергнута справедливой критике со стороны многих лингвистов не только за свои идеалистические философские основы, но и из-за отсутствия более или менее строгих лингвистических критериев выделения полей. В настоящее время некоторыми лингвистами предпринимается попытка «модернизировать» теорию поля путем усовершенствования методики исследования, в частности, путем использования структурных методов исследования семантики, прежде всего теории оппозиций, с упором на необходимость структурного переосмысления поля как лексической парадигмы⁴¹.

Краткий обзор работ, так или иначе затрагивающих проблему парадигматических отношений в лексике, показывает, что здесь еще не выработалось единого понимания термина «парадигма», а также его отношения к смежным явлениям.

Вряд ли можно найти другую такую область языка, как словообразование, где термин «парадигма» употреблялся бы столь противоречиво и многозначно. По меньшей мере можно указать на четыре различные толкования понятия «парадигмы» в словообразовании.

1. Термины «словообразовательное гнездо» и «словообразовательная парадигма» рассматриваются как синонимы. Возражая против определения гнезда как простой совокупности однокоренных слов, А. Н. Тихонов на первый взгляд выдвигает упорядоченный характер гнезда, в котором каждый элемент занимает предусмотренное системой языка и закрепленное в норме место. В основе строения гнезда лежит принцип иерархии, принцип последовательного подчинения одних единиц другим. Эти свойства словообразовательных гнезд, по мнению А. Н. Ти-

³⁸ E. Coseriu, *Lexicatische Strukturen*, «Tübinger Beiträge zur Linguistik», 1970; H. Gockeler, *Strukturelle Semantik und Wortfeldtheorie*, München, 1971.

³⁹ Г. С. Щур, О понятии парадигмы в лексике, «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов», М., 1974.

⁴⁰ Н. И. Филичева, Развитие структуры глагольных словосочетаний в немецком литературном языке XVIII—XX вв., «Седьмая научная конференция по вопросам германского языкознания. Тезисы докладов», М., 1977.

⁴¹ G. Henrici, *Die Binarismus-Problematik in der neueren Linguistik*, Tübingen, 1975; H. Gockeler, указ. соч.

хонова, хорошо отражает термин «словообразовательная парадигма»⁴².

2. Словообразовательная парадигма определяется как совокупность родственных слов, образованных от общей основы с помощью всех тех аффиксов, которые могут быть к ней присоединены, например: *man, manly, mannish, unman* и т. п.⁴³ Сходное, но более четкое определение словообразовательной парадигмы дает Е. А. Земская: «...наиболее целесообразно назвать парадигмой набор производных, имеющих одну и ту же производящую основу и находящихся на единой ступени деривации»⁴⁴. Таким образом, согласно точке зрения Е. А. Земской, словообразовательная парадигма включает не все члены гнезда, а лишь его фрагмент, состоящий из производных, связанных между собой «радиальными» отношениями, т. е. являющихся «кодериватами». Наряду с конкретной словообразовательной парадигмой Е. А. Земская выделяет типовую парадигму. Типовая парадигма формируется конкретными парадигмами, в которых представлен один и тот же набор деривационных значений, например, типовая парадигма отвлеченного действия, в русском языке, выраженная существительными с суффиксами *-ни́й, -к (а), -θ, -б (а)* и др.

Р. С. Манучарян различает также два вида парадигм в словообразовании — словообразовательно-семантическую и гнездовую парадигмы. Словообразовательная парадигма — это «совокупность словообразовательных значений..., выражаемых на базе производящей основы по моделям мотивационных отношений, свойственных данному языку»⁴⁵.

3. Словообразовательная парадигма интерпретируется как совокупность производных, имеющих одну основу и выстраивающихся по мере усложнения своей структуры в одну цепочечную последовательность, ср.: *учить — учитель — учительство — учительствовать*⁴⁶.

4. Наконец, словообразовательная парадигма определяется как единица плана содержания словообразовательных структур или словообразовательных средств. Так, немецкий лингвист Й. Эрбен под словообразовательной парадигмой понимает совокупность семантически идентичных или сходных словообразовательных морфем⁴⁷.

М. С. Улуханов, подвергая сомнению целесообразность использования словосочетания «словообразовательная парадигма» в качестве термина, считает возможным говорить о парадигматических отношениях между словами, имея в виду отношения в словообразовательном гнезде⁴⁸. Таким образом, получается так, что словообразовательных парадигм нет, а парадигматические отношения существуют.

Отправной точкой при определении парадигмы в словообразовании для А. Г. Лыкова служит понятие позиции морфемы и ассоциативного ряда. Парадигму в словообразовании А. Г. Лыков определяет как «ти-

⁴² А. Н. Тихонов, Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря современного русского языка, Самарканд, 1971, стр. 29—31.

⁴³ В. Bloch, G. L. Trager, Outline of linguistic analysis, Baltimore, 1942, стр. 56; Э. Хэмп, Словарь американской лингвистической терминологии, стр. 145—146.

⁴⁴ Е. А. Земская, О парадигматических отношениях в словообразовании, сб. «Русский язык. Вопросы его истории и современного состояния», М., 1978, стр. 71; е в ж е, О комплексных единицах системы синхронного словообразования, «Актуальные проблемы русского словообразования», Ташкент, 1978.

⁴⁵ Р. С. Манучарян, Некоторые вопросы сопоставления словообразовательных категорий (на материале русского и армянского языков), «Вопросы семантики. Тезисы докладов (Дискуссия на расширенном заседании филологической секции Ученого совета Института востоковедения)», М., 1971, стр. 121.

⁴⁶ V. I. Straková, Substantivní derivace, Praha, 1973.

⁴⁷ J. Erben, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre, Berlin, 1975.

⁴⁸ И. С. Улуханов, Словообразовательная семантика в русском языке, М., 1977, стр. 15, 20.

пизированный», отстоявшийся в языке набор синтагматических окружений (цепочек), характерный для данной морфемы»⁴⁹. Отсюда делается вывод о том, что ряд слов, в составе которых представлена одна и та же словообразовательная морфема, может рассматриваться как парадигма данной морфемы. Поскольку производное слово может содержать несколько словообразовательных морфем, оно способно входить в несколько словообразовательных парадигм. Как пишет автор, слово может иметь столько ассоциативных (парадигматических) словообразовательных рядов, сколько в нем есть словообразовательных морфем. Так, слово *разброска* входит в три словообразовательные парадигмы: 1) по общности префикса *раз-*, например, *разброска*, *разбрасывание*, *разливка*, *разлив* и т. п.; 2) по общности корневой морфемы: *разброска*, *переброска*, *выброс*, *бросание* и т. д.; 3) по общности суффиксальной морфемы, например, *разброска*, *перегонка*, *расклейка*, *задержка*, *резка* и т. д. Исходя из вышеизложенного, он пишет: «... словообразовательная парадигма — это совокупность разных слов общего словообразовательного значения, имеющих одну или несколько „сквозных“ образующих морфем — приставку, корень, суффикс; формируется же она „сквозной“ (т. е. общей, обязательной для всех слов данной парадигмы) морфемой»⁵⁰.

О парадигмообразующих свойствах суффиксов пишет Ж. Дюбуа. По его мнению, суффиксы образуют систему парадигм, структуру, в которой каждый суффикс определяется своими сочетательными возможностями с производящими основами и благодаря своим оппозитивным отношениям или отношениям параллелизма с другими суффиксами⁵¹.

Различные подходы к пониманию парадигматики в лингвистике заложены в учении Ф. де Соссюра об ассоциативных рядах. Однако наиболее рельефно оно находит свое отражение и дальнейшее развитие в словообразовании. «Образуемые по умственной ассоциации группы, — писал Ф. де Соссюр, — не ограничиваются лишь сближением терминов, представляющих нечто общее; ум схватывает и характер связывающих их в каждом случае отношений и тем самым создает столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений»⁵².

Сопоставление словообразовательной парадигмы (гнездовой) и словоизменяющей парадигмы не позволяет прийти к заключению о том, что эти два понятия изоморфны. Е. С. Кубрякова и П. А. Соболева указывают на чисто внешний характер аналогии между ними⁵³. Если постулировать изоморфизм между парадигмами (гнездами или фрагментами гнезда) в словообразовании и в словоизменяющей системе, то возникает естественный вопрос, что стоит за словообразовательной парадигмой, ведь словоизменяющая парадигма всегда соотносена с определенной грамматической категорией, выступая как средство реализации грамматического значения, и понятие грамматической категории выявляется только на фоне парадигмы⁵⁴. При интерпретации парадигмы как гнезда

⁴⁹ А. Г. Лыков, Современная русская лексикология (русское окказиональное слово), М., 1976, стр. 42.

⁵⁰ Там же, стр. 50.

⁵¹ J. Dubois, Etude sur la dérivation suffixale en français moderne et contemporain, Paris, 1962, стр. 7.

⁵² Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 123.

⁵³ Е. С. Кубрякова, П. А. Соболева, О понятии парадигмы и областях его применения, «Седьмая научная конференция по вопросам германского языкознания. Тезисы докладов», М., 1977; и х же, О понятии парадигмы в словообразовании и словоизменении, сб. «Лингвистика и поэтика», М., 1979.

⁵⁴ См. об этом: М. М. Гухман, Грамматическая категория и структура парадигм, сб. «Исследования по общей теории грамматики», М., 1968, стр. 117; М. Д. Степанова, Г. Хельбиг, Части речи и проблема валентности в современном немецком языке, М., 1978, стр. 90.

или его части за этим термином не стоит какой-либо обобщенный категориальный признак, объединяющий соответствующие производные в один класс, в одну категорию. Поэтому представляется целесообразным исходить из корреляции «словообразовательная категория — словообразовательная парадигма», при этом термин «словообразовательная парадигма» уместнее было бы использовать по отношению к совокупности словообразовательных структур, реализующих единую семантическую модель или словообразовательную категорию, которые могут рассматриваться как глубинные структуры по отношению к словообразовательным структурам с конкретными аффиксами ⁵⁵.

Что касается терминов «парадигма» и «парадигматика» в стилистике и фонетике (гезр. фонологии), то следует отметить, что они встречаются лишь в отдельных исследованиях и имеют слишком неясное, расплывчатое значение. Ю. М. Скребнев отмечает, что поскольку языковые единицы обладают той или иной субязыковой (стилевой) отнесенностью, тем или иным стилистическим эффектом в парадигматике, то подобными явлениями должны заниматься парадигматическая морфология, парадигматическая лексикология, парадигматический синтаксис и парадигматическая семасиология, составляющие в совокупности «стилистику единиц» ⁵⁶.

Итак, на основании проделанного анализа обзора лингвистической литературы по теории парадигматики можно констатировать следующее.

1. Термин «парадигма», обслуживая все уровни языка, характеризуется разноречивым толкованием не только применительно к разным уровням, но и в пределах одного и того же уровня. Общим для всех уровней языка является понимание парадигмы как некоей совокупности, класса языковых единиц (класса звуков и фонем, словоформ, производных слов или словообразовательных структур, форм предложения, семем). Однако, если понятие парадигмы на уровне звуков и фонем, словоформ и частично словообразования связано с понятием позиции, т. е. парадигму единиц указанных уровней можно определить как совокупность их позиций, то для конструирования парадигм на лексико-семантическом и семантическом уровнях понятие позиции в строгом смысле слова становится нерелевантным, что свидетельствует об отсутствии изоморфизма в употреблении термина «парадигма» на разных уровнях языка.

2. Парадигма в различных своих проявлениях обладает иерархической структурой, т. е. выделяются парадигмы с более обобщенным инвариантным признаком, или большие парадигмы, и парадигмы с менее обобщенным инвариантным признаком, или субпарадигмы, малые парадигмы.

3. По мере удаления от словоизменительной системы центр тяжести в использовании термина «парадигма» постепенно перемещается в направлении убывания признаков формальной монолитности и противопоставленности и усиления признаков семантических. Две полярные точки в этом континууме образуют фонетические парадигмы и семантические парадигмы. Первые представляют собой классы позиционно обусловленных звуков и классы фонем, а вторые, при интерпретации их как классов семем, образуют множество элементов плана содержания.

4. Сфера употребления термина «парадигма» пересекается с сферой использования некоторых смежных лингвистических терминов, например, таких, как «категория», «поле», «класс», «тематический ряд», лексико-семантическая группа» и т. д., что лишает его терминологической строгости.

⁵⁵ См. об этом также: М. Д. Степанова, Вопросы моделирования в словообразовании и условия реализации моделей, ВЯ, 1975, 4.

⁵⁶ Ю. М. Скребнев, указ. соч., стр. 76.

СОРОКОЛЕТОВ Ф. П.

ТРИ СБОРНИКА, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Изучение номинативных средств русского языка в связи с общими вопросами ономазиологии в последнее время привлекает все большее внимание лингвистов. Этой проблеме посвящается много исследований, выполненных на материале русского и других языков. Среди них выделяется серия публикаций, подготовленная и изданная проблемной группой «Языковые значения», работавшей в 70-е годы при кафедре русского языка ЛГПИ им. А. И. Герцена под руководством В. И. Кодухова. Группа опубликовала три сборника: «Языковые единицы и контекст» (Л., 1973), «Языковые значения» (Л., 1976) и «Семантика переходности» (Л., 1977). Ряд работ участников группы, развивающих эту проблематику, опубликован также в других изданиях. В обзоре рассматриваются статьи, вошедшие в эти три сборника.

Первый по времени выхода в свет сборник был посвящен проблеме взаимоотношения контекста и языковой единицы. Актуальность этой проблемы в настоящее время возросла в связи с выдвижением на передний план в лингвистических исследованиях вопросов о сущности языковых единиц, их семантике и условиях функционирования. Значимость исследования контекста подчеркивается тем, что объединение элементов языка в одну единицу или выделение этих элементов в самостоятельные единицы основывается на изучении характера условий функционирования этих единиц в одинаковых контекстах. Именно контекст дает возможность различать в языковой единице независимые от окружения признаки и признаки, проявляющиеся только в таком окружении, т. е. выявить специфику языковых единиц. Следует также отметить, что эта проблема многоаспектна, возможны различные направления ее исследования, что связано с неодинаковым пониманием самого контекста, со сложностью языковых свойств слова, многообразием и разнонаправленностью взаимодействий между контекстом и входящей в него единицей.

В современных семасиологических исследованиях можно выделить, по крайней мере, три различных понимания взаимоотношения и зависимости контекста и значения: а) отождествление, приравнивание лексического значения к сочетаемости; б) признание производности любого значения от контекста, сочетаемости; в) определение сочетаемости как формы бытования значения; в последнем случае сочетаемость признается лишь показателем значения слова, но не элементом значения. Потенциальная сочетаемость обусловлена не только собственно языковыми факторами, но и внеязыковыми ограничениями.

Причины разнородного и даже противоречивого подхода к рассматриваемому явлению лежат в сложной и противоречивой природе языка, в своеобразии языковых значений как лингвистического феномена, а также и в том, что языковые значения отражают сложную и многообразную действительность, реальный мир во всей его сложности и противоречивости.

Наиболее важной публикацией в первом сборнике является статья В. И. Кодухова «Контекст как лингвистическое понятие», теоретически обосновывающая разрабатываемую проблематику. В ней анализируется и уточняется понятие контекста, выдвигается необходимость отграничения сущностного, онтологического подхода к контексту как речевой реальности от подхода методического, охватывающего разработку приемов и методик исследования. В. И. Кодухов отграничивает понятие контекста от понятия структуры языковой единицы и ее окружения, отличает словесный контекст от речевой ситуации и контекста культуры. Он предлагает выделять три типа контекстов: а) контекст функционирования языковой единицы; б) контекст порождения языковой, речевой и текстовой единицы; в) контекст как средство выражения и передачи внеязыковой информации. Контекст как особое явление речевой деятельности объединяет языковые и речевые средства, создает условия их проявления и использования. Отталкиваясь от такого понимания контекста, автор считает, что лингвистическое исследование должно быть направлено на анализ типов единиц, составляющих контекст; структуры контекста и языковой единицы; лексико-семантического и семантико-синтаксического контекстов; контекстов функционирования и порождения единиц и контекста, передающего внеязыковую информацию.

Теоретические представления о контексте, его сущности, функциях и структуре, нашедшие выражение в статье В. И. Кодухова, развиваются и конкретизируются в других статьях сборника. Эти статьи рассматривают проблему контекста в трех аспектах, чему соответствует три раздела сборника: 1) лексема и контекст; 2) контекст части речи, словоформы и словосочетания; 3) контекст предложения и сверхфразовое единство.

Одним из основных аспектов исследования явилась проблема взаимоотношения слова и контекста (лексема и контекст). И. С. Куликова в статье «Сочетание слов как минимальный контекст лексического значения слова» устанавливает тройную роль контекста в использовании лексической единицы, которая в условиях контекста подвергается моносемантизации, спецификации и актуализации. Автор анализирует контексты, варьирование значения слова в минимальном контексте — сочетании слов, подвергает убедительной критике взгляды ряда исследователей об однозначном соответствии лексического значения и сочетаемости слов. Привлекает внимание тезис автора о том, что лексическое значение и лексическая сочетаемость взаимосвязаны, хотя характер отношений между ними весьма сложен и понимается различными исследователями по-разному.

Более частным вопросам взаимосвязи лексемы и контекста посвящены статьи И. П. Потемкиной «Минимальные значения и операционный контекст» (в статье анализируется методика выявления моносеммы, характеризующейся как контекстуальное значение), И. С. Новицкой «Сочетаемость и минимальные контексты глагольных лексем со значениями внутреннего объекта», Н. Е. Сулименко «Свободно-номинативное значение слова и контекст», Л. И. Пьяных «Переносное значение слова и контекст», Т. Г. Пономаренко «Паронимы и контекст» и А. И. Крылова «Термин и контекст».

В статьях подвергается тщательному анализу характер функционирования отдельных лексико-грамматических категорий или лексико-семантических групп в условиях различных контекстов. Общим для всех этих статей является утверждение, что тип лингвистического значения как лингвистическая абстракция может содержать или не содержать в своей структуре указание на связность значения, на типовой контекст его

употребления, на наличие лексических ограничений в его сочетаемости, тематическую замкнутость его ключевых слов. Авторы выступают против абсолютизации роли контекста, против «растворения» значения слова в условиях его употребления. Вместе с тем подчеркивается огромная роль контекста в функционировании языковой единицы. Это необходимо учитывать даже в отношении терминов, которые многими исследователями характеризуются как «независимые» от контекста. Между тем именно в контексте термин получает свою специальную определенность и возможность разграничения значений в случаях многозначности.

Проблеме взаимоотношения части речи, словоформы и словосочетания с контекстом посвящен второй раздел. Л. Я. Маловицкий в статье «Части речи и контекст» рассматривает особенности взаимодействия части речи и контекста на материале местоимений-субстантивов (автор приходит к выводу о том, что «обязательность контекста» и его объем «в силу... воздействия семантики слова на контекст варьируют как между разными частями речи, так и между разными значениями одной и той же единицы внутри одного лексико-грамматического класса слов» (стр. 106—107). Прямые значения существительных, например, не нуждаются в дополнительной детерминации, тогда как прилагательное в своем прямом значении менее самостоятельно и предполагает атрибутивное словосочетание. Вместе с тем автор подчеркивает воздействие семантики слов на характер контекста.

Контекст словоформы анализируется в статьях Г. И. Демидовой «Компаративные словоформы и их контекст в диалекте» и Р. М. Гречишниковой «Значение глагольных словоформ и лексико-синтаксический контекст». Е. Н. Смольянинова в статье «Словосочетание и контекст» и Н. К. Метелева («Контекст порождения субстантивных предложно-падежных словосочетаний») исследуют взаимоотношения словосочетания и контекста.

Особый раздел сборника составляет статьи, затрагивающие вопросы контекста предложения, его членов и сверхфразового единства. Так, в статье В. Л. Георгиевой «О контекстной и внутриграмматической обусловленности структурного ядра предложения» анализируются контекстные и внутриграмматические условия, порождающие в письменности старорусского языка двусоставные предложения со сказуемым, имеющим другую форму рода и числа, чем подлежащее. С. Я. Гетхляер («Идентификация однокомпонентных номинативных предложений и контекст») на материале номинативных предложений из письменных памятников XV—XVI вв. показывает, что контекст помогает установить бифункциональность структурного ядра конструкции — функции называния и утверждения бытийности.

В статье Е. Г. Ковалевской «Синтагма акад. В. В. Виноградова как контекстологическая категория» анализируется синтагма в понимании выдающегося советского лингвиста в связи со смысловым, или актуальным, членением предложения. Синтагма в этом аспекте выступает как единица стилистического синтаксиса. Особое внимание в статье уделяется проблеме различного синтагматического членения художественного текста в зависимости от его восприятия и понимания исследователем и читателем. Подводя итоги анализа, Е. Г. Ковалевская подчеркивает, что «синтагма как актуализированный в речи член предложения или актуализированное в речи словосочетание является контекстуальной единицей, единицей стилистического синтаксиса и стилистики художественной речи» (стр. 184).

В статьях С. Г. Ильенко «Контекст и связный текст в их лингво-методической интерпретации» и Н. И. Гамбург «Речевые единицы с дифферен-

пирующими написаниями и восприятие контекста» поднимаются вопросы лингво-методического восприятия и понимания связанной речи.

Проблема значения привлекла в последнее время пристальное внимание не только лингвистов, но и философов, логиков, психологов, математиков и специалистов по кибернетике. Семантика перешагнула границы лингвистики, что привело к расширению и углублению ее содержания, стала одной из узловых проблем теоретического языковедения. Особый интерес к ней проявлен в связи с актуальностью выяснения философских и лингвистических проблем, касающихся отношений языка, мышления и действительности. Эти вопросы стали предметом обсуждения во втором сборнике — «Языковые значения».

В открывающей сборник статье В. И. Кодухова «Значение как лингвистическое понятие» рассматриваются теоретические и конкретно-прикладные аспекты изучения важнейшей лингвистической проблемы о сущности и природе языкового значения, о взаимоотношениях общей, логической и лингвистической (= языковой) семантики. Автор справедливо подчеркивает, что для современной теории языковедения характерен отказ от жестких, слишком отвлеченных структуралистических схем и повышение интереса к семантике и функциональному аспекту языка. Семантика в наше время превратилась в один из важнейших разделов разных наук, что привело к расширительному пониманию самого термина «семантика», а это неизбежно стало оказывать влияние на разработку теории значения в лингвистике. Основной задачей лингвистической семантики автор считает исследование языковых значений, их свойств, видов, систем, функций, а также их отношений к общей и логической семантике.

Рассуждая о методах исследования языковых значений, В. И. Кодухов выдвигает требование о признании онтологической и системоорганизующей природы языковых значений. Языковые значения присущи самому объекту, а не являются только методическими требованиями и процедурными принципами исследования. Систематизирующая природа языковых значений диктует необходимость опираться при их классификации на внутреннюю структуру языка; классификация языковых значений должна отражать эту внутреннюю структуру. Нельзя не согласиться с автором, считающим, что внутренняя структура языка представляет собой сложное явление, включающее в себя: а) систему единиц и категорий языка, организованных по ярусам (фонетический, морфологический, лексический, синтаксический); б) систему надъярусных единиц и категорий, образующих содержательную структуру языка (= языковое мышление, внутренняя форма языка); в) систему стилей языка и его социально-территориальных вариантов.

Исследования конкретных вопросов языковой семантики в статьях сборника согласуются с этими общими теоретическими установками. Так, в статье И. С. Куликовой «Представление в содержании слова» рассматривается соотношение логико-понятийного и наглядно-чувственного компонентов значения слов, соотношение смысла-понятия и смысла-представления. Автор статьи констатирует, что условиями возникновения наглядно-чувственного компонента смысла являются конкретизация, описательный контекст, особая структура описания, наличие достаточно сильных видовых актуализаторов (детализация путем нанизывания видов-картин).

Обусловленность лексического значения языковыми и внеязыковыми факторами рассматривается в статьях И. С. Новицкой («Значение глагола и его валентность»), Т. Г. Пономаренко («Лексико-семантическая группа и ее обусловленность»), Н. Е. Сулименко («Деривационные отношения

в лексико-семантической характеристике слов»), В. Д. Черняк («Значение слова и синонимическое гнездо»).

В статьях Е. Г. Ковалевской и Б. Н. Павлова обсуждаются вопросы, связанные со стилистическим значением и стилистической функцией слов. Е. Г. Ковалевская в статье «Семантическое значение слов и стилистическая функция слов» выделяет два типа лексических значений — предметно-понятийное и эмоционально-экспрессивное; обращая преимущественное внимание на второй тип, автор выделяет в этом значении эмоционально-оценочные, эмоционально-экспрессивные и экспрессивно-стилистические компоненты. Статья заканчивается замечанием о том, что слова с эмоционально-экспрессивным значением являются стилеобразующими, а слова с предметно-понятийным значением становятся стилистически маркированными только в результате стилистической коннотации в контексте и в речевой ситуации.

Проблеме значения части речи и словоформы посвящены статьи Л. Я. Маловицкого «Номинативное и дейктическое значение», Д. В. Салминой «О специфике адverbиального значения» и В. Я. Кузнецова «Семантика субстантивации». Л. Я. Маловицкий исследует очень важную для теории категориальных значений специфику номинативных и дейктических значений. Автор приходит к выводу о том, что номинация и дейксис как способы обобщения действительности различаются тем, что имена соотнесены с группой однородных предметов, тогда как местоимения обобщают предметы разнородные, поскольку в основе дейктического обобщения действительности лежит указание на отношение действительности к говорящему субъекту. Автор исследует также случаи совмещения номинации и дейксиса, в том числе при синтаксической номинации. Д. В. Салмина в статье «О специфике адverbиального значения» исследует категориальное значение адverbиального наречия как номинативно-дейктическое, гибридное по своей структуре и служебное по синтаксическим функциям.

Проблема «синтаксического значения» обсуждается в статьях Е. Н. Смольниковой («Значение, функция и употребление в синтаксисе»), М. А. Павловской («Значение предикативного определения»), Л. К. Дмитриевой («О сопутствующих значениях в синтаксисе»), Г. И. Демидовой («Сопоставительное значение сравнительных конструкций») и др.

Е. Н. Смольникова подчеркивает, что внутренний механизм образования синтаксических единиц состоит в правилах сочетания компонентов друг с другом и в выполнении определенной функции относительно друг друга и в процессе коммуникации. Синтаксическая функция как способ организации синтаксической единицы аккумулирует семантическое и структурное назначение.

Предметом исследования в статье Г. И. Демидовой «Сопоставительное значение сравнительных конструкций» явилось сравнение в диалектной речи. Автор хорошо показал, что в диалекте, как и в литературном языке, используются разнообразные средства для выражения сравнения; основную функцию сравнения при этом выполняет внутренняя грамматическая конструкция компаративного компонента в целом. При этом в роли показателя сравнения могут выступать союзы, предлоги, компаративные полудексические связки (*похоже на, сшибает на* и т. п.), компаративная форма прилагательного или наречия, сугубо диалектная предложно-падежная форма (типа *в добу—у добу*).

Несомненный интерес в плане анализа особенностей функционирования языковых значений представляют и другие статьи сборника.

Третий сборник «Семантика переходности» содержит статьи, группирующиеся вокруг четырех проблем: 1) общие вопросы семантики пере-

ходности; 2) переходность в кругу лексических явлений; 3) семантическая переходность в морфологии; 4) переходность в синтаксической семантике. Здесь прежде всего необходимо отметить статьи С. Г. Ильенко, В. И. Кодухова и Л. Я. Маловицкого, в которых исследуются вопросы теории переходности, выявляются типы языковой переходности (переходность состояния, стратификационная и динамическая переходность, переходность языка и переходность речи; особое внимание уделяется изучению переходности в области языковых значений и влияние этого фактора на методику преподавания русского языка в средней и высшей школе).

Обсуждая проблему переходности как языкового явления, В. И. Кодухов в статье «Семантическая переходность как лингвистическое понятие» подчеркивает, что любой современный язык представляет собою систему конкретно-исторических норм, и уже вследствие этого в его единицах и категориях наличествуют переходные явления. По мнению автора, динамизм, историческая подвижность и преемственность языковой системы объясняются не структурным изоморфизмом единиц и категорий языка, а переходностью и общей коммуникативной предназначенностью. Языковая переходность возникает «в результате взаимодействия формальных и содержательных сторон языковых единиц, проявляющегося в промежуточных и периферийных явлениях языковых категорий; переходность возникает при использовании единиц языка, когда возникают контекстные единицы или контекстные видоизменения формы или содержания языковой единицы» (стр. 6). Автор предлагает различать *п е р е х о д н о с т ь* *с о с т о я н и я* языка и *п е р е х о д н о с т ь* его исторического *р а з в и т и я*. Внутри переходности состояния наиболее важными признаются явления *п р о м е ж у т о ч н о с т и* и *с и н к р е т и з м а*. Переходность языковых явлений связана с историческими преобразованиями, различного рода трансформациями и изменениями. Промежуточность и переходность наблюдается в морфологии, синтаксисе, фонетике и лексике. Переходность из частного вопроса превращается в общелингвистическую проблему.

Интересны наблюдения относительно причин возникновения переходности и явлений, сопровождающих эти процессы.

В этом отношении значительный интерес представляют статьи Л. Я. Маловицкого «Переходность как отражение исторических изменений в языке», С. Г. Ильенко «Явления грамматической переходности и их отражение при обучении русскому языку (на примере субстантивации имен прилагательных)», И. С. Куликовой «Переходный тип лексической семантики (лексикографический аспект)», Е. Г. Ковалевской «Субстантивированные прилагательные, их функционирование в текстах художественных произведений» и др.

Л. Я. Маловицкий удачно показывает, что «динамическая переходность отражает исторические изменения в языке и порождается свойствами языкового знака, характером качественных преобразований, внеязыковы и причинами» (стр. 17). Всякое изменение в языке предполагает стадию переходности. Исходя из того, что динамическая переходность проявляется в образовании вариантности и гетерогенных свойств языковой единицы, Л. Я. Маловицкий предлагает различать вариантную и гетерогенную переходность. Обладая специфическими характеристиками, эти разновидности переходности могут взаимодействовать, переплетаться и пересекаться.

Тонкостью наблюдений за «переливами» смысла и их отражением в практике русской лексикографии отличается статья И. С. Куликовой, к которой близко примыкает статья Т. Г. Пономаренко «Стилистическая

переходность слов». Следует назвать также статью С. А. Хватова «Идио-этнический компонент содержания термина».

Интересны наблюдения над семантикой переходности в морфологии, которые содержатся в статьях Е. Г. Ковалевской «Субстантивированные прилагательные, их функционирование в текстах художественных произведений», Д. В. Салминой «Семантика наречия как гибридной части речи», Т. Н. Белицкой «Переходные явления среди прилагательных», Г. И. Демидовой «О влиянии словообразовательного фактора на значение детерминатора компаратива (на материале брянских говоров)» и др.

Рецензируемые сборники представляют собой существенный вклад в изучение проблемы семантики языковых единиц. Не решая окончательно проблемы, работы, входящие в них, стимулируют ее дальнейшее изучение. В этой связи хотелось бы подчеркнуть роль руководителя группы и редактора всех сборников В. И. Кодухова, сумевшего объединить вокруг единой проблематики многих исследователей с индивидуальными интересами и со своими конкретными исследовательскими темами. В сборнике нашли отражение разнообразные аспекты изучения языковых значений, но все они объединены общим подходом к их исследованию, общей методологией и методикой исследования.

РЕЦЕНЗИИ

«Русский язык. Энциклопедия». Гл. редактор Ф. П. Филин.— М., «Советская энциклопедия», 1979. 431 стр.

Ориентироваться в постоянно развивающейся науке о русском языке с каждым годом становится все труднее: растет число накопленных языковых фактов, множится обилие методов и направлений исследования и описания языка. Хочется поэтому всячески приветствовать выход в свет коллективного труда «Русский язык. Энциклопедия».

Своим назначением и написанием рецензируемая книга преследует важную просветительскую и научную цель. Она может служить хорошим руководством прежде всего для советских и зарубежных филологов-русистов, преподавателей русского языка, для всех, кто впервые знакомится с русским языком и желает получить хотя бы самые важные сведения о нем.

Из самой природы жанра энциклопедии вытекает необходимость постоянно пользоваться ею в учебной и преподавательской практике, в научно-исследовательской работе. Установка на такого адресата и на такое использование, естественно, отразилась в подборе статей и в манере изложения. Описано более 550 важнейших понятий и категорий, принятых в современной науке о русском языке (всего в энциклопедии свыше 600 статей). Уже при знакомстве со словариком можно заметить, что составителями и редакторами был тщательно продуман его состав, который включил основные базисные понятия современной русистики. Их тематико-терминологический диапазон охватывает уровни и аспекты языка, его инвентарь и необходимые квалификации, способ использования и возможные дифференциации. Словарные статьи в совокупности освещают вопросы лексикографии и лексикологии, сравнительно-исторического языкознания и стилистики, взаимоотношения языка и речи, вопросы фонологии, морфологии и синтаксиса; отражают проблемы национального языка, социальный статус последнего среди других языковых образований, распределение коммуникативных сфер между литературным языком и остальными формами существования языка, социальную базу и дифференциацию литературного

языка и др.: «Значение слова», «Предикативность», «Актуальное членение предложения», «Семантика», «Культура речи», «Стилистика», «Язык», «Варианты языковые», «Язык и мышление», «Язык и общество», «Норма (языковая)», «Устная речь», «Функция языка» и т. д.

В ряде статей эти общие положения преломляются под углом зрения специфики русского языка как такового: «Национальный язык», «Единицы языка», «Литературный язык», «Разговорная речь», «История русского литературного языка», «История русского языка», «Наречие», «Просторечие» и т. д.

Возросшая роль русского языка как средства международного и межкультурного общения и явная интенсификация его влияния на другие языки нашей страны и всего мира отразились в статьях «Интерлингвистика», «Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы» (МАПРЯЛ), «Языки мира», «Языки народов СССР», а также отчасти в статьях о научных и издательских организациях: «Научно-исследовательский институт преподавания русского языка в национальной школе АПН СССР», «Институт языкознания АН СССР», «Институт русского языка АН СССР», «Русский язык в школе», «Русский язык», «Русский язык в национальной школе», «Русский язык за рубежом» и др. Энциклопедичность книги удачно поддерживается перечнем персоналий и конкретных лингвистических изданий, содержащихся в отдельных статьях: «Лексикография», «Грамматика», «Двуязычный словарь», «Психолингвистика», «Словарь лингвистический», «Славянское языкознание» и под.

В предисловии к книге справедливо признается, что «в науке о языке, в русистике в частности, имеется много нерешенных проблем, много разных точек зрения на одни и те же явления» (стр. 6). Заметим, что наряду с экспликацией основных понятий и положений, в большинстве статей составителями предлагаются эти разные точки зрения, что, конечно, делает книгу более интересной для читателя.

Внимательный анализ статей, посвя-

щенных не только русскому языку как таковому, но и общим проблемам, на которых базируется наука о русском языке, сопоставление общих теоретических основ с конкретным описанием языковых единиц и лингвистических понятий и терминов с очевидностью выявляет единство исходных методологических позиций авторов, понимание языка как общественного явления. Хотя авторам не удалось добиться полного единства стиля изложения и терминологии, абсолютного единообразия в подходе к материалу, они, по нашему мнению, в целом успешно провели работу по систематизации обильного, порой дискуссионного, а может быть, и недостаточно исследованного в современной научной литературе лингвистического материала, избежали индивидуального терминоведения, употребляя традиционные, устоявшиеся, широко представленные в работах по языкознанию термины и понятия. Большой коллектив составителей при естественном праве каждого на собственное мнение не породил, казалось бы, неизбежного субъективизма. Он, если и коснулся, то объема словарных статей, выразился в пристрастии авторов к вполне определенным лингвистическим решениям, но не затронул концептуальной стороны.

Вполне импонирует энциклопедическому назначению объем и характер содержащейся в статье лингвистической информации. Так, категория падежа характеризуется с точки зрения объема понятия, основных значений, функционирования в разных типах предложений, сочетания с предлогами, выражаемыми ими отношениями. Статьи о синтаксических конструкциях включают определение, разновидности предложения, его основные структурно-семантические типы, виды связей и т. д.

Определенная содержательная схема реализуется в словарных статьях, посвященных морфологическим категориям слов — существительным, прилагательным, глаголу, наречиям, междометиям, предлогам и т. д., а также и другим языковым категориям и единицам (перечень которых приводить здесь вряд ли целесообразно).

Очевидны усилия авторов по отбору иллюстративного материала из речевой жизни современного общества, который сопровождает словарные статьи, во который, правда, заимствован главным образом из прозаических художественной литературы и разговорной речи. Точность дефиниций и удачность большинства примеров, безусловно, украшают книгу. Не останавливаясь пока на частностях, фактах единичных и экстраординарных, с уверенностью можно сказать, что абсолютное большинство статей написано ясно и просто, на хорошем научном уровне.

Составители справедливо сочли своим научным долгом включение в состав энциклопедии более 50 персоналий. Статьи, посвященные отдельным языковедам-русистам, на наш взгляд, удачны: они содержат основные биографические сведения, указание на область научных интересов, перечень основных трудов и литературу о самом исследователе. Правда, приводимый список языковедов вызывает вопросы, поскольку не совсем ясен принцип отбора.

Энциклопедия «Русский язык», как и любое другое интересное исследование, содержит положения, мнения, спорные вопросы, о которых можно спорить. При сопоставлении словарных статей нелегко найти рациональные пропорции: степень полноты одним читателям может показаться недостаточной, другим — избыточной. Однако, опасаясь проявить излишний субъективизм, заметим, что, по нашему мнению, в корпусе собственно лингвистического издания избыточными представляются понятия, связанные больше со стилистикой художественной речи и литературоведением, нежели с языкознанием: «Аллегория», «Антитеза», «Гипербола», «Метонимия», «Олицетворение», «Перифраза», «Ирония», «Синекдоха», «Стилизация», «Троп» и под.

Дидактическими, а не собственно лингвистическими являются понятия «Филологическое образование», «Русский язык в школе» (ср., на наш взгляд, более удачное терминологически «Русский язык как учебный предмет»), «Развитие речи в школе», «Учебник русского языка», «Методика преподавания русского языка» и некот. др. Если даже признать целесообразность присутствия последней, то напрашивается неизбежно включение уже сформировавшихся на сегодняшний день ее самостоятельных направлений: «Методика преподавания русского языка как неродного», «Методика преподавания русского языка как иностранного» и, может быть, хотя и менее устоявшегося понятия «Лингводидактика».

Неудобительно появление словарных статей «Московское произношение» при отсутствии «Ленинградское произношение», «Сочинение школьных» при отсутствии аналогичных «Диктант», «Изложение», «Штамп» при отсутствии «Стандарт» и пр.

Статья «Минимум орфографический и пунктуационный» могла бы отсутствовать, поскольку сведения о нем вполне уместны в статьях «Орфография» и «Пунктуация», тем более что в книге нет «Минимум лексический», «Минимум грамматический» и под. Наличие рассуждений о пассивном и активном словаре заставляет, чтобы быть последовательными, включить в корпус книги сведения об активной и пассивной грам-

матике. «Правила русской орфографии и пунктуации» — не единственный документ, заслуживающий упоминания в энциклопедии.

Обращает на себя внимание некоторая нечеткость в систематизации и представлении отдельных статей, проявляющаяся в неравномерном охвате проблематики. Это касается таких статей, как «Глагол», где сведения о залого и виде явно избыточны, поскольку в несколько иной форме они представлены в соответствующих статьях «Залог» и «Вид»; «Двуязычный словарь»; «Лексикография»; «чрезмерно обильным перечнем словарей; «Диалект» и «Диалектология». Межфразовые связи описываются под заголовочным словом «Абзац», хотя этому понятию вполне могла быть посвящена специальная словарная статья. Напрашивается включение статей «Знак», «Знаковая система» и некоторых других.

Нам представляется весьма значимым и трудно объяснимым отсутствие таких понятий, как «двуязычие», «русский язык как язык межнационального общения», «русский язык как мировой». Эта проблематика уже составила влиятельную область языковедения и русистики, существует большая литература, описаны типы двуязычия, требования, предъявляемые к языку международного и межнационального общения.

Авторы соблюдают определенную иерархию в представлении круга понятий: омонимы — омонимия, омонимов словарь; синонимы — синонимия, синонимов словарь; но антонимам посвящена лишь одна общая статья; лишена такой иерархии антропонимика (ср. возможное антропоним), тем более, что в статье под этим заголовочным словом речь идет о видах антропонимов. Есть словарная статья о переносном значении слова и нет о прямом, хотя в статье «Значение» квалифицированы оба. Статьи «Аккомодация» и «Ассимиляция», «Лексикография» и «Лексикология» содержат повторяющуюся информацию. В статье об «Аббревиатурах» не отражены многочисленные термины, хотя именно в сфере терминологической аббревиация особенно сильна; об этом стоило, видимо, сказать в словарной статье и привести соответственно более разнообразие примеры.

Некоторые статьи, в частности, «Культура речи», «Книжная речь», «Высказывание», «Единицы языка», «Жестов

язык» и некот. др. написаны с явным пристрастием к определенному пониманию, без указания на другие существующие в современном языковедении возможные представления, а также на квалификации, существующие в других статьях самой «Энциклопедии». Создание вокруг столь емких и неоднозначных понятий более широкого контекста, по нашему мнению, целесообразно.

Стремление к конкретности приводит иногда к включению частной, несущественной информации, как например, повторяющиеся в словарных статьях сведения об отдельных буквах русского алфавита, сведения об употреблении их в аббревиатурах (заметим, правда, что при букве «б» эта возможность употребления в аббревиатурах почему-то не указана), сокращениях; излишни указания на порядковый номер букв.

Есть отдельные пропуски, неточности (укажем хотя бы на отсутствие написания конечной позиции «г»; «к» — выступает не только как условное сокращение слов «копейка» и «короткий», но и слова «кольцевой»; указание на сокращение б. ч. — «большой частью» как вполне сложившееся, общепринятое, вряд ли справедливо); неравномерно распределены примеры-иллюстрации в отдельных словарных статьях. Наконец, для универсального издания в некоторых местах книги несколько тяжеловат стиль изложения.

И тем не менее общественное значение рецензируемой книги трудно переоценить. Выполненная на высоком научном уровне, она окажет надежную помощь преподавателям языка, филологам-русистам, существенно расширит их осведомленность в проблемах современного языковедения. Мы надеемся, что книга станет необходимой для всех, кто интересуется русским языком.

Нельзя не отметить эстетически приятное полиграфическое оформление книги, со вкусом подобранные и украсившие ее рисунки, фотографии и цветные иллюстрации.

Хочется в заключение высказать слова благодарности авторам и издательству, которые сделали прекрасный подарок всем языковедам и любителям русского слова, подготовив и выпустив столь примечательную книгу, и выразить надежду, что такой опыт в области филологии не останется единственным.

Митрофанов С. Д.

«Словник гідронімів України». — Київ, «Наукова думка», 1979. 781 стр. + 1 вкладш (6 карт).

Минувший год ознаменовался большим событием в литературе по славянскому языкознанию — вышел «Словарь гидронимов Украины». «Словарь гидронимов Украины» — первое сравнительно полное собрание (свыше 20 тыс. основных и почти 24 тыс. вариантных) названий рек, ручьев и прочих потоков, оформленных соответственно их литературно-нормативным, историко-лингвистическим и географическо-локализационным характеристикам. Словарь гидронимов должен удовлетворить острую необходимость в концентрации, описании и нормализации собранных в нем собственных названий водных объектов республики (аннотация, стр. 5). Тот, кто знает скромный «Каталог річок України», вышедший в Киеве более двадцати лет тому назад, сможет оценить путь, который проделали украинские языковеды-ономасты, прежде чем прийти к нынешнему фундаментальному итогу. Об этом свидетельствуют сами имена составителей нового Словаря, получившие известность за последние два десятилетия благодаря интенсивным исследованиям гидронимии украинской части бассейна Днестра, Десны, гидронимов юго-восточной Украины, Южного Буга, из которых, собственно, и вырос рецензируемый словарь.

В новом «Словаре гидронимов Украины» отразились наглядно достижения украинской ономастики, характеризующие ее с самой лучшей стороны: это и деятельные разыскания собственного конкретного материала, значительно пополняющие и корректирующие старые материалы П. Л. Маштакова по Дону, Днепру, Днестру и Южному Бугу, неустанно расширяющие источниковедческую базу ономастических исследований; это и традиционное внимание к теоретическим вопросам ономастики и в частности — гидронимии (место гидронима в лексике и языке, функционирование гидронима, его структура, связь с историей языка и историей народа); это и детальная ориентация в других больших разделах языкознания (взять хотя бы балто-славянские ареальные связи) и в важнейших смежных дисциплинах (текстология и лингвистическое источниковедение). Подробный перечень соответствующих публикаций занял бы много места, поэтому достаточно сказать, что в ряде научных центров Украины существуют и множатся весьма квалифицированные исследовательские кадры по ономастике, объединяющиеся главным образом вокруг киевского Института языкознания им. А. А. Потебни и Украинской ономастической комиссии. Отмечая здесь, к слову, этот прекрасный итог — расцвет украинской ономастики, заметный

и на фоне современного общеславянского развития этой отрасли языковедения, мы сосредоточимся далее всецело на самом Словаре, его особенностях и той разнообразной информации, которая в нем имеется.

Рецензируемая книга содержит предисловие, условные сокращения, список библиографических сокращений, собственно «Словарь гидронимов Украины» (стр. 19—641, в две колонки) и «Указатель гидронимических вариантов» (стр. 671—780, в три колонки). Библиография Словаря внушительна и включает много труднодоступных источников. Как сказано об этом в предисловии (стр. 11), в Словаре использованы отечественные и зарубежные летописи, древние грамоты, разнообразные официальные акты, географические описания, карты и атласы, списки населенных пунктов и других географических объектов, статистические и землеустроительные материалы, охотничьи и рыболовецкая периодика, энциклопедии и энциклопедические словари, лингвистическая, историческая, географическая и прочая лексикография, списки, каталоги и описания водных объектов и их систем, специальные научные исследования, связанные с описанием водных потоков, материалы архивов, специализированных картотек, фонотек, материалы археологических, лингвистических и специальных гидронимических экспедиций, а также диссертационные работы. Там же мы узнаем, что «значительная часть использованных материалов еще не опубликована и сохраняется в ономастическом архиве и ономастической картотеке Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР».

Интерес нового труда повышается тем обстоятельством, что перед нами — многоплановое издание, включающее «современные и исторические, литературные и диалектные, прозрачные и затемненные, украинские и иноязычные формы наименования» (стр. 9). Будучи в значительной степени историко-диалектологическим сводом гидронимии Украины, Словарь вместе с тем «ориентирован на современное состояние гидронимии УССР» (там же) и ставит перед собой и научной общественностью задачу нормирования гидронимического фонда. Сложность и многообразие этих задач ясны без комментариев. Установка авторов на максимальную информативность (например, «почти вся использованная в „Словаре гидронимов Украины“ информация датирована», стр. 11) вызывает безусловное одобрение. Можно сказать, что при составлении Словаря сознательно исключалась только этимологическая информация (ср. включение также и ее в двухтомнике Ф. Безала «Slovenska vodna

ишела», I—II, Ljubljana, 1956—1961), но по систематичности, обилию и разнообразию всей остальной информации новый «Словарь гидронимов Украины» сразу выдвинулся на одно из первых мест в славянской ономастической литературе.

Словарь гидронимов, как хорошо сознают авторы, должен быть тесно связан с изучением гидрографической системы территории. Наиболее естественный при этом порядок подачи и рассмотрения гидронимов и гидрообъектов — гидрографический (от истоков к устью), в масштабах водных бассейнов, хотя ясно, что «изоморфизма» между гидрографией и гидронимией быть не может, гидронимия отражает языковую специфику и исторические пути освоения земель и вод. Например, великие реки Юга Европейской части СССР текут, обобщенно говоря, в южном направлении, а номинация их (названия *Днестр*, *Днепр*, *Дон*) распространялась в западно-восточном направлении. Разумеется, этническая территория — это не просто сумма бассейнов. Здесь существуют свои проблемы, оправдывающие алфавитный принцип словаря гидронимов этнической территории. «Словарь гидронимов Украины» построен как раз по этому последнему принципу.

«Словарь гидронимов Украины» представляет собой первый опыт сравнительного полного описания системы собственных наименований проточных вод Украинской ССР» (стр. 9). «За пределами внимания составителей этого словаря осталась лимнонимия..., т. е. названия стоячих вод, которые еще ждут своего описания, упорядочения и лексикографической обработки» (там же, сноска). Обширность собранного в Словаре материала, видимо, побудила составителей ограничиться одними названиями проточных вод, хотя исторически, да и гидрографически эта мера не кажется необходимой. Проточность и непроточность — не такие уж абсолютные понятия, они могут носить сезонный характер; пересыхая, поток превращается в ряд водоемов, нынешние зарегулированные реки на наших глазах превратились в каскады водохранилищ. В античную древность рекой было, видимо, озеро Дондулав в Крыму. Многие озера вообще теснейшим образом связаны с речными системами, в том числе и по названиям. Так, название *Старица* (в разных местах) может обозначать и проточное русло, рукав реки и непроточный водоем в речной пойме. Названия смежных рек и озер образуют ту самую гидронимическую цепочку («гидронімічний ланцюжок», см. о нем в несколько иной связи на стр. 11). Словом, ограничить лимнонимию от гидронимии еще труднее, чем языковую синхронию от диахронии. Не везде удалось это и авторам «Словаря

гидронимов Украины». Например, рядом с потоком *Гостилів* в бассейне *Днестра* (стр. 151) фигурирует «мочар і став Гостилів» (там же). А куда отнести балку под красноречивым названием *Резервуар* (стр. 459)? Гидронимические каталоги последних двух десятилетий обычно включают как названия рек, так и названия озер¹. Задачу кодификации названий стоячих вод украинским ономастам еще предстоит выполнить, после чего гидронимический свод Украины можно будет считать законченным. Разумеется, полнота его зависит от полноты сведений, утраты названий и многого другого. Какую численность названий вод мы вправе ожидать от тезауруса украинской гидронимии? Густота водной сети разных стран неодинакова, но если взять в целом сравнимые (незасушливые в основном) территории, то, по-видимому, на большей площади следует ожидать большего количества гидрообъектов и гидронимов. Так, относительно обследованные гидронимически Литва (65 тыс. кв. км) и Болгария (111 тыс. кв. км) насчитывают, по имеющимся сведениям, соответственно около 10 тыс. и около 40 тыс. гидронимов. В связи с этим думается, что свод в 20—30 тыс. названий рек и озер — еще не предел для Украины (603 тыс. кв. км).

Высокая информативность Словаря гидронимов Украины, о которой уже говорилось, — это также исчерпывающая или почти исчерпывающая трактовка разных (в том числе — разноречивых) названий и вариантов названий одного гидрообъекта. Названиям небольшой речки юго-востока Украины — *Калмыуса* посвящен целый столбец (стр. 232), охватывающий формы, начиная с Геродота и Птолемея и десятки вариантов из разнообразных более поздних источников, что, конечно, отражает большие разыскания по исторической ономастике. Компактно, но очень содержательно подан обзор названий и вариантов в статье *Оріл* (стр. 400) — с XII в. до современных диалектных транскрипционных записей. Богат обзор в статье *Підденний Буг* (стр. 422—423): «Ужас» (Геродот), *Vagosola* (Иордан), *Вогой* (Константин Багрянородный), *Богъ* (древнерусские летописи с XII в.) и т. д. Такие примеры характерны для рецензируемого труда, и они делают его историческим словарем украинской гидронимии.

Оставаясь историческим, этот Словарь постоянно обращен к проблемам нормализации современных литературных укра-

¹ См., например: «Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas», Vilnius, 1963; «Hydronimia Wisły», I, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1965; Г. П. Смолицкая, Гидронимия бассейна Оки (список рек и озер), М., 1976.

ипских форм названий рек и в огромном большинстве случаев успешно справляется с этой задачей, как мы думаем, именно благодаря вниманию к истории. Вопрос нормы, однако, труден, и его не всегда удается решить даже при принципиально правильном подходе. Выбору правильной национально-литературной, орфографической формы может в затруднительных случаях оказать помощь этимология. Остановимся на двух случаях, трактовка которых, как нам показалось, является спорной. Так, например, название притока Десны под Киевом подается в форме *Сѣвид* (стр. 538). Однако запись XIX в. *Суевидъ*, с одной стороны (там же), а главное — название Киева у Константина Багрянородного — *Σαυζατάς* (X в.), явно отражающее слав. **svodъ* «стечение воды», — с другой стороны, склоняют к мысли, что исторически оправдана здесь была бы только украинская форма *Суевид*. Другой пример того, как этимология подсказывает правильный выбор нормализованной орфографической формы — это *Шепільський*, название потока в бассейне Днестра (стр. 620). В числе вариантов там приводятся и форма на *i* *Шепільська*, но предпочтение оказано форме на *и*, хотя исторически и этимологически правильное было бы наоборот, как о том свидетельствует относящееся сюда старое название одного из червечских городов — *Шеполь*.

Словарь гидронимов Украины вносит немалые уточнения в графические формы названий, отмечает неверность ряда записей пометой *помилк.* «ошибочно»: *Гнильць* — ошибочно *Гнолец* (стр. 141), *Грабоваць* — ошибочно *Градовець* (стр. 152). В некоторых случаях эта помета, к сожалению, отсутствует, когда, например, при названии *Габова*, *Габовая* приводится форма *Габоная* (стр. 125), или особенно при названии *Свинька* приводится форма *Свинькока* (1775 г.) (стр. 490). Очевидно, рукописное квадратное *е* (XVIII в.) было понято позднейшими издателями как *л* в силу близости начертаний, что следовало оговорить в Словаре.

Все эти ситуации подчинены важнейшему вопросу вообще в лексикографии, не только в ономастической, — выбору наиболее авторитетного (заглавного) варианта. При чтении Словаря у нас обычно не возникали сомнения в правильности авторской трактовки. Лишь единично попадались случаи, к которым еще стоит вернуться для проверки в указанном смысле, например, *Олѣх*, река в бассейне Соверского Дона, на втором месте — вар. *Олег*, *Олега*, далее — *Ольговъ колодезь* (XVIII в.) (стр. 397). Может быть, правильное было бы дать как основное *Олег*, а *Олѣх* — не более как запись с оглушением *з* фрикативного?

Проблематика вариантов названий оказывается весьма разнообразной, о чем

наглядно свидетельствуют сами приморы: *Хоробѣтка*, в бассейне Стугны, — вар. *Хаврадка*, *Хаврадки*, *Хавра́тка* (стр. 593); *Камышеба* — вар. *Камышевата*, *Камышеватая*, *Камыш-Субт* (стр. 266—267). Ясно, насколько затруднена здесь однозначная словообразовательно-морфологическая трактовка. Уже одно соположение двух форм как вариантов (или тождественных) оказывается весьма ответственным делом, критерием правильности грамматических помет, как в случае с *Козь*, «род. належн.» (родительный принадлежностн, стр. 261), но ср. *Кози*, старое название соседнего села, явно тюркоязычное; или критерием правильности этимологической атрибуции, как в примере *Козильник* (стр. 259), очевидного преобразованного тюркизма **kaganlyk* «каганство», что делает зачисление сюда же особого древнего названия *Агалинг* (там же) весьма проблематичным.

Всегда интересны иноязычные названия (варианты), связанные отношением семантического калькирования, как например, *Водяная* — *Су Тарама* (стр. 117), дублетное греческо-тюркское *Врісі-Чесме* (стр. 123), *Молдча(я)* — *Сют* (стр. 373).

Нельзя пройти мимо ценных поясняющих моментов контекста, приводимых в статье *Балин*, название потока под Черниговом: «при потоку б о л о т н о м ъ Балинѣ» (1765—1769) (стр. 32). Перед нами, по сути дела, балто-славянская глосса, ср. литов. *bālínis* «болотный», *bālūnas* «болотная местность»; интересна и локализация этой топонимической глоссы на крайнем юго-востоке реконструируемого древнего ареала балтской гидронимии.

Сплошная кодификация украинских гидронимов позволяет выявить по материалам гидронимии любопытные ареалы лексических и диалектно-фонетических явлений. Так, название реки *Бадра́к* в Крыму имеет варианты *Багадрак*, *Баура́к* (стр. 29, 30), что, кажется, говорит скорее о тюркизме. На востоке и юго-востоке Украины располагается ареал гидронима *Харци́вка*, *Харци́зская* (стр. 588), производных от тюркизма: русск., укр. *харци́з*, *харси́з* «бродяга, разбойник».

Украинская гидронимия включает элементы, важные для реконструкции древних индоевропейских отношений, как например, название реки *Ромѣн*, *-мнѣ* (приток Сулы, в летописи с XI в., см. стр. 474 Словаря), сравнимое с «древнеевропейской» (по терминологии Г. Краэ) гидронимической основой **armena*.

«Словарь гидронимов Украины» убедительно показывает, каким ценным резервом сохранения и выявления древней славянской лексики может служить украинская гидронимия, до настоящего времени, по-видимому, не привлекавшаяся ещё с должной систематичностью для реконструкции возможных утрат в

словарном составе. Для выяснения этого принципиально важного вопроса в ходе подготовки настоящей рецензии была предпринята проверка в картотеках «Этимологического словаря славянских языков», имевшая целью определить наличие апеллятивных соответствий в известной лексике восточно-славянских языков и диалектов тем из украинских гидронимов (по данным «Словаря гидронимов Украины»), которые со всей очевидностью восходят к славянским нарицательным словам древнего вида и предположительно ограниченного распространения. Результаты произведенной проверки представляют интерес. Ниже приводится материал, извлеченный из «Словаря гидронимов Украины», с нашими лексическими реконструкциями и комментариями.

Бездбжиский, поток в бассейне Днестра (стр. 37). Ср. др.-русс. *бездбжскыи* — в применении к другому месту: *бездбжскыи вразбж* (Воскресенская летопись под 1352 г., И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I, 56); *Бездбжъ*, город где-то на нижнем Дону (1318 г., И. И. Срезневский, там же); *Бездбж*, название деревень в бывш. Гродненской, Псковской, Тверской губерниях. В доступных нам материалах по лексике русского и украинского языков и диалектов слово отсутствует.

Безуд, река на правом берегу Припяти (стр. 38). Очевидно, продолжает древнее слово **bezudъ* «увечный», не сохранившееся, насколько нам известно, вообще ни в одном славянском языке; существует лишь производное прилагательное серб.-хорв. *bězudan*, словен. *bregiden*, чеш. *bězudný*, русск. книжн. *безудный* в том же значении (см. «Этимологический словарь славянских языков», 2, стр. 48).

Гобер-бра, название реки в бассейне Тетерева (стр. 144), восходит к диалектной протезой *г-* к праславянскому названию аваров, ср. др.-русс. *обьринъ*, *объринъ*, *обрь* в «Повести временных лет».

Корноріа, *-рогу*, река в бассейне Тетерева, ст.-укр. *Корнорогъ*, 1584 г. (стр. 272 Словаря); соответствия в лексике русского, украинского, белорусского языков и диалектов нам неизвестны. Тем не менее, этот гидроним отражает праславянское лексическое сложение **kъrno-gogъ*, прилаг. «с обломанным рогом», засвидетельствованное в серб.-хорв. *крънорог* «mutilis cornu» (в словаре Вука Караджича), а также макед. *крънорог* «то же».

Мізудра, река в бассейне Серета (стр. 366). Гидроним четко сохраняет праславянское нарицательное слово **mъzudъga* «дерущая, рвущая мехи». Любопытно отсутствие соответствий в известной нам лексике восточнославянских языков.

Мокра(я) Бббрада, название реки в

низовьях Сулы, Полтавская область (стр. 369), содержит производное от названия бобра с суффиксом *adъ*, не известное нам из лексики славянских языков.

Молокиш, левый приток Днестра (стр. 373), может быть продолжением праславянской лексемы **molkъshъ*, предположительно обозначавшей топль, болото. Примеры из лексики нам неизвестны, не знает их для производного на *-uъ* и Ю. Удольф, специально исследовавший гнездо праслав. **molkъ* «топь, топкий, сырой луг» в гидронимии².

Молоста, название реки в Черниговской области (стр. 373), представляется отражением праслав. **melzta*, регулярно страдательного причастия прошедшего времени от глагола **melzti*, **mъlzp* «донть», тем не менее, из доступной нам апеллятивной лексики такое производное неизвестно. Фасмер в статье на слово *млоость* «ненастье, слякоть, сырая погода» приводит украинское название реки *Млоость* «в бывш. Черниг. губ.»³, однако рецензируемый нами словарь не знает для этого гидронима вариант *Млоость*, показательно, далее, отличие ударения: *Млобста*. Что касается отношений русск. диалект. *млоость* «ненастье и т. д.» и гнезда слав. **melzti* «донть», то они заслуживают специального, в том числе семантического, анализа.

Морица, *Морица*, гидроним в Путявльском районе Сумской области (стр. 374), допускает реконструкцию исходного нарицательного праславянского **morica*, производного от **morъ* «море». Из лексики восточнославянских языков такое производное нам неизвестно.

Обитік, *-оку*, гидроним в бассейне Самары, а также производные *Обитічка*, *Обитічна* — все на левобережье Днепра (стр. 392—393), восходят к праславянской лексеме **obitokъ*, ср. белорусск. диалект. (западнополюск.) *обиток* «речной остров» (последнее цит. по: «Этимологичны слоўнік беларускай мовы», I. Мінск, 1978, стр. 4).

Пицадь, река бассейна Тисы (стр. 426). Название отражает апеллятивное **pъstъ-čadъ*, однако без соответствия в известной нам лексике восточнославянских языков и диалектов.

Тболотий, название яра в бассейне Северского Донца, Харьковская область (стр. 568). Это название, уже отмеченное Маштактовым, а теперь проверенное и проакцентированное, заслуживает пристального внимания как примечательный

² См.: J. Udolph, Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven, Heidelberg, 1979, стр. 211.

³ М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967, стр. 647.

архаизм. Нам представляется возможным реконструировать на его базе праслав. **telis*, по-видимому, связанное с литов. *tiltas* «мост». До сих пор, кстати сказать, славянское соответствие этому балтийскому слову не было известно (я не говорю о более далёком **tylo*, русск. *тало*). Украинский гидроним *Тологий* имеет все приметы правильного славянского страдательного причастия прошедшего времени на -*to-*, ср. русск. *мблтый*: *мблть* < праслав. **melis*: **meliti*. Характер аналогичного причастия обнаруживает и упомянутое литов. *tiltas* «мост». Сходство между укр. *Тологий* и литов. *tiltas* идёт дальше, поскольку оба отглагольны и оба, заметим, лишены исходных глаголов, которые имели бы вид: укр. **толомити*, праслав. **teliti*, литов. **teliti*. Праславянская лексико-морфологическая база восстанавливается для гидронима *Тологий* довольно надёжно, парадигматически, но факт остаётся фактом: в известной нам лексике славянских языков и диалектов соответствующее нарицательное слово не засвидетельствовано. Однако создавшаяся изоляция имени *Тологий* в славянской апеллятивной лексике вторична, и у нас нет права видеть здесь, скажем, проникновение из балтийского. Об этом говорят существенные различия употребления: балтийское слово было равно субстантивировано, ср. его древнее проникновение в фин. *silta* в том же именном значении «мост», тогда как форма *Тологий*, по сути дела, — местоименное прилагательное (на базе причастия, см. выше); ничего подобного балтийский не обнаруживает. Семантика «мостовой» или «мощный» восстанавливается для названия *Тологий* с достаточным верооятием. Аналогиями в семантическом плане, кроме того, могут служить такие украинские гидронимы, как *Міст-ки*, *Містби*, собственно «Мостки, Мостоки», *Містеч*.

Закончить по достоинству перечень украинских гидронимов, перспективных в плане реконструкции утерянных или слабо представленных славянских лексем, можно названием *Усори*, *Усори*, река в Черниговской области (стр. 581). Мы восстанавливаем с его помощью апеллятивное праславянское **usorogъ*, прилагательное архаического вида (чистая безаффиксная основа) с приближительным

значением «усорогий». В доступных лексических материалах восточнославянских языков и диалектов такой апеллятив неизвестен. Ср. выше *Корнорі*.

Из всех гидронимических районов Украины особое место занимает Крым. Его гидрографически небогатая речная система имеет многослойную и самобитую номенклатуру со своей проблематикой. Старые индоевропейские пласты собственно украинской гидронимии — славянский и балтийский — остаются в стороне от Крыма. О тюркском адстрате и суперстрате мы здесь не говорим. Индоевропейское в гидронимии Крыма — это греческие названия (порой весьма четкие) и названия, принадлежащие другой индоевропейской стихии. Их изучение необходимо продолжать, и в этом «Словарь гидронимов Украины» способен оказать незаменимые услуги. Со всей краткостью можно лишь сказать, что типично иранских гидронимов в Крыму как будто не встречается (от иран. **danu-*, **rauta-*, **xara-*). Привлекают внимание крымские водные названия *Науката* (стр. 383), *Таката* (стр. 553), *Писар* (стр. 425), *Уппа* (стр. 580). Из мелких замечаний по этому району укажем отсутствие более точной локализации гидронима *Загмата* (стр. 202: «бассейн Чёрного моря в Крыму»). Внимание, естественно, привлекают признаки бывлой организации древней гидронимии Крыма, ср. уже упомянутые названия с тождественным исходом -*ата*, далее — переключившиеся (коррелирующие) обозначения, например, наряду с *Салгир*, названием главной реки Крыма (вар. *Большой Салгир*, стр. 484), — название *Апира-Салгир*, речка на Южном берегу (последнее название в Словаре пропущено), где *Апира-* выступает, по-видимому, как определение («западный?» «дальний?»).

Выход в свет фундаментального «Словника гідронімів України» надо приветствовать. Это как раз то, что нужно для более интенсивных разысканий по длинному перечню проблем, лишь бегло затронутых в нашей рецензии. Мы убеждены, что с появлением такого надежного инструмента общая работа пойдёт гораздо успешнее, чем прежде.

Трубачев О. Н.

E. Stankiewicz. Studies in Slavic morphophonemics and accentology.— Ann Arbor, Michigan Slavic publications, 266 стр.

В новую монографию Э. Станкевич включил свои основные работы по славянской акцентологии и ее морфонологическом аспекте. Сюда не вошло несколько работ по частным вопросам, серия рецензий, а также монография, посвященная словозаменению русских имен существительных¹. Две большие главы, посвященные акцентовке 4-причастий в сербохорватском языке и акцентовке русских глагольных форм, публикуются впервые. Поскольку за двадцать лет, прошедших со времени появления первой из статей, представленных в сборнике, славянская акцентология сделала значительные успехи, автор переработал некоторые части, учитывая жанр и общую направленность книги. В целом можно видеть, как за эти годы развивался творческий метод автора, множилось число известных ему фактов, оттачивались определения и формулировки, прояснилось его отношение к существующим точкам зрения на предмет. Последовательность глав учитывает и теоретическую проблематику («Оппозиция и иерархия в морфонологических чередованиях»), и историю вопроса («Пражская школа морфонологии»), и исходную систему («Общеславянская просодическая модель и ее развитие в словенском», «Славянская морфонология в ее типологическом и диахроническом отношениях»), и разработку конкретных проблем славянской акцентной морфонологии: в нескольких содержательных очерках рассматривается развитие морфонологически существующих акцентных альтернатив в области глагола, остальные — в области именного словоизменения, каждый раз с ориентацией на определенный славянский язык, материалы которого соотносятся с данными других славянских языков. Больше всего внимания автор уделяет словенскому языку (половина очерков так или иначе касается его материалов), затем сербохорватскому, несколько меньше — русскому, а также болгарскому. Превосходные очерки автора, посвященные морфонологии польского языка, в книгу не вошли, поскольку в ней сосредоточены только те материалы и выводы, которые связаны с акцентными чередованиями в морфонологической системе живых языков, количественные чередования из об-

суждения устраняются (в том числе и по известным словенским говорам).

В книге много конкретных наблюдений и замечаний, приведены важные и интересные факты, тщательно собранные автором по разным источникам. Все они окажутся полезными для специалистов. На частных, казалось бы, случаях автор находит возможность показать принципиальные линии морфонологических изменений в данном языке. Так, говоря о морфонологической нейтрализации приставочных и бесприставочных форм типа *мрет*—*умрет* (изменяются в *мрет* и *умрет*), автор справедливо видит в этом отражение грамматикализации видového противопоставления; равным образом указывается, что длительное сохранение акцентовки на префиксе у глаголов настоящего времени возможно лишь в тех системах, которые развивают аналогичное ударение в формах прошедшего времени (*умрет* как *умер* и даже *умераа*, стр. 96), точно так же, как и сохранение конечного ударения во втором лице *несемé* возможно лишь при сохранении его в первом лице *несемó*. В дальнейшем подобный параллелизм форм, исключающий морфонологическую мотивированность, указывается неоднократно и служит автору своеобразной ариадниной нитью в выявлении функционально важных акцентных чередований.

Много внимания уделяется истории морфонологии и установлению основных ее понятий. В целом автор считает себя продолжателем идей Трубенцкого и Якобсона и говорит об их зависимости от Казанской школы, прежде всего И. А. Бодуэна де Куртене. С точки зрения истории науки — это принципиальный вопрос, поскольку сам Трубенцкий от такого влияния отказывался, хотя оно и неосомненно. Все дело, видимо, в общей потребности времени и во внутренней готовности той или иной школы сформулировать задачу текущего дня. Можно ведь сказать, что и Московская фонологическая школа по существу вышла из «Polabische Studien» Трубенцкого, хотя вряд ли все представители этой школы читали эту классическую работу. Разница между Бодуэном де Куртене и Трубенцким, как верно полагает Станкевич, только в том, что эти ученые работали в разных условиях: один в эпоху развития сравнительно-исторического, другой — структурного метода, один шел к морфеме от фонемы, другой — от морфемы. Совершенно справедливо Э. Станкевич подчеркивает, что благодаря Трубенцкому многие идеи Бодуэна де Куртене легли в основу современной морфонологии: роль «нулевого знака» как точки отсчета в чередованиях, взаимозависимость всех морфонологических средств на узком поле морфемы, их

¹ См., в частности: E. Stankiewicz, Declension and gradation of Russian substantives in contemporary standard Russian, The Hague—Paris, 1968, стр. 173 (рецензии на эту работу см.: В. А. Редькии, ИАН СЛЯ, 1972, 1; М. Шапиро, «Language», 1969, 3, замечания автора книги и Р. Якобсона «Intern. Journal of Slavic Linguistics and Poetics», XIV, 1971).

иерархия в системе и т. д. Кроме того, Бодуэн де Куртене никогда не смешивал морфонологических и словообразовательных явлений, тогда как Трубецкой иногда такую ошибку допускал (см. стр. 24, 29 и др.). Сам термин «морфонема» принадлежит Улашину — ученику Бодуэна де Куртене². Эту справку необходимо привести, потому что автор не очень часто обращается к истории вопроса и при рассмотрении отдельных явлений ограничивается лишь критическими замечаниями в адрес предшественников, не говоря об их вкладе в разработку вопроса. И хотя все такие замечания уместны и верны (ср. и сказанное о вкладе в изучение современных языков со стороны генеративной грамматики), некоторые пропуски кажутся досадными. Здесь, например, ни разу не упомянуто имя основоположника новой славянской акцентологии — И. И. Васильева, хотя в разделах, посвященных изучению акцента в глагольных корнях с редуцированным, причастных формах и т. д., его мысли и суждения могли бы оказаться важными.

Исследовательская доминанта книги заключается в утверждении особой роли морфонологических чередований во флективных языках, их ближайшей связи с динамическими процессами в морфологии. Поскольку морфонема — единица содержательного уровня, акцентологические явления языка также интересуют автора в динамическом аспекте. Не чисто синхроническая, но и совсем не диахроническая проекция наличных грамматических форм привлекает автора, а динамика форм, несущей морфологическую функцию. Уже самой постановкой задачи определяется выход в типологию, и Э. Станкевич постоянно подчеркивает это обстоятельство.

По его справедливому мнению, морфонологические оппозиции материально строятся сразу по нескольким признакам, из чего вытекает важность иерархии этих средств и признаков, да и самих единиц. Судить же об относительной их ценности можно лишь с позиции категории, а не чистой формы. Отсюда и мнение, что научное исследование в области морфонологии может быть только историческим, а не описательным или таксономическим. Поскольку она отталкивается не от фонемы, а от функции, морфонология в широком смысле — это функциональная фонология (тогда как фонология, согласно Мартине, — это функциональная фонетика). Именно в функции эл мента проявляется

своеобразие отдельной системы, в том числе и на фоне близкородственных систем, поэтому традиционно сравнительное исследование неизбежно превращается в типологическое: на современном этапе развития науки мы сравниваем не отдельные элементы системы, а системы в целом. Говоря об иерархии морфонологических средств, автор прежде всего указывает на такие фонемы, которые могут выступать лишь в морфонологической функции (фонема /q/ в польском, гласные в семитских языках; ср. также /ɛ/ в венгерском, редуцированные сразу же после падения в славянских языках и т. д.), тогда как другие фонемы обслуживают либо ограниченный ряд морфонологических единиц или категорий, либо вступают в чередования при наличии каких-то других морфонологических средств, например, акцентов. Возникает тесная и сложная зависимость между всеми этими факторами, известная и из описательных грамматик. А. А. Шахматов показал зависимость между устранением подвижности и выравниванием основ в случаях типа *рука́, руки́, рѹцѣ, рѹку...* в тип *рука́, руки́, руке́, рѹку...*; С. П. Обнорский описал зависимость между вариантами падежных окончаний и колебанием акцента в родительном и предложном падежах типа *в лесѹ — о лѣсе* и т. д.

Э. Станкевич идет дальше и утверждает, что по внешне проявляющимся и устойчивым морфонологическим альтернативам можно судить о реальности изменения также и в содержательной стороне грамматической категории, например, рода или числа у имен: через форму с определенной функцией — к познанию семантики категории. Так, говоря о разных типах размещения ударения в формах имен, например, падежного ударения кратких прилагательных типа *сытъ* при накоренном ударении всех прочих форм (*сытъ, сыто, сытъи*), он полагает, что подобное «смещение» (?) акцента служит для противопоставления женского рода не-женскому. То же в случаях противопоставления: *рука́, руки́* и т. д., но *ру́ки, рѹ́к* и т. д., где «смещение акцента» указывает на оппозицию множественного — не-множественного числа. Расширяя материал сравнения другими славянскими языками, автор говорит, что аналогичное положение характерно для всех славянских систем со свободным ударением, так что его можно возвести к праславянскому состоянию. Тем самым, возводя к неопределенной давности общие по функциональным результатам распределения иктуса, Э. Станкевич отказывается объяснить фонологические условия его происхождения (причины оттяжек и «смещений») и историю его морфонологической фиксации (возникновение морфонологической оппозиции). Они совместно важны как данность, релевантная во все времена. Отклонение от синхронии и перевод диа-

² Уважение Э. Станкевича к памяти И. А. Бодуэна де Куртене и к его трудам свидетельствуется переводом многих статей ученого на английский язык, а также монографией: E. D. Stankiewicz, Baudouin de Courtenay and foundations of structural linguistics, Lisse, 1976, стр. 62.

хрония в динамику приводит по существу к панхронии. Автора интересует не процесс, а результат. Это также принципиальная позиция, именно потому Э. Станкевич отказывается проследживать зависимость праславянской системы от балтославянской (и тем более — от «мифической» праиндоевропейской системы). По его мнению, все инновации праславянского языка легко описать на основе «фонетических законов» (стр. 72), которые своим действием всегда связаны с грамматическими (также и словообразовательными) изменениями системы. И только типологический подход, по его мнению, позволяет надежно объединить сравниваемые формы с изоморфизмом их ф у и к ц и й. То же касается и акцентологии. Хотя исходную систему Э. Станкевич устанавливает на основе сравнения, не используя (принципиально!) исторических данных, он не прочь указать, что исходной точкой описания исторически является та условная система, которая образовалась сразу же после возникновения новоаккутовой интонации, но непосредственно перед падением редуцированных. Нужно признать, что в отношении к просодическим признакам это верная граница, поскольку она охватывает историй все без исключения современные славянские языки; более ранние изменения для анализа морфонологических акцентных признаков несущественны.

В целом же метод исследования — все-таки сравнительный. Чтобы определить морфонологические функции акцента в русском глаголе, автор сопоставляет ныне действующие акцентные системы литературного языка и русских диалектов и на основе расхождений между ними (а такие расхождения существуют, несмотря на о б щ е п р о с х о ж д е н и е этих систем) определяет общерусские акцентные инновации в их противопоставлении к диалектным, главным образом тем, которые до сих пор различают северные и южные говоры. В результате сам факт колебаний и несовпадений в акценте становится средством установления морфонологических функций акцента; в общей их совокупности они указывают на стабилизацию ударения на корне — такова общерусская тенденция. Поскольку у имен грамматически маркировано окончание, а у глаголов — основа (лексически же — наоборот), все морфонологические альтернативы у имени и у глагола как бы зеркально опрокинуты, и притом лексическая маркировка именного корня совпадает с наибольшей адекватностью имени понятию, а грамматическая маркировка глагольной основы совпадает с развитием новых грамматических категорий именно в глаголе. Что же касается диалектных тенденций, среди них нет ни одной, которая так или иначе не встречалась бы в какой-то другом славянском языке (см. их перечисление на стр. 201—

202), следовательно, и они определяются общеславянскими потребностями грамматической системы. Автор справедливо полагает, что мало описать частные особенности ударения отдельных языков или говоров, мало изучать их историческое движение — в обоих случаях мы неадекватно для себя минуем средостение, связывающее акцентологию с морфологией. В широком сравнении всех живых и действующих морфонологических систем можно определить те дифференциальные признаки, которые равным образом в е д у т развивающуюся морфонологическую систему и способствуют ее функционированию (стр. 186). Действительно, описание отдельных акцентных явлений в любом славянском языке всегда приводило к неутешительным выводам о неясности морфонологического принципа варьирования и к необходимости дополнительных исследований (ср. и стр. 193), но во всей совокупности славянских данных на фоне грамматических изменений легко проследить их развитие, функцию и смысл. Правда, и тут возникает своя опасность. Если, привлекая все известные диалектные данные (а Э. Станкевичу многие материалы русских диалектов неизвестны), мы можем зарегистрировать практически все теоретически ожидаемые варианты акцента (ср. на стр. 194 — *на́рвала, нарва́ла, на́рвала*), то в некоторых ситуациях в таком массиве трудно будет распознать морфонологическое оправдание каждому из таких вариантов.

В другом случае, обсуждая проблему словенской именной акцентуации, Э. Станкевич использует обе формы литературного языка, архаический и новый, и в результате их сравнения выявляет линию становления морфонологических чередований — не шаг за шагом каждую частность в отдельности, а две системы целиком и одновременно (стр. 221). Это также своеобразное исследование двух синхронных срезов, совпадающих, однако, в их реальности и актуальности в одну и ту же историческую эпоху. Тем самым нагляднее выявляется взаимодействие фонологического и морфологического развития, которое приводит к модификации заимствованной из общеславянского системы. Здесь в качестве общей тенденции выявляется стремление к когнатиальному ударению во множественном числе и к обобщению «циркумфлекса» в формах среднего рода. Совершенно справедливо и вывод о том, что грамматическую аналогию следует искать не в частных воздействиях формы на другую форму, а в категориальных изменениях системы, допускающих выравнивание на любом уровне.

Поскольку книга состоит из переработанных статей, то и в содержательном отношении она построена как морфонологический комментарий не системы (или отдельных систем), а некоторых грамма-

гических категорий, граммем или частей речи, имеющих выразительные оппозиции, формально осуществляемые интересующими автора акцентными альтернативами. Было бы интересно проверить предлагаемую методику и на других грамматических явлениях. По тем заключениям, которые имеются в книге, можно думать, что морфологические альтернативы как функционально оправданное средство языка формируются в момент организации новой грамматической оппозиции на основе только что отработанных фонематических элементов, а затем начинается доводка нового различительного средства до уровня последовательной функциональной закономерности. Это касается материалов, которые приведены в книге в обосновании корреляции по числу, по виду, по категории одушевленности, захватывают историю вокатива у имен или инфигитива у глаголов и т. д. Все это новые грамматические явления в славянских языках, они только что создаются или создались совсем недавно, так что стремление автора к сравнительно-типологическому исследованию в противовес генетическому вполне оправдано. Вместе с тем, ориентация на все подобные новые по сложению категории вряд ли даст материал для реконструкции «пра-славянского состояния», к чему стремится автор в некоторых главах книги. Для исполнения этого следовало бы внимательнее отнестись и к тем оппозициям, которые теперь уже утрачены славянскими языками, как и утрачено и акцентное наполнение их в прошлом (особенно многое на этот счет дало бы изучение акцентных альтернатив в именном формообразовании), да и типы оппозиций в истории языка постоянно видоизменялись. Для всех этапов развития языка, начиная с праславянского, Э. Станкевич единственно верным принципом членения признает дихотомический и во всех случаях говорит лишь о привативной оппозиции. Между тем в средневековых славянских языках более характерна как раз другая, тернарная, в принятых теперь терминах — градуальная оппозиция (три рода, три числа, три типа и т. д.).

Как бы ни избегал автор исторического комментирования, само расположение типологических данных неизбежно к нему приводит. Так, давая различные типы подвижности *а*-основ в современных сербских говорах, он фактически говорит о разных этапах устрояния подвижности в формах единственного числа (примеры в записи автора):

1. *noŕ'a, n'oxe, n'ogu, pl. n'ogi*
2. *gor'a, gor'e, g'oru, pl. g'ory*
3. *koz'a, koz'e, koz'u, pl. k'ozu*
(стр. 110 и сл.).

Именно потому они и могут сосуществовать в одном и том же говоре. Прибегая

к общему принципу объяснения, Э. Станкевич делает попытку установить корреляцию этих акцентных парадигм с какими-то грамматическими или лексическими оппозициями («маленькие животные», «только у односложных» и т. д.), но все они в данном случае сомнительны. Наличие случаев, переходных от праславянской парадигмы к новой подвижности, мешает стабилизации определенной морфологической функции. Здесь типологическое сравнение на уровне категории не срабатывает, хотя автор точно определяет историческую перспективу изменения: устранение старой подвижности начинается с формы дательного падежа благодаря отношению к другим типам склонения (дат. *nbaz* и местн. *nozb* при аналогичном соотношении у имен мужского рода: *nbcsu*, но *nosu*), но главным образом потому, что оппозиция им. : вин. (т. е. субъект — объект) в единственном числе несовместима с оппозицией дат. : местн. (падежи места и направления), потому что она подчиняется первой в иерархии оппозиций. Хотя в такой трактовке категориальное отличие первой оппозиции всем прочим падежным формам кажется верным, поскольку, действительно, все изменения и выравнивания акцента в славянских языках связаны с развитием номинативного строя, выводящего на первый план им. и вин. падежи, тем не менее с исторической точки зрения все гораздо сложнее, чем это может показать поверхностное типологическое сопоставление. Тут несомненно имеет место и столкновение акцентовок дательного падежа не только в противопоставлении к местному, но и к изъявительному, который формально с ним совпадает, но до XVI в. различается в акцентах; задержка накопленного ударения подвижных парадигм в дат. и вин. может определяться и консервирующим воздействием некоторых синтагматических условий (разные сочетания); свое значение имеет различная частотность всех этих форм, что обусловило и разную их функциональную ценность; наконец, и развитие категории одушевленности, столь внимательно изученной самим автором, способствовало разнонаправленному выравниванию акцента во всех указанных формах (ср. завершающий этап такого развития в некоторых русских говорах: *косить траву*, но *видеть сестру* с прямо противоположным изменением ударения по отношению к исходному — *косить траву*, *видеть сестру*). На этом примере можно видеть достоинства и неизбежные издержки типологического метода, который не интересуется промежуточными стадиями изменения.

Этот метод лучше всего подходит для современных литературных языков с завершенными тенденциями общеславянского изменения. Это вытекает и из поставленной задачи: морфологический кри-

терий, всегда однозначно связывающий формальный и содержательный уровни системы, конечно же, важен при синхроническом описании конкретной системы. Традиционные акцентологические описания и гипотезы не утрачивают свою силу для этих языков; более того, именно в изучении более ранних этапов развития языка они остаются единственно эффективными.

Морфологический подход к акценту в сравнительном плане диктует и некоторые условности записи, поскольку материалом являются типологически адекватные формы разных славянских языков. Ср. запись сербской формы *село* как *сел'о*. С другой стороны, вводится понятие морфологического нуля в любой морфеме, не только в окончании, но и в основе. Признается, например, что акценты слов *горá* и *норá* внешне совпадают, но морфологически они различны. В общей системе противопоставлений *горá* входит в класс имен типа *сторонá* (с возможной оттяжкой на предлог в сильной форме *гору*, *на гору* и формой множественного *горы* как *стороны*), а *норá* — в класс имен типа *сиротá* (без оттяжек на предлог *нору* или *норь*, а также *сироты*, но не *сироты*). Таким образом, морфологическим подобием определяется, что ударение в форме *горы* падает на первый слог основы, ударение в форме *норы* — на последний слог основы (стр. 160). Место ударения остается неизменным, но место его в акцентной системе и его грамматическая функция изменяются. Таким образом, и в форме родит. падежа мн. числа *нобá* имеем сразу два фонологических нуля — в основе и во флексии: *н[о]б[о]г[а]*. Введение нулей позволяет включить любую морфему в общую систему морфологических оппозиций, но вместе с тем порождает необходимость иерархических подчинений различных морфологических единиц: одно дело — перемещение ударения с основы на флексию или наоборот (важно в системе оппозиций и является основным содержанием исследования), другое — между разными слогами одной и той же морфемы (несущественно, хотя также принимается во внимание). Двусмысленность некоторых акцентов морфологически четко определяется в результате такого разбиения (ср. формы *корбá* и *голубá*, которые имеют разное морфологическое ударение — и для этого не нужно прибегать к сложным реконструкциям новоакута на месте циркумфлекса и другого новоакута на месте акута, как это делал, например, Н. Ван-Вейк). Морфологический подход к акценту позволяет избежать и других упрощений традиционных описаний, в частности, выявляет известные факты выравнивания по аналогии (стр. 56 и др.), наглядно показывает, что разрушение фонологической определенности приводит к обобщению новых акцентов в пользу только что

возникающих грамматических различий: при взаимном отталкивании местоимений и прилагательных подвижные типа *твоого* и *сугабо* дают оппозицию *твоого* и *сугабо* (в некоторых средневековых памятниках наоборот: *твоого* и *сугабо*), при отталкивании существительных и возникающих на их основе числительных *пятьб* и *костьб* дают *кбстьб* и *пятьб*, при отталкивании одушевленных и неодушевленных имена *волосья* и *мужсья* дают *волбсья* и *мужсья* и т. д. (стр. 165 и др.). Много вероятных замечаний относительно возникновения новоакутовой интонации в формах типа *ловлю* — *лбвит*, *голуб* — *голубь* (стр. 55). Автор не удовлетворяется формулировкой закона Станга о перенесении иктуса со срединного нисходяще-длинного слога на предшествующий и полагает, что и в данных формах новоакут возникает в результате «поляризации акцентных тем» как факт взаимодействия фонологических и морфологических факторов. Например, тип с окончанием ударением *гоститъ* дал акцентовку *гоститъ* чисто фонетически, поэтому морфологически противопоставленный ему тип *тритъ* произвел морфологическую поляризацию в *тритъ* (стр. 76—77). Вряд ли это единственное условие оттяжки, иначе мы не наблюдали бы соответствующих колебаний на уровне отдельных глагольных тем в течение нескольких столетий: морфологическая поляризация безусловно должна была быть однократной и одновременной.

Остановившаяся на морфологических чередованиях, Э. Станкевич тем не менее предпочитает говорить не об акцентных парадигмах, а об отдельных формах или фрагментах парадигм, часто исследует и изолированные грамматические формы, вовсе не имеющие парадигмы. Так, развитие окончательного ударения в повелительных формах (*ходи!* *неси!* *пий!*) в качестве своего морфологического контраста имеет противоположную тенденцию к стабилизации ударения на основе в звательных формах, синтагматически связанных с императивом (для всех трех исходных парадигм: *мамо!* *сестро!* *глаго!*). Все подобные вопросы автор решает с полным знанием дела, поскольку ему принадлежит много работ по апеллативным и экспрессивным формам в славянских языках. Однако в данном случае Э. Станкевич явным образом выходит за границы современных славянских языков, а говорит о достаточно древней общей тенденции. В современных славянских языках, сохраняющих вокатив, напротив, происходит обобщение окончательного ударения по аналогии с прочими формами парадигмы — синтагматический принцип «системности» сменяется все большей парадигматической связанностью прежде изолированных форм склонения. И тут также была бы необходима некоторая историческая перспектива, объясняющая

причину переинтеграции наличных морфологических средств.

Пониманию книги иногда препятствует иное толкование терминов, известных современной славянской акцентологии. Окситоневой здесь называется любое окончательное ударение изолированной формы, а не принятое теперь понимание парадигматического ряда форм с исконным ударением на теме (тогда не *плетётё*, а именно *плетёте* является окситонированной формой по происхождению); в других случаях морфологическая характеристика дается в фонетических терминах: например, подвижная парадигма постоянно называется циркумфлексовой, а неподвижная с ударением на корне — акутовой, хотя при всем том третья славянская парадигма дается с установившимся названием окситонированная. Встречают-

ся формы не совсем ясные; так, в числе русских «полногласных» форм приведены *kaibju*, *raibju*, *roibju* (?) (стр. 192); утверждается, что в русском языке не встречаются акцентовки типа *пéредал*, *воссбóдал*, *рбóдал* (стр. 193) и т. д. Подобных недоразумений, впрочем, не так много в книге.

В целом можно сказать, что новый труд видного американского слависта, подводящий известный итог его многолетним изысканиям в области акцентной славянской морфологии, оказывается важным и ценным вкладом в развитие самых разных областей славистики и свидетельствует о творческих возможностях автора в юбилейный для него год — шестидесятилетия.

Колесов В. В.

К. Г. Менгес. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». Перев. с англ. А. А. Алексеева. Отв. ред. А. Н. Кононов. — Л., ЛО изд-ва «Наука», 1979. 267 стр.

Рецензируемая книга, как справедливо отметил акад. А. Н. Кононов, представляет собой наиболее полный труд по анализируемому материалу, учитывающий почти весь предшествующий опыт исследования лексики восточных языков в «Слове о полку Игореве» («От редактора», стр. 10). Она содержит обширные сведения о работах зарубежных ученых, посвященных взаимоотношениям славянских и тюркских (восточных) языков, и свидетельствует о пристальном внимании ученых Запада к различным аспектам отношений славянских народов, в частности, русского народа, с тюркоязычными народами, которые в течение тысячелетий являлись восточными соседями славян.

Вступительная статья А. Н. Кононова (стр. 3—12) кратко излагает историю многовекового взаимодействия восточных славян и тюрков, что оставило «заметный след во многих проявлениях жизни и деятельности» (стр. 3) русских, украинцев, белорусов; историю изучения тюркизмов и восточных элементов в русском языке. Дана также биографическая и научная характеристика К. Менгеса.

Далее следуют предисловие Р. О. Якобсона к первому (английскому) изданию книги К. Менгеса и предисловие автора к русскому изданию.

Книга содержит две главы. Первая глава — «Очерк ранней истории славян» (стр. 20—58), по заявлению автора, «не является исчерпывающей научной разработкой, основанной на новейших исследованиях предмета, это краткое введение, предназначенное в помощь студентам, слушающим мои вводные курсы по славянской филологии» (стр. 20). В ней высказан ряд интересных мыслей, которые

трудно и доказать, и опровергнуть. На наш взгляд, эта глава представляет для советского читателя мало интереса, поскольку в СССР по данному вопросу существует огромная литература, использующая новейшие данные истории, археологии и других смежных наук. Представляется не совсем уместным противопоставление народов по уровню культуры (см. стр. 21 об овладении славянами искусством читать).

Здесь также подвергаются этимологическому анализу некоторые слова. Так, *Аттила* возводится к готск. *atta* «отец», т. е. рассматривается как уменьшительная форма со значением «бабушка». Мало вероятно, чтобы слово *бабушка* могло использоваться как личное имя. Скорее, в *Аттила* надо видеть тюркизм: *атамы* «родовитый» от *ата* «отец, предок» или *атты* + *мы* букв. «имеющий лошадей» — ср. казах. *атмын* «всадник» от основы *ат* «лошадь».

Главную часть работы составляет глава вторая, имеющая общее название с книгой (стр. 59—208). В ней два раздела. Обширный раздел «Заимствования из алтайских языков» посвящен этимологическому истолкованию 43 ориентализмов (стр. 59—191). «Восточным словам неалтайского происхождения» отведено аналогично меньше места (стр. 191—208). Как справедливо отмечает автор, «такое соотношение находится в полном согласии с действительным распределением у славян заимствованных с Востока слов, и не только у восточных славян, но также у южных и даже западных. Это и понятно, так как в течение всего исторического времени, как и значительного отрезка доисторического периода, славянские языки и народы были непосредственными западными соседями

алтайских языков и народов, что приводило к длительным и интенсивным взаимоотношениям в форме торговли, иногда доходившим даже до известных форм симбиоза» (стр. 59).

Принадлежность многих из рассматриваемых слов к тюркизмам была доказана русскими и советскими тюркологами П. М. Мелиоранским, Ф. Е. Коршем, Н. К. Дмитриевым, С. Е. Маловым, Н. А. Баскаковым, А. Н. Кононовым и др. Выявленные в «Слове» тюркизмы в свое время послужили весьма важным аргументом для доказательства подлинности этого памятника.

Возрастающий интерес к тюрко-славянским историческим взаимоотношениям представляет собой одно из характерных явлений современной тюркологии как результат развития исторической, филологической и других гуманитарных наук в Советском Союзе, что получило отражение и в приложении — «Библиографии, основной отечественной литературы по изучению ориентализмов в восточно-славянских языках», составленной И. Г. Добродомовым и Г. Я. Романовой (стр. 211—238).

Индекс слов, приводимый в конце книги (стр. 248—265), составленный С. Л. Чариковым, облегчает читателю поиск необходимых слов и словосформ.

Основой для исследования К. Менгеса послужила реконструкция «Слова о полку Игореве», предложенная Р. О. Якобсоном, и построенный на ее основе Словарь Т. Чижевской¹ (последняя — 1964 г. реконструкция Р. О. Якобсона помещена в конце этого словаря). Упомянутая реконструкция «не имеет достаточно широкого хождения в нашей стране и не является всеобщей и безусловно принятой в среде филологов» (стр. 11), как заметил редактор.

Отметим, что книга К. Менгеса написана в полемическом тоне, что соответственно и настраивает читателя. К. Г. Менгес начинает с заявления о том, что его работа, опубликованная в 1951 г. на английском языке², «практически неизвестна в Восточной Европе и в СССР» (стр. 16), через страницу он снова повторяет: «мой труд почти не был известен в СССР и в социалистических странах» (стр. 18—19). Такое заявление серьезного ученого выглядит весьма странным и не соответствует действительности.

Работа К. Менгеса своевременно стала достоянием специалистов в Советском Союзе — тех, кто интересуется вопросами взаимовлияния тюркских и славянских языков. Мало того, она цитируется и ак-

тивно используется в ряде работ известных советских авторов. Например, А. С. Львов не принимает этимологию слова *сапог*³, данную К. Менгесом, считая, что слово это было известно славянским языкам в форме **zarpog* в то время, когда славяне едва ли имели соприкосновение с тюркскими племенами, тем более с тугусо-маньчжурскими. Кстати сказать, сам К. Менгес на стр. 131 ссылается на эту статью с обидой: «А. С. Львов пытается отклонить этимологию М. Фасмера, причем мою этимологию, изложенную ранее, он просто не принимает в расчет, что не позволительно в серьезной работе». Книга К. Менгеса широко цитируется и в статьях Н. А. Баскакова⁴, в работе О. В. Творогова⁵ наряду с трудами П. М. Мелиоранского, Ф. Е. Корша, Н. К. Дмитриева и др. Широко используется работа К. Менгеса В. Л. Виноградовой в капитальном Словаре-справочнике «Слова о полку Игореве»⁶, которого он и не заметил.

Этимологические разыскания автора представляют бесспорный интерес. Отметим, что К. Менгес критически анализирует многие существующие этимологии, ср., например, споры с П. М. Мелиоранским, С. Е. Маловым, А. И. Поповым, А. С. Львовым, Н. А. Баскаковым и др., а в ряде случаев он приводит новые доказательства в пользу своих дополнений и уточнений. При анализе слова — восточного элемента выделяются разные типы этимологий: достоверные, сомнительные, такие, которые требуют более разностороннего рассмотрения, гипотетические и т. д. Показано, сколько разных толкований может существовать в отношении казалось бы простых слов (см., например, *Каляя*, стр. 100—102).

Книга названа «Восточные элементы...». Однако речь идет в основном о тюркоязычном ареале, с охватом монгольских, тугусо-маньчжурских языков, реже — языков других регионов. Раздельно рас-

³ А. С. Л ъ в о в, Две русские этимологии (*багрец, сапог*), в кн.: «Этимологические исследования по русскому языку», 4, М., 1963, стр. 77.

⁴ Н. А. Б а с к а к о в, К этимологии половецких собственных имен в «Слове о полку Игореве» (*Шарокань, Кончак, Гзак, Кобак, Овлур*), в кн.: «Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сб. статей к 70-летию акад. В. И. Борковского», М., 1971; его же, Тюркизмы — социальная терминология в «Слове о полку Игореве», в кн.: «Turcologica К 70-летию акад. А. Н. Кононова», Л., 1976.

⁵ О. В. Т в о р о г о в. Тюркизмы в древнерусском языке, в кн.: «Филология и история тюркских народов. Тез. докл.», Л., 1967, стр. 37.

⁶ Первый выпуск — М., 1965, пятый выпуск — М., 1978.

¹ Т. Č i ž e v s k a, Glossary of the Igor' tale, The Hague, 1966.

² К. Н. М е н г е с, The Oriental elements in the vocabulary of the oldest Russian Epos the Igor' tale «Slovo o Pylku Igorev», «Words», suppl., 1951.

смотрены «алтайские» и «еалтайские» восточные элементы, причем в «алтайском» разделе речь идет в основном о тюркизмах. Попытки автора сблизить их с соответствующими монгольскими, а также с тунгусо-маньчжурскими формами, широкое употребление терминов «алтайский», «еалтайский» может быть истолковано как признание К. Менгесом «алтайской гипотезы», считающей родственными тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки. Однако следует подчеркнуть, что «алтайская гипотеза» еще требует фундаментальных доказательств.

Анализ характера исторических контактов тюркских языков с языками мира с древнейших времен показывает, что тюркские языки имели наиболее длительное и интенсивное взаимодействие с окружающими языками в районе Алтая-Саяны и на обширных прилегающих к нему территориях, что отразилось в структуре как тюркских, так и контактируемых с ними языков. Именно это обстоятельство объективно способствовало возникновению алтайской гипотезы, так же как структурное сходство, появившееся в результате тесных контактов тюркских языков с финноугорскими языковыми миром, привело к возникновению урало-алтайской гипотезы, а контакты относимых к этой группе языков с другими языками мира послужили толчком к появлению ностратической теории.

Содержание работы гораздо шире ее названия. В ней рассматриваются многие вопросы исторической фонетики тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских, а также славянских и других языков, вопросы исторической морфологии тюркских языков, хронологии фонетических явлений, структура пратюркского корня и др. При этом используются многие параллели не только «алтайских» языков, но и их соседей (см., например, стр. 171—172 — китайские параллели) и др. Все это свидетельствует об огромных знаниях и большой эрудиции автора.

Подлинно научное изучение тюркизмов в «Слове о полку Игореве» было начато выдающимися русскими учеными П. М. Мелиоранским и Ф. Е. Коршем, работы которых в этой области, за некоторыми исключениями, не утратили своего значения и поныне.

Основная часть тюркизмов в «Слове...» как в фонетическом, так и в семантическом планах сближается с данными кыпчакских языков тюркской семьи (см., например, соответствие *ш-ш* и т. д.). Русский язык эпохи «Слова...» контактировал прежде всего с кыпчакскими (северо-западными) тюркскими языками так называемых *исловених* (куманских, кыпчакских) племен, что подчеркивалось П. М. Мелиоранским. К. Менгес склонен думать несколько иначе. Основываясь на не совсем надежных хронологических границах так называемых фонетических из-

менений, он подвергает критике приводимые П. М. Мелиоранским казахские материалы. Последние представляют определенную норму тюркско-кыпчакского произношения, сохранившуюся до нашего времени благодаря тому, что казахский язык в отличие от других оказался в окружении тюркских языков и длительное время контактировал главным образом с родственными языками, окруженный ими со всех сторон. Именно поэтому казахский язык преимущественно развивался за счет внутренних ресурсов и его фонетический облик сохранился почти в первоизданном виде, тогда как окрившие языки подверглись сильному влиянию соседних неродственных языков, что отразилось в фонетике и лексике прежде всего.

Кроме того, следует учитывать то обстоятельство, что произносительные нормы разговорного языка в период, когда письменная литература не была достоянием народа, отличаются от современных произносительных норм, которые все больше сближаются с литературными нормами правописания (например, казах. разг. *таша* все чаще произносится как *таба* «сковорода», *күшыл* — *күбыл* «переливаться, изменять цвет, колыхаться» и т. д.).

При исследовании исторических контактов языков нельзя не учитывать и того, что в передаче топонимов, антропонимов других языков нет строгих фонетических правил. Например, на территории современного Казахстана можно встретить такие топонимы: *Яны-күрган*, *Чили*, *Чулак-күрган* и т. д. На основе фонетического облика подобных топонимов можно было бы заключать, что там ждали и живут татары, узбеки, но никак не казахи, поскольку в казахском произношении они соответственно звучат: *Жаңагортан*, *Шилі*, *Шолақгортан*. Возникновение этих топонимов относится ко времени присоединения Казахстана к России, когда толмачами царских чиновников служили татары, которые так произносили эти названия, что и закрепилось за ними до наших дней. Кроме того, не всегда одно и то же слово в языке одного и того же народа имело одинаковое произношение, например, библейское имя Иосиф в казахском языке и сейчас имеет фонетические варианты: *Жусин*, *Нусин*, *Тусин*.

Анализ тюркизмов в книге производится на базе старых тюркских словарей, в основном — словаря В. В. Радлова и турецких словарей. В современных условиях, когда изданы многочисленные словари тюркских языков Советского Союза: толковые, двуязычные, топонимические, диалектологические, терминологические и т. д., когда впервые проводится фронтальное изучение этих языков, недостаточно обращение лишь к словарям прошлых лет. При изучении тюркизмов необходимо учитывать также исследования тюркологов — носителей тюркских языков, которые благодаря проникновению

в тайны родного языка углубляют наши знания о тюркских языках.

В этой связи привязывание бултар лишь к чувашам и принятие тюркизмов в венгерском, а также русском как отражение «бултаро-чувашского» языка — традиция, имевшая определенную цель и идущая от З. Гомбоца и Н. И. Ашмарина, не привлекавших материалов других тюркских языков, не отражает современных достижений тюркологии⁷. По мнению автора, несомненно, некоторые остатки языка гуннов сохранялись в протоволяскобулгарском языке и в его позднейшем историческом наследнике — чувашском (стр. 59). Во-первых, почему тюркский язык гуннов должен сохраниться только в протоволяскобулгарском? Во-вторых, почему именно только чувашский должен считаться его позднейшим наследником? Категорические выводы автора противоречат его же словам на следующей странице: «... мы еще не в состоянии выделить с определенностью исконные гуннские элементы» или: «Мы даже не знаем языка печенегов — орды, могущественной в XI в.... В общем таковы же наши познания о языке булгар до их обращения в христианство и последующей славянизации» (стр. 63) — что ближе к истине. Вывод К. Мевгеса о том, что «... язык печенегов, так же как их предшественников берендеев и торков, относится к собственно северо-западной подгруппе» (стр. 65), заслуживает внимания, поскольку упомянутые народы и племена жили на той территории, где и сейчас живут их потомки — носители северо-западных (кыпчакских) языков. Однако следующее заявление автора трудно поддержать, поскольку оно отражает лишь традиции, а не основано на научных данных: «... язык воляжских булгар должен быть, конечно, причислен к древнейшему тюркскому или алтайскому пласту, сохранившемуся до некоторой степени в языке, известном теперь под названием чувашского», хотя, с другой стороны, как декларирует автор, это не значит, что он считает чувашский тюркским по происхождению языком (там же).

В ряде мест наблюдается преувеличение роли монгольского языка для тюркских, а также славянских языков. Ду-

мается, что в этом вопросе прав Г. Дёрфер, а не К. Мевгес. Здесь автором не принимается в расчет, что монгольские племена до XI в. занимали весьма ограниченную территорию далеко на востоке.

К. Мевгес полагает, что ему без особого труда удалось доказать «монгольскую природу» (разумеется, соответственного протомонгольского периода) языка аваров или по крайней мере большей части из них, тех, которые, несомненно, были политически определяющей группой аварской племенной конфедерации; таким образом контакты древних славян с аваро-монголами (? — М. К.) в VI в. н. э. объясняют наличие прамонгольских заимствований в праславянском (стр. 18). Из анализа слов *телба*, *хорватъ* и *Сурожъ* автор делает вывод, что «прямые славяно-монгольские контакты имели место значительно раньше монгольского нашествия, и это могло быть только непосредственно после или в течение аварских завоеваний в середине VI в.... Протомонгольские заимствования в славянском доказывают в свою очередь монгольскую природу аваров⁸ или по крайней мере некоторых ведущих групп аварских племен, их близкородственные или родственные связи с жуань-жуями и родство с племенными конфедерациями пивай и синьби, протомонгольская природа которых может быть выведена, как показывали П. Пельо и И. Маркварт, из свидетельств китайских источников» (стр. 60). Однако анализ упомянутых трех слов показывает, что они по своим характеристикам не выделяются среди других, относимых к тюркизмам, таким образом их протомонгольская природа повисает в воздухе.

По устаревшей традиции К. Мевгес также продолжает преувеличивать роль персидского языка для тюркских. Как показывал Г. Дёрфер, многие так называемые фарсизмы в тюркских языках оказались тюркизмами в персидском⁹. Вопрос о том, кто жил на Туранской низменности и прилегающих к ней территориях, простиравшихся от Урала до Индии и Чер-

⁷ См. подробнее: К. М. Мусаев, Лексика тюркских языков в сравнительном освещении, М., 1975, стр. 341; его же, Основные проблемы изучения лексики тюркских языков, «Советская тюркология», 1978, 3; М. З. Зайкиев, Татар халкы телеве, барлыкка килүе, Казань, 1977, стр. 116—150; его же, Об истоках языка основных компонентов казанских татар, сб. «Вопросы татарского языкознания», Казань, 1978; Г. Ф. Сатаров, Татарская антропонимия и этнолингвистические связи, «Советская тюркология», 1978, 3, стр. 22—32, и др.

⁸ В работах советских ученых авары рассматриваются как большой племенной союз, где главную роль играли тюркоязычные племена, см. об этом подробнее: М. И. Артамонов, История хазар, Л., 1962; А. Н. Бернштам, Очерк истории гуннов, Л., 1951; «Очерки истории СССР. III—IX вв.», М., 1958; «История СССР», I, М., 1966; Н. В. Пигулевская, Сирийские источники по истории народов СССР, М.—Л., 1941; В. Л. Гукасян, Тюркизмы в албанских источниках, «Советская тюркология», 1977, 2, и др.; см. также: Ю. Немец, К вопросу об аварях, «Turcologica».

⁹ См.: G. Doerfer, Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, 1—4, Wiesbaden, 1963—1975.

ного моря до прихода индоевропейцев, до сих пор не получил объективного ответа. В трудах ряда западных ученых продолжает наблюдаться преувеличение роли пришельцев и принижение роли аборигенов на этой территории до нашествия индоевропейцев, до завоевания арабов, монголов. Высказывание С. К. Чаттерджи в отношении Индии в некотором смысле применимо и для данной территории: «Когда арии пришли в Индию, эта страна была уже обитаемой — здесь жили народы, достигшие довольно высокого уровня цивилизации. Однако теория арийского вторжения в Индию в доисторическую эпоху была сразу же легко воспринята образованными слоями индийского общества. Ведь образованные слои здесь составляли высшие индуистские касты, и теория арийского вторжения льстила их самолюбию: теперь они могли считать себя истинными потомками светлокожих цивилизованных арийских завоевателей из Центральной Азии, озаривших светом культуры погруженную во мрак страну темнокожих варваров неарийского происхождения, они почувствовали себя дальними родственниками европейских народов — носителей „арийских“, т. е. индоевропейских языков. Англичане же в Индии, историки и неисторики, с одобрением встречали эту теорию, проявляя при этом покровительственное отношение к индийцу как к „нашему арийскому брату — кроткому хинду“»¹⁰.

Возможно, автор преувеличивает и роль китайского языка в развитии тюркских языков. Этот вопрос требует дальнейших углубленных исследований.

В книге К. Менгеса не проводится тематическая классификация тюркизмов. Подобная классификация сделана в статье Н. А. Баскакова¹¹. У К. Менгеса слов несколько больше, чем у Н. А. Баскакова, однако охвачены не все тюркизмы.

В книге много общих замечаний, которые требуют пояснений. Например, «... древняя Русь была в близких отношениях по крайней мере с тремя народами южнорусских степей, говорившими на тюркских языках, — черными клобуками, половцами и печенегами» (стр. 67). По-видимому, в данном случае имеются в виду племенные названия, которые обычно распространялись на народ (тюрки в современном значении). «В большинстве тюркских языков *а* имеет тенденцию к превращению в *й* в любой позиции» (стр. 78) —

что, как известно, не соответствует действительности¹², и т. д.

На основе собственных гипотез К. Менгес делает довольно много общих выводов, относящихся как к отдельному тюркскому языку, так и вообще ко всем тюркским языкам, которые, надо полагать, не всегда соответствуют научной истине, а являются реликтами определенного периода развития тюркологии в отдельных странах. Они не подтверждаются новыми фактами, а иногда и опровергаются достижениями в области изучения тюркских языков.

Одним из подобных выводов является: «Поскольку, однако, замещение русским *ш* общетюрк. *ʃ* нерегулярно, а скорее носит спорадический характер, этимоны, содержащие *ш* - > *ʃ*, нужно признать тюркизмами, заимствованными через волжскобулгарское посредство, или волжскобулгарскими (проточувашскими) заимствованиями в русском. Появление *ʃ* на месте общетайск. *ʃ* - /*ʃ* - (видимо, древняя гуинская особенность) наблюдается в чувашском языке во многих случаях, однако не является регулярной передачей алтайского *ʃ* - /*ʃ* - ...» (стр. 79).

Прежде всего, если бы «общетюркское» *ʃ* и существовало, оно, естественно, в русском не могло бы регулярно передаваться как *ш*, поскольку русский язык имел контакты не с общетюркским языком, а с тюркскими языками северо-западного, или кыпчакского, типа (надо полагать, что и так называемый булгарский язык со свойственными ему явлениями ротацизма, который частично характерен и для ряда кыпчакских языков, и ламбдаизма, был также кыпчакского типа). Во-вторых, нельзя считать доказанным существование общетайского *ʃ*, поскольку сама проблема родства «алтайских языков» остается лишь гипотезой и «алтайский праязык» не реконструирован.

Наблюдается ряд противоречий и недоказанных суждений, например: «Как это ясно видно из истории тюркских языков, множественное число представляет собой категорию относительно позднего образования, но определенно общетайского происхождения...» (стр. 85). Возникает вопрос, если это позднее явление, как оно может быть «общетайским» в тюркских языках?

«Половецкая форма, послужившая основой др.-русс. *кошчи*, должна была выглядеть *qoʃ-ʃu*, т. е. быть подобной узб. форме, а не казах. *qoʃ-ʃu* с лабиальной гармонией в суффиксе» (стр. 113). Здесь, как и в ряде других случаев, не проводится различие между письменной формой слова и его произношением.

Название *Сурожь*, возможно, связано с тюркскими топонимами, состоящими из

¹⁰ С. К. Чаттерджи, Введение в индоарийское языкознание, М., 1977, стр. 63.

¹¹ Н. А. Баскаков, Еще о тюркизмах „Слова о полку Игореве“, Исследования и материалы по древнерусской литературе. „Слова о полку Игореве“. Памятники литературы и искусства XI—XVII вв., М., 1978, стр. 59—68.

¹² См.: А. М. Щербак, Сравнительная фонетика тюркских языков, Л., 1970, стр. 40: «Огубленность *а* не является общетюркской особенностью».

слов *сур* «светлосерый; светлорыжий; серый» + *жаа* «поле, степь», ср. алт. *Сур-жаа*, *Сур-жаанын-Бажи*¹³), казах. *Суржаа*, *Саржаа* и т. д.

Можно было бы поспорить с автором по поводу многих этимологий, а также его выводов по отдельным вопросам тюркологии и алтаистики, однако размеры данной рецензии не позволяют этого сделать. Поэтому здесь мы ограничимся одним примером, который в общем-то типичен для многих этимологий автора.

К эпитету меча — *харалужный* автор дает толкование «карольский», т. е. «франковский, франкский» (стр. 156—157). Эта точка зрения не нова. Она была высказана еще В. В. Арендтом¹⁴. Возражения были высказаны В. Ф. Ржигой, А. Арциховским. В отношении этимологии слова *харалужный*, несомненно, прав был В. Ф. Ржига, когда писал, что оружие в разных языках «характеризуется теми определениями, которые указывают не на материал, из которого оно сделано, а скорее на его боевые качества»¹⁵ и что *харалужные* мечи обозначают мечи гибельные, несущие гибель. Однако нельзя согласиться с его арабско-тюркским толкованием этого слова (от арабск. *хараб* «разрушение» + тюрк. аффикс *-лы*), поскольку оно фонетически трудно объяснимо и неизвестно в мире кыпчакских языков, с которыми контактировал древнерусский язык. *Харалужный* в значении «гибельный» может быть истолкован на тюркской почве, ср. казах. *қара* (для казахского закономерно выпадение конечного *г*—*з*) «траурный, связанный со смертью человека». Ср. словосочетание *береги харалужныя* в «Задонщине», которое обычно переводится как «крепкие

берега»¹⁶, должно быть, судя по всему — «гибельные, страшные, опасные берега». В этом отношении заслуживают внимания новые этимологии на чисто тюркской почве, предложенные Н. А. Баскаковым¹⁷.

Отметим, что хотя раздел назван «Заимствования из алтайских языков» и в нем содержится немало весьма интересных монгольских, тунгусо-маньчжурских параллелей, К. Менгес еще раз подтвердил мнение о том, что восточные элементы в «Слове» являются либо тюркизмами исконными, либо они пришли в русский язык через посредство тюркских, главным образом, кыпчакских языков.

Раздел слов «неалтайского происхождения» (исследуются 12 слов) показывает недостаточную научность этой группы заимствований в славянских языках. Здесь также следует подчеркнуть, что многие из «неалтайских» восточных слов в русский язык вошли через тюркское посредство, о чем говорят как семантика, так и фонетический облик этих заимствований.

Наши возражения, замечания свидетельствуют лишь о том большом значении для науки тех вопросов, которые рассматриваются в рецензируемой книге.

Появление труда К. Г. Менгеса на русском языке является своего рода событием. Он представляет собой полезное пособие, в котором приведен огромный материал, собранный автором по крупицам в течение многих лет. Несомненно, книга привлечет более пристальное внимание тюркологов, славистов и других ученых к затрагиваемым К. Г. Менгесом многочисленным проблемам. Вместе с тем чтение книги показывает недостаточную информированность зарубежных коллег о большой работе советских специалистов, которая ведется как в центральных, так и в республиканских научно-исследовательских учреждениях нашей страны.

Мусеев К. М.

¹³ И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, 3, СПб., 1903, стлб. 1361.

¹⁷ Н. А. Баскаков, Еще о тюркизмах..., стр. 65—66.

¹³ О. Т. Молчанова, Топонимический словарь Горного Алтая, Горно-Алтайск, 1979, стр. 294.

¹⁴ В. В. Арендт, К вопросу о «мечах харалужных» «Слова о полку Игореве», «Сборник статей к 40-летию ученой деятельности акад. А. С. Орлова», Л., 1934.

¹⁵ В. Ф. Ржига, Восток в «Слове о полку Игореве», в сб. «Слово о полку Игореве», М., 1947, стр. 181.

С. Д. Холматова. Словарь русских и таджикских сокращений. — Душанбе, изд-во «Дониш», 1979. 283 стр.

Появление первого «Словаря русских и таджикских сокращений» — знаменательное событие не только для таджикской, но и для национальной лексикографии вообще. До настоящего времени был выпущен только один подобный словарь («Словарь русских и литовских сокращений», Вильнюс, 1960); планы республи-

канских издательств на одиннадцатую пятилетку не предусматривают, к сожалению, такой темы, как не предусматривают ее разработку и республиканские научные учреждения, ведущие лексикографическую работу.

Бурное развитие науки, техники и культуры, расширение международных отно-

шений и связанное с этим появление новых понятий, терминов, названий организаций порождает большое количество аббревиатур разного типа. Развитие национальных языков в СССР на современном этапе характеризуется, в частности, непрерывным ростом фонда интернационализмов, в том числе и сложносокращенных слов. Они широко используются в прессе, в общественно-политической и научно-технической литературе, отражая новое в общественных отношениях, науке, технике и быте советского народа. Возникла задача сбора и систематизации сокращений. В национальных языках аббревиатуры выступают в том же орфографическом и фонетическом облике, как и в русском языке. И русский читатель иногда испытывает затруднения, встречаясь с не известным ему сокращением (это было одной из причин выпуска 2-го испр. и доп. издания «Словаря сокращений русского языка», М., «Русский язык», 1977); нерусский же читатель находится в более трудном положении: аббревиатур, образованных средствами национального языка, пока немного, а заимствованные сокращения ему менее понятны, чаще требуют расшифровки и перевода.

Мы не удивляемся, что за такую сложную тему, как словарь сокращений, взялись именно таджикские лексикографы. Таджикская лексикография, имеющая богатые, многовековые традиции, получила особое развитие в советскую эпоху. Выпущен ряд русско-таджикских и таджикско-русских словарей, изданы двухтомный толковый словарь таджикского языка, иллюстрированный цитатами из произведений литературы X — начала XX века, многочисленные отраслевые словари и, наконец, настоящий словарь.

Самым сложным при составлении «Словаря русских и таджикских сокращений» был отбор словника, пяти тысяч наиболее употребительных сокращений (в «Словаре сокращений русского языка» их 15 000!), и автор с этим справился, в целом, успешно. Мы находим в словаре ряд сокращений, отсутствующих в «Словаре сокращений русского языка»: АФСОР — Смешанное афгано-советское транспортно-экспедиционное агентство¹, ВИТУ — высшее инженерно-техническое училище, ВКА — Всесоюзная крестьянская ассоциация, ВСЦ — Всемирный совет церквей, ВТ — водный транспорт, ГГУ — Гомельский государственный университет, ГДШ — Габонская демократическая партия, ДФМ — Демократический фронт молодежи (Новая Зеландия), ЕКА — Европейская космическая ассоциация, ЗАНЛА — Национальная освободительная армия Зимбабве и др. Нельзя не отметить, однако, и отсутствие таких широко употребительных сокращений, как алгол,

АЛГОЛ — язык программирования, БВР — буровзрывные работы, А — ампер, В — вольт и др. Из трех вариантов сокращения «коэффициент полезного действия» почему-то приведен только один, и не самый употребительный: КПД, нет ни кпд, ни к.п.д. У автора замечается некоторая непоследовательность в приведении сокращений в пределах определенной темы: так, дано сокращение А — анод, но отсутствует К — катод; даны ЗИЛ, КАМАЗ и другие автомобильные заводы, но нет ЕрАЗ — Ереванский автомобильный завод, ЗАЗ — Запорожский ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод «Коммунар». Хотелось бы видеть в словаре и основные сокращения Международной системы единиц (СИ): Кл — кулон, Дж — джоуль и др. Сомнительна необходимость включения такого сокращения, как авометр — ампервольтметр, если сокращения для «ампер» и «вольт» отсутствуют. Особо следует сказать о регистрации «Словарем русских и таджикских сокращений» слоговых и инициальных компонентов сокращений, обладающих высокой продуктивностью: авиа... — авиационный, авто... — автоматический и авто... — автомобильный, геол... — геологический, метео... — метеорологический, проф... — профессиональный, ...фак — факультет и т. д. Небольшой объем словаря не позволяет охватить ряд сокращений, включающих такие компоненты — их более полная фиксация в словаре оказала бы большую помощь читателю в понимании встретившихся ему сокращений типа биофак, геоботаника, метеослужба, райгосстрах и т. д. Представленный в словаре компонент агит. мы рекомендовали бы дать с отточием — агит..., указывающим на то, что к нему могут присоединяться другой компонент — агитпроп — или слово — агитбригада. Надо иметь в виду и то, что компоненты, оформленные с отточием, всегда являются сокращениями от прилагательных (авиа... — авиационный, агит... — агитационный и т. д.), оформленные через точку — чаще сокращенные существительные и прилагательные (авт. — автомобиль; автомобильный; авт. — автономный; авт. — автор; авторский, и т. д.).

В расшифровку некоторых сокращений вкрались неточности: ИНТЕРПОЛ — международная организация уголовной (а не криминальной) полиции; слово «английский» почему-то сокращено анг., а не, как общепринято, англ.

Некоторые недочеты и пробелы неизбежны в первом издании такого сложного справочника, как «Словарь сокращений русского и таджикского языка» и ни в коей мере не умаляют его практической и научной ценности. Чрезвычайно интересен Список таджикских сокращений (стр. 276—282), раскрывающий возможности использования внутренних ресурсов на-

¹ У автора неточность: не «экспедиционное», а «экспедиторское».

ционального языка для создания собственного национального языка сокращений — ср., например, КПД — Коммунистическая партия Дании и ПКД — Партия коммунистов Дании.

Словарь, к сожалению, выпущен тиражом всего в 3900 экз. и скоро станет, если уже не стал, библиографической редкостью. Мы ждем 2-е испр. и доп. издание и надеемся, что примеру таджикских

лексикографов последуют лексикографы других республик, и национальная лексикография обогатится новыми справочниками, облегчающими выполнение таких важных задач, как билингвистическое обучение языкам и дальнейшее развитие и совершенствование переводческой деятельности.

Головкина О. В.

Ф. С. Хакимзянов. Язык эпитафий волжских булгар. Отв. ред. Э. Р. Тенишев. — М., «Наука», 1978. 206 стр.

Рецензируемая книга вышла через 18 лет после публикации первого обобщающего исследования по болгарской эпиграфике¹. За этот период были сделаны новые эпиграфические находки, появился ряд статей, посвященных языку болгарских эпитафий², и даже монография на венгерском языке³, содержащая историографическое введение, текст и перевод 52 надписей и обширные лингвистические комментарии. Поэтому назрела необходимость подвести итоги сделанному в области болгарской эпиграфики и прежде всего дать описание и анализ тюркского языкового материала, представленного в эпитафийных текстах.

Ф. С. Хакимзянов и взял на себя выполнение этой задачи. Разыскания, отраженные в книге, как сказано в предисловии к ней, базировались на результатах трех эпиграфических экспедиций, осуществленных самим исследователем.

Книга начинается с «Введения», в котором автор кратко излагает историю изучения болгарской эпиграфики, отсылая читателя за подробностями к упомянутым выше работам Г. В. Юсупова, а также А. Рона-Таша и Ш. Фодора. Далее следуют четыре главы: «Следы диалектов в языке надписей», «Графо-фонетика», «Морфология» и «Лексика», содержащие подробную характеристику всех имеющихся в надписях языковых материалов, «Заключение» и несколько приложений, представляющих и самостоятельный интерес для науки, так как они включают фотোগрафии 43 эпитафий, их чтения и переводы.

В первой главе Ф. С. Хакимзянов подчеркивает, что говоры не нашли своего

полного отражения в текстах эпитафий, ибо в тот период уже складывался функциональный язык надмогильных надписей, характеризующийся известной нормативностью. Однако наиболее значительные диалектные различия зафиксированы и на их основе можно выделить $\tilde{z}$ -, j - и i -диалекты. Каждый из них отличается пятью сопряженными дифференциальными признаками: 1) аналитные $\tilde{z}$ -, j -; $\tilde{z}$ -, 2) $\tilde{a}i$; $\tilde{a}rdi$; $\tilde{a}ti$ «было» (т. е. трансформации комплекса rt); 3) $-z$ -, $-j$ -, $-i$ -, 4) $bol\tilde{a}i$; $buld\tilde{a}$; $bol\tilde{a}i$ «было» (т. е. трансформации комплекса li); 5) ротацизм; зетацизм; ротацизм.

Во второй главе после вводных замечаний об арабской графине эпитафий автор подробно характеризует графо-фонемы и их дистрибуцию. В частности, он доказывает, что графема $\tilde{b}$ имеет звуковую значимость губно-губного звонкого смычного согласного, подчеркивает, что не видит оснований отрицать наличие $\tilde{z}$ в эпитафиях волжских булгар, отмечает $i > \tilde{e}$ перед i как характерный процесс, проявившийся в 31 случае, тогда как у Г. В. Юсупова было приведено лишь три подобных примера.

Среди особенностей фиксации болгарского вокализма автор отмечает следование древнеуйгурской традиции, выразившееся в передаче тюркского звука при отсутствии адекватной графемы двумя знаками: так e , o , и $\tilde{b}$ передаются соответственно сочетанием арабских букв «йа + алиф» и «зав + алиф».

В третьей главе дано описание существительного, прилагательного, числительного, глагола, послелога и союза и соответствующих словоаменительных и словообразовательных категорий. Автор отмечает смешанное употребление дательного и местного падежей у существительных, наличие двух аффиксов порядковых числительных: $-m$ и $-\tilde{e}i/-\tilde{e}i$, дееспричастной формы на $-zar$, формы 3-го лица повелительно-желательного наклонения на $-im$, послелога $i\tilde{a}n\tilde{a}$.

В четвертой главе Ф. С. Хакимзянов рассматривает термины родства, культового обихода, военные термины (в частности, $j\tilde{o}ri$ «дружинник» < jau «война» + $\tilde{e}ri$ «муж ее»), календарные термины,

¹ Г. В. Юсупов, Введение в болгаро-татарскую эпиграфику, М.—Л., 1960.

² См. список использованной литературы, приложенный к рецензируемой книге, в первую очередь — статьи Г. В. Юсупова, М. Р. Федотова, О. Прицака, К. Томсена, А. Рона-Таша.

³ Róna-Tas A., Fodor S., Epigraphica Bulgarica. A volgai bolgár-török feliratok, Szeged, 1973.

географические названия и антропонимы, социальные термины и в их числе тахаллусы и названия действий. Среди последних примечательны приводимые автором чтения глаголов *kölč* «переселяться» и *čop* «уходить».

В «Заключении» автор суммирует результаты своего исследования и еще раз подчеркивает, что разговорный язык волжских булгар, по-видимому, не нашел отражения в эпитафиях. Он полагает, что с образованием разноплеменного (Булгарского. — Л. Л.) государства в Среднем Поволжье появились объективные условия для сложения городских койне. На базе койне формировался общепарадный литературный язык, на котором писали булгарские ученые и поэты. Литературным языком того времени Ф. С. Хакимзянов считает *j*-диалект, но наличие наддиалектного койне объясняет и существование памятников на других диалектах.

Прежде всего отрадно, что Ф. С. Хакимзянов подошел к языку эпитафий как к самостоятельному объекту лингвистического анализа, а не как к иллюстративному материалу для доказательства этногенетических теорий. Булгарские эпитафии должны быть в первую очередь методически правильно интерпретированы (=расшифрованы), а затем уже их материал может занять свое место в ряду других источников при изучении этногенеза и истории языков тюркских народов Поволжья.

Ф. С. Хакимзянов, пожалуй, первым из исследователей учел жанровую специфику булгарской эпитафики (эпитафии!) и связанную с ней стилистическую окрашенность того варианта литературного языка (языков), который репрезентирован памятниками. Менее внимательным, по-видимому, автор был к тому обстоятельству, что булгарские эпитафические памятники обычно двуязычны и, как правило, состоят из двух частей (арабское начало + тюркская концовка), причем вторая тюркская (булгарская) часть является «переводом» арабского оригинала или подражанием ему. Автор не использовал в достаточной мере такой методический прием, как типологический анализ эпитафийных надписей XIII—XIV вв. разных регионов, например, Северного Кавказа, Крыма и т. д. Сопоставление эпитафийных текстов, возможно, помогло бы выделить традиционную структурную основу надписи и региональные особенности и в ряде случаев облегчило бы чтение «темных» мест, например, подтвердило бы *marhuma* «покойная» (стр. 160) при женском имени *Sākār* вместо таинственного *marī hum*⁴.

⁴ Ср. *marğumat* Девлет в эпитафике Крыма; видимо, и *hum* с мужскими именами — плохо сохранившееся *marhum* «покойный».

В первой главе Ф. С. Хакимзянов пытается обсудить сложный вопрос о соотношении различных функциональных форм языка в период создания булгарских эпитафий. Он приходит к заключению, что было бы ошибкой язык булгарской эпитафики отождествлять с разговорным языком волжских булгар. Однако не совсем ясно, какой смысл вкладывает автор в последний термин: идет ли речь об устной форме койне или о булгарском *г*-диалекте, близком (а по мнению ряда исследователей, диалекто-предшественнике) языку современных чувашей. Если под термином древнебулгарский язык понимать наддиалектную форму с вкраплениями как *г*, так и *з*-диалектов, то вывод о смене литературной традиции (усиление кыпчакизации) и постепенной утрате древнебулгарским языком коммуникативной роли представляется правомерным. Но едва ли эта смена произошла в XI в., как полагает автор, судя по его выводу на стр. 23, а, вероятно, на два столетия позднее. Отражением этого является одновременное бытование эпитафий так называемых I и II стилей (по другой терминологии — древнебулгарских и новобулгарских).

Несмотря на традиционность стиля: стандартный набор цитат из Корана и формульность концовок, в языке эпитафий отразились и живые тюркские диалекты XIII—XIV вв. — это прежде всего собственные имена и социальные термины, т. е. следы диалектной принадлежности захороненного⁵, а, во-вторых, речевые особенности создателя надписи (резчика). Поэтому естественны вариативность, наблюдаемая в графических (фонетических), морфологических и лексических (*bälik, zerät, bitik*) особенностях синхронных надписей, а также смешанность языка ряда текстов (отражение койне). Правда, в ряде случаев такая смешанность иллюзорна. Так, при расшифровке эпитафии из с. Болгары (1299 г.) чтение аффиксов как *-dan* и *-dē*, предлагаемое Ф. С. Хакимзяновым (стр. 102), представляется категоричным: начертанное, судя по фотокопии, может быть прочитано также как *-gan* и *-ri*; непонятна также «вариативность» авторского чтения *tütem* (стр. 132), но *tötem* (стр. 118) при арабском написании *توتتم*.

При чтении булгарских эпитафий, концовка которых представляет собой обозначение даты смерти захороненного тюркскими словами с фонетическими,

⁵ Ф. С. Хакимзянов полагает (стр. 23), что выбор текста на каком-либо диалекте не связан с этнической принадлежностью заказчика. Мы имеем в виду нечто иное: антропонимы и социальные термины носителей *г*-диалекта могли отличаться от распространенных в *з*-диалектной среде.

морфологическими и лексическими признаками г-диалекта, близкого чувашскому, основные споры возникают при интерпретации арабской передачи гласных. Одни исследователи читали и читают гласные, исходя из вокализма современного чувашского языка (например, «оканье» у Н. Ф. Катанова), другие «приспосабливают» чтение к современному татарскому вокализму и иногда на основе такой расшифровки даже отрицают болгарско-чувашские языковые связи. И то и другое, естественно, не дает надежных научных результатов. Видимо, при чтении г-булгарских текстов надо учитывать региональные традиции арабского письма у тюрок как таковые (например, «полное» и «краткое» при помощи диакритики обозначение гласных), закономерности приспособления арабо-персидского письма к особенностям тюркской звуковой системы (например, роль ح, ھ в истории письма у тюрок как маркеров рядности гласных и т. п.) и, наконец, косвенные данные о звуковом строе г-булгарского диалекта, извлекаемые из других синхронных источников. К последним относятся, например, реконструированная система родственного г-диалекта (условно — среднечувашского), датированные (абсолютно или относительно) болгарские заимствования в других языках. Ф. Г. Хакимянов, несомненно, не отрицает родство среднечувашского и элементов г-диалекта в эпитафиях. Однако, как нам кажется, он не всегда принимает в расчет историю чувашского вокализма. Так, например, исходя из данных современных тюркских языков, он считает нереальной для г-булгарского глагольную основу *vāl- «умирать» (ولت), но современное чувашское *vil- «умирать» свидетельствует о делябилизации широкого губного и выделении консонантного признака губности. Функция диакритики (например, роль «фатхи» при губных гласных) остается у Ф. С. Хакимянова так и не выясненной.

Расшифровка таких текстов, как болгарские эпитафии, связана с большими трудностями: тюркская (булгарская) часть надписей очень короткая и трафаретная, многие надписи дефектны как

в силу естественных причин, так и потому, что могли выполняться лицами, плохо владеющими данным диалектом; не исключено также, что арабский «оригинал» порой не был понятен резчику-исполнителю надписи. Поэтому в текстах эпитафий возможны всякого рода лакуны, контаминации, опiski и т. д. Указанные обстоятельства требуют от исследователя булгарских эпитафий особой строгости метода и непредвзятости в оценке изучаемого материала. Эти качества присущи Ф. С. Хакимянову, который сумел элементы г-булгарского диалекта в эпитафиях волжских булгар правильно квалифицировать как особую разновидность функциональной формы булгарского языка и в то же время подтвердил генетические связи этих элементов и современного чувашского языка. Ф. С. Хакимянов правомерно высказался против отождествления современного чувашского языка, который «прошел длительный путь развития», с архаичным состоянием родственного ему г-диалекта, отраженного в эпитафиях волжских булгар.

Не все предположения (чтения) Ф. С. Хакимянова кажутся нам убедительными. Так, выглядит искусственной и фонетически аномальной булгарская деепричастная форма köičsar (كو العصر, стр. 146, 152), хотя ее признают и другие исследователи. Не скрыта ли здесь какая-то арабская формула, не понятая резчиком? Вызывает сомнения из-за алаутного j- в ž-текстах (стр. 156) восстановливаемый Ф. С. Хакимяновым вслед за другими тюркологами военный термин jəri «дружинник» < jaw «война» + er-i «муж ее». Быть может, речь идет о перс. سوارى «всадник» (ср. тур. süvari < перс.).

Эти и некоторые другие сомнения, возможно, отпадут, когда будет подготовлен и увидит свет полный свод надписей волжских булгар и появятся условия для сопоставительного анализа многих структурно однотипных и синхронных текстов на тюркских г- и z- «диалектах» и арабском языке, как однопольных (арабских), так и двуязычных (арабско-тюркских).

Левитская Л. С.

«Universals of human language», ed. by J. H. Greenberg, associate editors — Ch. A. Ferguson, E. A. Moravcsik: I — «Method and theory», 286 стр.; II — «Phonology», 590 стр.; III — «Word-structure», 463 стр.; IV — «Syntax», 667 стр. — Stanford University Press 1978.

Идея универсальности категорий языка и мышления, которая была предметом оживленных споров средневековых философов — реалистов и номиналистов — впоследствии послужила отправным пунктом для разного рода заведомо ошибочных концепций в лингвистике и философии: сюда относятся, с одной стороны, рассмотрение особенностей одного языка через призму другого или чрезмерное логизирование грамматики, характерные для школы Пор-Рояля, а с другой — неопозитивистские и антиматериалистические положения так называемой «общей семантики»¹. В течение довольно продолжительного времени проблема универсалий в лингвистике оставалась вне поля зрения исследователей и не привлекала к себе большого интереса. Лишь в середине 50-х годов нашего столетия заметно обострился интерес к теоретическому исследованию, направленному на выявление наиболее общих свойств, явлений, процессов, признаков языка, к установлению сети наиболее типичных комбинаторных отношений, общих для языков самого различного строя. Огромное значение имело в этой связи проведение теоретических конференций и опубликование многочисленных специальных исследований в области лингвистических универсалий².

Рецензируемый четырехтомный сборник представляет некоторые итоги коллективного исследования, предпринятого в рамках Стэнфордской Программы по изучению универсалий в языке (октябрь 1967 — август 1976 гг.)³. В ходе этой Программы, в осуществлении которой приняли участие 36 лингвистов — специалистов по языкам самого различного строя, было выпущено 68 рабочих сообщений («Working papers in linguistic universals»), в которых кратко излагались результаты исследований отдельных сотрудников Программы. Цель Программы,

по словам ее руководителя Дж. Гринберга, сводилась к следующему: сформулировать эмпирические обобщения, имеющие силу в отношении структур ряда языков или, если возможно, универсальные языковые закономерности, собрать наиболее полные данные по различным языкам мира и представить их в удобообразимой форме для сравнения и обработки на ЭВМ. При этом допускалось, что указанные обобщения в дальнейшем могут быть опровергнуты неизвестными до сих пор языковыми фактами. В теоретическом плане каждый участник Программы следовал своей собственной концепции языка и языковых универсалий и выбирал интересующую его область исследования.

В четырех томах рецензируемой книги напечатано 49 статей (из них 33 впервые), охватывающих большинство аспектов современных исследований в области языковых универсалий⁴.

Первый том посвящен общим вопросам методики в теории типологических исследований. В статье Ч. Фергюсона дается история изучения лингвистических универсалий в США в период с 1950 г. и до наших дней. В статье Дж. Гринберга «Типология и межязыковые обобщения» подчеркивается важность изучения не только сходств, но и различий тех или иных явлений в языках мира, что открывает большие возможности для формулирования интересных типологических выводов и позволяет дать типологическое объяснение явлениям, которые, на первый взгляд, представляются присущими только отдельным языкам.

В другой статье Дж. Гринберга «Диахрония, синхрония и лингвистические исследования» справедливо показывается неправомерность утверждения о сугубо синхронном характере лингвистических

¹ См.: «Universalismus und Partikularismus im Mittelalter», hrsg. von P. Wilpert, Berlin, 1968; K. M. Н о р п е, Language typology 19-th and 20-th century views, Washington, 1966; ср. также: C. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande, I—III, Berlin, 1957.

² Ср.: «Universals in linguistic theory», ed. by E. Bach, R. T. Harms, New York, 1968; «Universals of language», ed. by J. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1966.

³ Параллельно с этим Программа по изучению лингвистических универсалий проводилась и в Кёльне под руководством Х. Зайлера. Ср.: «Linguistic workshop. Vorarbeiten zu einem Universalienprojekt», hrsg. von H. Seiler, Köln, 1973.

⁴ К сожалению, в рецензируемом сборнике не рассмотрены проблемы лексико-семантических универсалий. Ср. в этой связи интересный словарь И. Шрёпфера, первый выпуск которого недавно вышел из печати: J. Schröpfer, Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre (Onomasiologie), I: Region Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Lf. 1: Grundwortschatz, Heidelberg, 1980; ср. также: M. B i e r w i s c h, Some semantic universals of German adjectives, «Folia linguistica», 1967, 1. Не рассмотрены и универсалии в области акцентологии, особенно в их отношении к морфологической структуре слова, а также универсалии аргативности и др.

универсалий. Автор обсуждает различные типы «динамических» сопоставлений в рамках предложенного им метода включения диахронических параметров в типологические исследования⁵.

В статье Э. А. Моравчик разбирается сущность ограничений, накладываемых на возможности заимствований в различных языках мира. Статья А. Белла посвящена методам отбора (sampling) языкового материала, используемого для типологических обобщений. В статье Х.-Х. Либа рассматриваются различные возможности истолкования (объяснения) общетеоретических обобщений. В статье Ч. Фергусона на примере языков различной структуры описываются некоторые общие особенности речи (просодические, лексические, синтаксические) при обращении к детям⁶. Первый том завершает статья Э. Кларк и Г. Кларка, в которой подчеркивается тот факт, что в языках по-разному закрепляется опыт восприятия человеком окружающей его действительности, в частности, различные социальные категории, что неизменно отражается на создании специфических универсалий, присущих более или менее широкому кругу языков; одновременно это обуславливает и определенные ограничения, накладываемые на указанные универсалии (предпочтение одних лингвистических отношений другим, отраженное, например, в терминах родства, цвета, времени, пространства и др.).

Во втором томе разбираются фонетические универсалии. Том открывается интересной и насыщенной большим фактическим материалом статьей советского лингвиста Т. В. Гамкрелидзе, в которой рассматриваются проблемы соотношения смысловых и фриктивных в фонологической системе различных языков. Кроме того, в ряде статей этого тома исследуются общие закономерности палатализации (Д. И. Бхат), типология систем гласных в рамках выдвинутой Лиллекранцем и Линдбломом модели дисперсии гласных в «вокалическом пространстве» (Дж. Кротерс), типологические характеристики слоговых согласных (А. Белл) и носовых гласных (М. Рулен), а также пучков (clusters) начальных и конечных согласных (Дж. Гринберг). Разбирается также явление гармонии согласных в детском языке (М. М. Виман), универсалии тона (И. Мэддисон), метатезы (Р. Ултан), границы слова (Л. М. Хаймен), интона-

ции (Д. Болинджер) и звукового символизма, используемого для обозначения размера (Р. Ултан). Кроме того, в интересной статье Ч. Фергусона рассмотрены общие закономерности и позиционные особенности направленности фонологических процессов (переход /d/ > /p/ и /p/ > /d/ в испанском, греческом, английском, арабском, арамейском и датском языках).

Третий том, посвященный структуре слова, включает в себя статьи самого разнородного характера. В него включены работы, в которых рассматриваются вспомогательные слова как лингвистическая универсалия (Ч. Фергусон), особенности маркеров категории рода (Дж. Гринберг), общие свойства категории будущего времени глагола в различных языках (Р. Ултан), деривационные категории (Я. Малькиель), использование местоимения для выражения категорий вежливости и социального различия говорящих (Б. Ф. Хэд), типология личных местоимений (Д. Инграм), редуцирующие конструкции (Э. А. Моравчик), типологические особенности терминологии частей тела (Э. С. Андерсен), выражение пространственно-временных отношений в языке (Э. К. Трауготт), идиоматичность как языковая универсалия (А. Маккай).

Четвертый том рецензируемой книги целиком посвящен вопросам синтаксиса. В нем разбираются типологические проблемы посессивности (Р. Ултан), особенности наречных конструкций (Дж. А. Сандерс), закономерности типов отрицания в различных языках мира (Л. Р. Хорн). Кроме того, в этом томе дается общая типологическая характеристика вопросительных предложений (Р. Ултан), маркирования дополнений тем или иным падежом (Э. А. Моравчик), категорий определенности (Талии Гивон) и синтаксической согласованности (Э. А. Моравчик), исследуются некоторые универсалии структуры относительных придаточных предложений (Б. Т. Даунинг), синтаксическое выражение эмфазы (Х. Харрис-Делиль), вопросы паратаксиста (Л. Талма), универсалии порядка слов (С. Стил), возможности выражения различных контингентных отношений в главном и придаточном предложениях (Л. Талма) и др.

В четырех томах рецензируемого сборника собран, описан и обобщен большой фактический материал раннеструктурных языков мира, в том числе и новый материал, отражающий неизвестные до сих пор языковые особенности. Это дает возможность некоторым авторам сборника сформулировать несколько оригинальных языковых универсалий (большинство из них касается возможности или невозможности существования или сосу-

⁵ Эта проблема обсуждалась Дж. Гринбергом и ранее; ср.: J. Greenberg, *Synchronic and diachronic universals in phonology*, «Language», 42, 1966; его же, *Rethinking linguistics diachronically*, «Language», 55, 2, 1979.

⁶ Ср. сб. «Talking to children», ed. by C. E. Snow, Ch. A. Ferguson, Cambridge, 1977.

ществования в ряде языков определенных языковых элементов или признаков при определенных условиях функционального или структурного характера, общих качественных и количественных закономерностей и корреляций языковых единиц) или (что не менее важно) дать новую интерпретацию закономерностей, отмечавшихся их предшественниками, искать новые пути типологического исследования. Вместе с тем приходится отметить, что представленные в сборнике статьи весьма неравноценны по своему качеству и профессиональному уровню: в этом отношении диапазон их колеблется от студенческого реферата до исследования ученого-лингвиста. Во многих статьях дается только обзор данных по той или иной проблематике, но нет никаких общетеоретических обобщений, причем в ряде случаев рассматривается лишь какая-то определенная сторона явления (например, приводятся только статистические параметры) при полном невнимании ко всем остальным. Не одинаково по своей теоретической значимости и качество самих универсалий, устанавливаемых в различных статьях сборника: если некоторые из приведенных теоретических тезисов вообще трудно назвать универсалиями или речь идет об общеизвестных фактах, то другие (например, в работах Т. В. Гамкрелидзе и Дж. Грийлберга) действительно представляют большой общетеоретический интерес.

Как известно, одним из кардинальных вопросов при исследовании универсалий является проблема метода. В различных статьях сборника этот вопрос, однако, специально не рассматривается (в частности, нигде не приводится определения языкового типа); практически же в конкретных исследованиях, представленных в сборнике, обнаруживается большая эклектичность и разнородность в подходе к путям исследования универсалий, ощущается отсутствие единой общетеоретической платформы и неодинаковая квалификация участников Программы. Не учитывается роль социолингвистических факторов при типологических исследованиях, не принимаются во внимание внутриязыковые закономерности и их соотношение с межъязыковыми как в близкородственных, так и в неблизкородственных языках.

В рецензируемом сборнике, как и во многих других специальных работах, ярко проявляется атомистический подход к языковым универсалиям, восходящий еще к средневековым универсалистским представлениям: каждая универсалия (или свойство, признак, принимаемые за универсалию) чрезмерно абсолютизируется, рассматривается как своеобразная «вещь в себе», без должного внимания к статусу этой закономерности в системе языка, где она проявляется,

и к возможности или невозможности ее соотношения с внешне одинаковыми, но онтологически и функционально различными закономерностями в других языках. Не случайно, что при установлении универсалий обычно не выясняются причины совпадения тех или иных явлений в языках различного строя, а эти явления просто констатируются.

Весьма отрицательное влияние на результаты некоторых напечатанных в сборнике статей оказала теория порождающей грамматики, ненаучность и бесперспективность которой в настоящее время не нуждается в доказательстве⁷. «Порожденные» на основе этой теории «правила», естественно, вряд ли могут быть приняты в расчет. Характерно, что история разработки универсалий представлена в сборнике таким образом, как будто она является всецело достижением американской лингвистики. Разработка же типологических проблем в других странах, и в частности в СССР (если не считать напечатанной в сборнике статьи Т. В. Гамкрелидзе и ссылок на работы Б. А. Успенского и В. В. Иванова), всецело выпадает из поля зрения составителей сборника⁸. В библиографии, приложенной к каждой статье, приводятся в основном работы американских и некоторых западноевропейских лингвистов.

Типология — развивающаяся отрасль языкознания. В ее истории были и большие разочарования, и крупные успехи. Рецензируемый сборник, предоставляя в распоряжение исследователя довольно обширный корпус фактов из самых различных языков мира (хотя они и не всегда осмыслены теоретически), является одним из шагов вперед на трудном пути познания комбинаторных возможностей и закономерностей, степени близости, совместимости или несовместимости различных типов языковых структур. В этом отношении рассматриваемый сборник, безусловно, внесет свой вклад в дальнейшую разработку лингво-типологических проблем.

Маковский М. М.

⁷ См.: F. H i o r t h, Noam Chomsky. *Linguistics and philosophy*, Oslo, 1974; C. H a g è g e, *La grammaire générative. Réflexions critiques*, Paris, 1976; M. G r o s s, *On the failure of generative grammar*, «Language», 55, 4, 1979; ср.: H. B i r n b a u m, *Problems of typological and genetic linguistics viewed in a generative frame-work*, The Hague — Paris, 1970.

⁸ Никогда не отмечаются и явные достижения советских ученых в области типологии. Ничего не говорится, например, о такой важной в теоретическом отношении работе, как книга Г. А. К л и м о в а «Типология языков активного строя» (М., 1976).

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

IX Международный Конгресс по фонетическим наукам состоялся в Копенгагене (Дания) с 6 по 11 августа 1979 г. В работе Конгресса приняли участие представители 56 стран, специалисты в области фонетики, фонологии, акустики, физиологии, патофизиологии, радиоэлектроники, социолингвистики и др.

Работа Конгресса проходила по четко составленной рабочей программе в виде: пленарных и семинарных заседаний (симпозиумы), научных докладов, специальных лекций, секционных заседаний и рабочих групп.

На конгрессе работали секции: 1. Производство; 2. Восприятие речевых сигналов; 3. Акустика речи; 4. Фонология; 5. Просодика; 6. Социофонетика; 7. Прикладная фонетика; 8. Историческая фонетика; 9. Снятая речь; 10. Детская речь и 11. Фонетическая типология.

Работу Конгресса на первом пленарном заседании открыл почетный член постоянного комитета по организации международных конгрессов, участник всех девяти Конгрессов Э. Цвирнер (ФРГ), от имени Оргкомитета выступила Председатель Оргкомитета Конгресса Э. Фишер-Йоргенсен (Дания).

На пленарном заседании был прослушан доклад Б. Линдблома (Швеция) на тему «Задачи фонетики, их унификация и приложения», который был представлен Оргкомитетом Конгресса и воспринят делегатами как программный доклад. Б. Линдблом говорил о необходимости описывать любое высказывание на каком-либо языке (анализ) так, чтобы на основе этого описания можно было создавать аналогичные высказывания в аудитивной форме (синтез) со всеми их лингвистически релевантными характеристиками.

На Конгрессе было прослушано более двухсот докладов. В связи с этим нет возможности в краткой заметке хотя бы перечислить темы докладов, не говоря уже о том, чтобы даже в максимально сжатой форме охарактеризовать их содержание. Ограничимся кратким анализом наиболее крупных проблем, которые были предметом обсуждения и вызывают интерес с позиций состояния современной фонетической науки, а также заслуживают внимания с точки зрения

наиболее актуальных общих проблем современной лингвистики.

Значительное количество докладов на Конгрессе было посвящено проблемам диахронической и синхронической фонологии (в широком понимании термина). Из анализа названий и содержания докладов на секциях фонологии можно сделать вывод о весьма существенной новой тенденции в фонологических исследованиях, соответствующей новой актуальной ориентации лингвистических исследований — «от абстрактной системы к конкретным речевым фактам». О естественно-генеративной фонологии (К. Бейли, Г. Драшман, В. Дресслер, Т. Венеманп, Дж. Хупер и др.) в противоположность формальной генеративной фонологии Хомского и Халле, о преимуществах субстанционального подхода к речевым фактам (surface data), о необходимости учета фактов «реальной жизни» в своем обзорном докладе говорили Г. Базбёк и Л. (Дания) и Дж. Хупер (США). Недостатком формальной генеративной фонологии справедливо считается отсутствие непосредственного выхода к реальным речевым высказываниям, необязательность порождающих моделей и правил в плане их естественно-фонетического осуществления [К. Ринген (США), Р. Янда (США)]. Некоторые сторонники формально-математического описания высказали мысль о недостижимости полной предсказуемости фонетических событий методом порождения. По мнению С. Андерсона (США), высказанном в докладе «Заметки о развитии фонологической теории», задачу полной предсказуемости в фонетических исследованиях на данном этапе следует считать преждевременной.

Перенос центра внимания в фонетических исследованиях на речевое произведение как на результат осуществления (realization) языковой компетенции требует исследования и описания возможных «выходов» в реализации фонологической системы и языковой компетенции. Этим объясняется интерес к вопросам о нормах реализации и нормализации звукового осуществления фонологической системы и правил порождения. Проблемы произносительной нормы с точки зрения их роли в звуковых замещениях обсуждались на симпозиуме «Социальные фак-

торы в звуковых изменениях» [руководитель — Э. Хауген (США), содокладчики — Г. Бирнбаум (США), Л. Бринк и Й. Лунд (Дания), И. Фонадь (Франция), У. Лабов (США), Б. Малмберг (Швеция), Ф. Пенг (Япония)]. Все докладчики едины в мнении о том, что в языковом обиходе имеется несколько способов фонетической реализации, зависящих от поколения, к которому принадлежат говорящие (доклады Г. Бирнбаума, Ф. Пэнга), или от представляемых ими социальных групп (доклады Э. Хаугена, У. Лабова, Л. Бринка и Й. Лунда). У. Лабов подтверждает свою идею о «социальных маркерах», позволяющих расположить говорящих по социоэкономическому шкале. В результате массового исследования произношения жителей г. Копенгагена с 1840 по 1955 гг. Л. Бринк и Й. Лунд относят копенгагенцев к «высоким» или «низким» социально-экономическим группам.

О значении проблемы нормализации в социолингвистическом аспекте говорил в своем докладе на секции «Социофонетика» У. Лабов.

Схема реализации фонологической системы в речи и роль понятия нормы в этой схеме были представлены в докладе Р. Р. Каспранского (СССР). Докладчик говорил о двух качественно разных нормах в фонетике, первая из которых аналогична нормам более высоких языковых уровней, а вторая имеет деятельностный характер, связанный с моторными программами осуществления звуковой реализации.

Значительная часть докладов по фонологии носила традиционный характер по своей постановке, однако в интерпретации результатов частных исследований или в обсуждении отдельных теоретических вопросов фонологии следует отметить новый подход к языковым фактам.

В докладах на симпозиуме «Фонетические универсалии в фонологических системах и их интерпретация» [руководитель — Д. Ж. Охала (США)] подчеркивалась важность человеческого фактора в происхождении и самом факте наличия фонетических универсалий. Б. Линдлоф (Швеция) говорил о том, что все звуки речи образуют субклассы всех допустимых звуков на основе ограниченности (adaptability), произносимости и восприимчивости. Т. В. Гамкрелидзе (СССР) в докладе «Иерархические отношения между единицами как фонологические универсалии» производит обстоятельный анализ универсалий совместности и предлагает новую интерпретацию истории индоевропейских смыслов. Специальный симпозиум был посвящен проблеме «Психологическая реальность фонологических описаний» [руководитель — В. Фромкин (США)]. Докладчики говорили о теоретической актуальности этой проблемы (попытка

путем анализа речи заглянуть в сознание) и практической полезности анализа лингвистических фактов для психологов, физиологов, неврологов.

К традиционным проблемам, включаемым в программу фонетических Конгрессов, прибавилась проблема закономерностей приобретения (acquisition) и развития языка, которая обсуждалась на специальном заседании симпозиума «Овладение фонологической системой родного языка» [руководитель — Ч. Фергюсон (США)].

Особого упоминания заслуживает проблема «Временные отношения между единицами речи» [руководитель симпозиума — И. Лехисте (США)], которая в дальнейшей перспективе признана внести определенную ясность в вопрос о темпо-ритмической организации речевых произведений, до сих пор относящийся к наименее исследованным в фонетике. В представленных докладах исследователи подходят к параметру времени с трех основных позиций: а) измерения распределения протяженности между компонентами речевых единиц и их оценки с точки зрения речепроизводства и перцепции, б) временной организации речи (как отмечает И. Лехисте, необходимо решить вопрос о том, диктуется ли временная организация только синтаксисом или имеются собственно фонетические принципы ритмической организации) и в) влияния времени реализации (темп) на результат реализации [А. М. Антипова (СССР), Ф. Коутс (Великобритания) и др.].

Наряду с упомянутыми симпозиумами, состоялись также и другие, на которых было прослушано значительное количество интересных теоретических и экспериментальных докладов: «Двигательный контроль артикуляционных жестов» [руководитель — Дж. Любкер (Швеция)], «Соотношение между просодикой фразы и просодикой слова» [руководитель — Е. Гардинг (Швеция)] и «Восприятие речи и не-речи» [руководитель — Д. Пизони (США)]; были прослушаны доклады на темы: «Речепроизводство» [Р. Макнейладж (США)], «Восприятие речи» [М. Стаддерт-Кеннеди (США)]; специальные лекции Г. Фанта (Швеция) по акустике речи, О. Фуймюры (США) по современным методам анализа речепроизводства, Н. Лассена (Дания) по патофизиологическим исследованиям и Х. Вакиты (США) о новых методах акустического анализа.

Во время работы Конгресса состоялось организационное заседание, на котором была избрана постоянная комиссия по проведению следующего Конгресса по фонетическим наукам. От Советского Союза в состав комиссии вошли Т. М. Николаева и Л. А. Чистович.

Каспранский Р. Р. (Горький)

**УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
«ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1980 Г.
(№№ 1—6)**

СТАТЬИ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

Денисов П. Н.— Об изучении языка В. И. Ленина	2
Белодед И. К.— Значение русско-украинского языкового взаимодей- ствия в выработке норм нового украинского литературного языка	5
Будагов Р. А.— К теории сходств и различий в грамматике близкород- ственных языков	4
Климов Г. А.— К типологической реконструкции	1
Трубачев О. Н.— Реконструкция слов и их значений	3
Филин Ф. П.— Противоречия и развитие языка	2
Чикобава А. Р.— Историзм и лингвистика	6

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Алпатов В. М., Крючкова Т. Б.— О мужском и женском вариан- тах японского языка	3
Асфандияров И. У.— К вопросу об общих методах исследования двух разносистемных контактирующих языков	1
Ахманова О. С., Александрова О. В.— Некоторые теоретиче- ские проблемы советского языкознания	6
Богатова Г. А.— Соотношение цитаты и словаря	6
Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.— Реконструкция системы смычных общиндоевропейского языка. Глоттализированные смычные в ин- доевропейском	4
Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.— Ряды «гutturальных» в ин- доевропейском. Проблема языков <i>centum</i> и <i>satem</i>	5
Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. В.— Проблема языков <i>centum</i> и <i>satem</i> и отражение «гutturальных» в исторических индоевропейских диалектах	6
Гельгардт Р. Р.— Жанровая специфика «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“»	6
Глушак Т. С., Семенова С. К.— К проблеме обоснования статуса функционально-семантических категорий в языке	2
Домашнев А. И.— Западногерманские «языковые барьеры»	1
Елизаренкова Т. Я.— Ведийский и санскрит: к проблеме вариации лингвистического типа	3
Земская Е. А., Ширяев Е. Н.— Устная публичная речь: разгово- рная или кодифицированная?	2
Комлев Н. Г.— Фридрих Кайнц и статус психологии языка	2
Копоненко В. И.— К сопоставительному исследованию синтаксиса вост- очнославянских языков	1
Кузнецов П. И.— Является ли строй тюркских языков изначально именным?	6
Кузьмин А. Г.— Заметки историка об одной лингвистической моногра- фии	4
Лаптева О. А.— О грамматике устного высказывания	2
Маковский М. М.— Непрерывность и прерывность в развитии языка	1
Максимов В. И.— Еще раз о грамматической теории и практике обуче- ния языку	1
Меликишвили И. Г.— Структура корня в общекартвельском и обще- индоевропейском	4
Москальская О. И.— Семантика текста	6
Поздняков К. И.— Вопросы методики сравнительно-генетического анализа (на материале языков манде)	3
Потаенко Н. А.— Словарные дефиниции как средство выявления прин- ципов организации лексики (на материале слов со значением времени во французском языке)	5
Пумпянский А. Л.— К вопросу о материальной стороне языка	3
Савченко А. Н.— Речь и образное мышление	2
Филин Ф. П.— О происхождении праславянского языка и восточносла- вянских языков	4

Черкасов Л. Н. — О классификации согласных современного русского литературного языка по способу образования	3
Эдельман Д. И. — К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза	5

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Арбатский Д. И. — О лексическом значении деепричастий	4
Бирюкович Р. М. — К семантическому обоснованию категории принадлежности в тюркских языках	3
Вейлерт А. А. — Измерение степени соответствия систем гласных немецкого литературного стандарта и островного диалекта	1
Гамзатов Р. Э. — Развитие языковой жизни Дагестана в условиях зрелого социалистического общества	3
Глonti А. А. — К вопросу о трех суффиксах множественности в грузинском языке	5
Гринбаум Н. С. — Древнегреческий литературный язык. Аттический период (VI—IV вв. до н. э.)	1
Гринбаум Н. С. — Древнегреческий литературный язык. Раннеэллинистический период	3
Гринбаум Н. С. — Древнегреческий литературный язык. Позднееллинистический период (I—V вв. н. э.)	5
Гринбаум Н. С. — Древнегреческий литературный язык. К итогам исследования	6
Гюббенет И. В. — К вопросу о «глобальном» вертикальном контексте	6
Дерягин В. Я. — Об историко-стилистическом исследовании актовых текстов	4
Домашнев А. И. — Понятие структуры современного немецкого языка в трудах В. М. Жирмунского	2
Забавников Б. Н. — О неадекватности «имманентных» грамматик	6
Золотова Г. А. — О «Синтаксическом словаре русского языка»	4
Ицкович В. А. — Существительные одушевленные и неодушевленные в современном русском языке (Норма и тенденции)	4
Калиев Г. К. — Проблемы изучения системы говоров (на материале казахских говоров)	4
Ковтун Л. С. — Азбукovníки, или алфавиты иностранных речей конца XVI—XVII вв. (об историзме в критике источника)	5
Костюченко Ю. П. — Замечания о синкретизме и значениях дательного падежа в индоевропейских языках	1
Кузнецова Р. Д. — К вопросу о функциях указательных местоимений в истории сложноподчиненного предложения	5
Лундин А. Г. — Степени сравнения прилагательных в семитских языках	3
Магомедов А. А. — К эволюции классной системы в дагестанских языках	1
Малкова О. В. — Имело ли место вторичное смягчение согласных перед [e], [и] в диалектах южной зоны древнерусского языка?	6
Мурьянов М. Ф. — Семантическая эволюция словосочетания <i>насушный хлеб</i>	1
Мурьянов М. Ф. — К истории адъективной флексии <i>-ого</i>	5
Мустайки А. — К вопросу о понятии «условное ударение» и типах ударения существительных в русском языке	2
Назаренко А. В. — Об имени «Русь» в немецких источниках IX—XI вв.	5
Панфилов В. С. — Актуальное членение предложений во вьетнамском языке	1
Партенадзе М. Х. — Об основаниях отбора диалектных слов для словарей литературных языков	2
Пестов В. С. — Об отражении субъектно-объектных отношений в глаголе <i>кочуа</i>	4
Порохова О. Г. — О лексике с неполногласием русского диалектного происхождения	5
Скадел И., Шустек Э. — Русский язык в ЧССР (по данным обследования Остравского промышленного р-на)	2
Сологуб А. И. — Об ударении в парадигмах существительных женского рода единственного числа в русских говорах	3
Стеценко А. Н., Холодов Н. Н. — Об основных тенденциях и путях развития системы сочинения в русском языке	2
Тарланов Э. К. — К вопросу об изоморфизме глагольно-именных формантов в дагестанских языках	3
Ушаков В. Д. — О некоторых стилистических фигурах в трудах Абдалхахира Джурджани	5

Хайдаков С. М.— Дюративное действие и эргативная конструкция (на материале дагестанских языков)	5
Хаттори С.— О формировании татарского и чувашского языков	3

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Губачек Я.— О традиции в изучении сленга в чешском языке	2
Мурясов Р. З.— К теории парадигматики в лингвистике	6
Сороколетов Ф. П.— Три сборника, посвященных проблеме языковых значений	6
Хушенова С. В.— Современное состояние и задачи изучения таджикской фразеологии	1

Рецензии

Андерш И. Ф.— <i>I. K. Bilovid. Knyvo-Mogilyan'ska akademija v istoriji skidnoslov'jans'kich literaturnich mov</i>	5
Баскаков А. Н.— <i>И. Скацел. Общественные функции русского языка в развитии социально-экономической интеграции в Чехословакии</i>	3
Бородин М. А., Сухачев Н. М.— <i>А. А. Касаткин. Очерки истории литературного итальянского языка (XVIII—XX вв.)</i>	3
Бородин М. А.— <i>M.-R. Simoni-Aurembou. Atlas linguistique et ethnographique de l'île-de-France et de l'Orléanais</i>	5
Вентцель Т. В., Поливанова А. К.— «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка»	3
Головкина О. В.— <i>С. Д. Холматова. Словарь русских и таджикских сокращений</i>	6
Дешериев Ю. Д.— <i>И. К. Белодед, Г. П. Ижакевич, Т. К. Черторижская. Русский язык как источник обогащения народов СССР</i>	2
Дзедзелевский И. А.— <i>М. Г. Булахов. Восточнославянские языковеды</i>	1
Домашнев А. И., Смирницкая С. В., Найдич Л. Э.— <i>W. Haas. Sprachwandel und Sprachgeographie</i>	3
Исаев М. И.— <i>К. Х. Ханазаров. Решение национально-языковой проблемы в СССР</i>	1
Климов Г. А.— <i>C. Tchekhoff. Aux fondements de la syntaxe: l'ergatif</i>	3
Климов Г. А., Боголюбов М. Н.— <i>В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка</i>	5
Колесов В. В.— <i>E. Stankiewicz. Studies in Slavic morphophonemics and accentology</i>	6
Кондрашов Н. А.— <i>J. Petr. Klasikové marxizmu — leninismu o jazyce</i>	1
Кузнецова О. Д., Сороколетов Ф. П.— «Словарь русских говоров Новосибирской области»	5
Левитская Л. С.— <i>Ф. С. Хакимзянов. Язык эпитафий волжских булгар</i>	6
Маковский М. М.— <i>И. А. Сизова. Становление германского глагольного словообразования</i>	4
Маковский М. М.— «Universals of human language»	6
Максимов В. И.— «Краткий толковый словарь русского языка (для иностранцев)»	3
Мельничук А. С.— <i>А. В. Бондарко. Грамматическое значение и смысл</i>	5
Митрофанова О. Д.— «Русский язык. Энциклопедия»	6
Михайловская Н. Г.— «Язык Толстого»	3
Мокшенко В. М.— <i>Т. С. Коготкова. Русская диалектная лексикология</i>	4
Мусаев К. М.— <i>К. Г. Менгес. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве»</i>	6
Нигматуллин А. З.— <i>Х. Р. Курбатов. Татарская лингвистическая стилистика и поэтика</i>	3
Пирейко Л. А.— <i>Л. П. Смирнова. Исфаханский говор</i>	2
Пирейко Л. А.— <i>Р. Л. Цабаков. Очерк исторической морфологии курдского языка</i>	4
Русановский В. М., Кононенко В. И.— <i>В. И. Кодухов. Введение в языкознание</i>	4
Серкова Н. И.— <i>О. В. Долгова. Семантика несплавной речи</i>	2
Сизова И. А.— <i>F. de Tollenaere, R. L. Jones. Word-indices and word-lists to the Gothic Bible and minor fragments</i>	3
Смирнов С. В.— <i>Ф. М. Березин. История русского языкознания</i>	2
Смолицкая Г. П., Хитрова В. И.— «Памятники русской письменности XV—XVI вв. Рязанский край»	1

Торсуева И. Г.— Т. М. Николаева. Фразовая интонация славянских языков	1
Топчая Н. И.— М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанієвський, В. Г. Склярєнко. Історія української мови. Фонетика	4
Трубачев О. Н.— В. П. Герошак. Палеобалканские языки	1
Трубачев О. Н.— «Словник гідронімів України»	6
Федоров А. В.— В. С. Виноградов. Лексические вопросы перевода художественной прозы	5
Шеврикова З. В.— А. А. Дарбеева. Влияние двуязычия на развитие изолированного диалекта	4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Аванесов Р. И.— Письмо в редакцию	1
Галсан С.— Язык дружбы и социального прогресса (Письмо в редакцию)	2
Хроникальные заметки	2—6

CONTENTS

Articles: C i k o b a v a Arn. S. (Tbilisi). The historical approach and linguistic studies; Discussions: G a m k r e l i d z e T. V. (Tbilisi), I v a n o v V. V. (Moscow). The problem of the centum and satem languages and reflexes of «gutturals» in historically attested Indo-European dialects, A x m a n o v a O. S., A l e k s a n d r o v a O. V. (Moscow). Some theoretical problems of Soviet linguistics (in connection with the publication of the encyclopaedia «The Russian language»); M o s k a l ' s k a j a O. I. (Moscow). Text semantics; K u z n e c o v P. I. (Moscow). Was the structure of Turkic languages originally nominal?; B o g a t o v a G. A. (Moscow). Correlation of the quotation and the dictionary; G e l ' g a r d t R. R. (Kalinin). The genre features of the «Glossary to the Igor Tale»; Materials and notes: M a l k o v a O. V. (Moscow). Was there the secondary palatalisation of consonants before [e], [u] in the southern dialect area of Old Russian?; G r i n b a u m N. S. (Leningrad). The ancient Greek literary language. Some conclusions; G j u b b e n e t I. V. (Moscow). On the «global» vertical context; Z a b a v n i k o v B. N. (Moscow). On the inadequacy of the «immanent» grammars; Surveys: M u r i a s o v R. Z. (Ufa). The theory of paradigmatics in linguistics; S o r o k o l e t o v F. P. (Leningrad). Three collections of articles devoted to the problem of linguistic meaning; Reviews.

SOMMAIRE

Articles: C i k o b a v a Arn. S. (Tbilissi). Point de vue historique et investigations linguistiques; Discussions: G a m k r e l i d z e T. V. (Tbilissi), I v a n o v V. V. (Moscow). Problème des langues centum et satem et reflexes des consonnes «gutturales» dans les dialectes indo-européens historiques; A x m a n o v a O. S., A l e k s a n d r o v a O. V. (Moscou). Quelques problèmes théoriques de la linguistique (en rapport avec la publication de l'encyclopédie «La langue russe»); M o s k a l ' s k a j a O. I. (Moscou). Sémantique du texte; K u z n e c o v P. I. (Moscou). La structure des langues turques était-elle primitivement nominale?; B o g a t o v a G. A. (Moscou). Corrélation entre citation et dictionnaire; G e l ' g a r d t R. R. (Kalinine). Particularités de genre du «Dictionnaire du Dit de régiment d'Igor»; Matériaux et notices: M a l k o v a O. V. (Moscou). Y-avait-il la palatalisation secondaire des consonnes devant [e], [u] dans les dialectes méridionaux du vieux-russe?; G r i n b a u m N. S. (Leningrad). Le grec ancien littéraire. Quelques conclusions; G j u b b e n e t I. V. (Moscou). À propos du contexte vertical «global»; Z a b a v n i k o v B. N. (Moscou). Sur le caractère inadéquate des grammaires dites «immanentes»; Revues: M u r j a s o v R. Z. (Oufa). Théories paradigmatiques en linguistique; S o r o k o l e t o v F. P. (Leningrad). Trois recueils consacrés au problème de la signification linguistique; Comptes rendus.

Технический редактор З. В. Филиппова

Сдано в набор 29.08.80	Подписано к печати 30.10.80	T-19604	Формат бумаги 70×108 ^{1/16}
Высокая печать	Усл. печ. л. 14,0	Бум. л. 5,0	Тираж 7016 экз. Зак. 3424
Издательство «Наука», 1С3717, ГСП, Москва.		К-62, Подсосенский пер., 21	
2-я типография издательства «Наука», 121099		Москва, Шубинский пер., 10	